



ISSN 1993-9477

XXI ВЕК

ВОЛГА

9-10 2019

Литературно-художественный журнал

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АРХАНГЕЛЬСКОГО



«Малая родина»



«Речной пейзаж»



XXI ВЕК

ВОЛГА

9-10 2019

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей

9-10
2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД	
Николай ПОЛОТНЯНКО. Память сердца	3
ОТРАЖЕНИЯ	
Иван ПЕЧАВИН. Красота	9
ПОЭТОГРАД	
Юрий МОГУТИН. Мы все лишь гости в этом мире...	20
НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ	
Алексей СОЛОНИЦЫН. «Слушайся своего сердца»	25
ПОЭТОГРАД	
Светлана ПЕШКОВА. Дорога домой	53
НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ	
Нелли КРЕМЕНСКАЯ. Мозаика времён	57
СТАТЬИ	
Михаил КАРИШНЕВ-ЛУБОЦКИЙ. Слово о друге	111
ПОЭТОГРАД	
Александр АМУСИН. От ясеня до осени	114
ОТРАЖЕНИЯ	
Фёдор ОШЕВНЁВ. Верующий батюшка	119
ПОЭТОГРАД	
Елена КОМАРОВА. Иное зреньё	126
ОТРАЖЕНИЯ	
Дмитрий ВОРОНИН. Заруська	128
В САДАХ ЛИЦЕЯ	
Мария ЗАТОНСКАЯ. Что во мне моего	131
НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ	
Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Невыдуманные истории о близких людях	133
ЮБИЛЕЙ	
Когда поэты, распри позабыв... Беседа Дианы Кан с главным редактором журнала «Аргмак» Николаем Алешковым	144
В МИРЕ ИСКУССТВА	
Александр ДЕМЧЕНКО. Волжские истоки К 85-летию со дня рождения Альфреда Шнитке	153
СТАТЬИ	
Александр БОЙНИКОВ. Голгофа или воскресение?	165
Альвина РАБОНИ. Творчество Я. Удина глазами соотечественницы	171
РЕЦЕНЗИИ	
Валерий КРЕМЕР. На изломе эпох	176
ГОД ТЕАТРА	
Кристина КАРМАЛИТА. Технический сбой	178



**Николай
ПОЛОТНЯНКО**

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

ГОРИТ ПОЭЗИЯ МОЯ...

Гори, моя судьба, гори!
Осталась дней моих лишь горстка.
Лети, судьба моя, с горы,
Как подождённая повозка.

И первым спас я соловья,
Что жил и пел в душе полвека.
Горит поэзия моя,
И пеплом, словно хлопья снега,

Летят и кружатся стихи.
В них жизнь моя, мои тревоги,
И позабытые грехи,
И к вечной истине дороги.

Горит поэзия моя..
И преданность Прекрасной Даме
Ликует в горле соловья
К ней обращёнными стихами.

МОРОК ПРЕДНОВОГОДНИЙ

Твои черты неуловимы,
И тщетно в памяти порою
Я их ищу. Как клубы дыма
Они сквозят, проходят мимо,
Дразня затейливой игрой.

-
- Николай Алексеевич Полотнянко родился в 1943 году в Алтайском крае. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первая поэтическая публикация состоялась в 1968 году в газете «Омская правда». С 1973 года писатель живёт в Ульяновске. Автор романов: «Государев наместник», «Жертва сладости немецкой», «Бесстыжий остров», «Загон для отверженных», «Счастлив посмертно», «Клад Емельяна Пугачёва», «Атаман всея гулевой Руси», «Минувшего лепет и шелест», «Всё где-то решено»; комедии «Симбирский греховодник», а также поэтических сборников: «Братина», «Просёлок», «Круги земные», «Журавлиный оклик», «Русское зарево», «Бунт совести», «Судьба России» и других. С 2006 года – главный редактор журнала «Литературный Ульяновск». В 2008 году был награждён Всероссийской литературной премией имени И. А. Гончарова, в 2011 году – медалью имени Н. М. Карамзина, в 2014 году – орденом Достоевского 1-й степени. Лауреат литературной премии имени Н. Благова (2016).

Я вижу цвет, я слышу звуки.
Но не вернуть их мне уже,
Не дотянуться до разлуки,
Не вернуть глаза и руки –
И стынь отчаянья в душе...

Мы разошлись. Осталась тайной
Ты навсегда в моей судьбе.
Прошло полвека. И случайно
Я повстречал тебя в толпе.

Как обожгло! О боже, боже,
Ты не состарилась ничуть,
А стала краше и моложе,
И та же стать, и та же суть,

И тот же взгляд слегка надменный,
Такой же локон золотой..
Но это был, увы, мгновенный,
Внезапный морок. Предо мной
Была стена, и в ней – пролом.

Я вспомнил этот старый дом.
Ты в нём жила тому полвека
И тень оставила свою.
Как будто вытаяв из снега,
Опять вернулась в жизнь мою.

Быть может, ты явилась зовом
Из тьмы, куда мы все уйдём,
Как солнце – заревом багровым,
И откровенье обретём,

Зачем на этом свете жили,
Зачем любили и грешили,
Летали, ползали в пыли,
Но счастья так и не нашли.

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА, НЕ ПЛАЧЬ ОБО МНЕ

Умру ли я сам, иль убьют на войне,
Иль сгину навеки в темнице,
Прекрасная Дама, не плачь обо мне
В сияющей звёздной светлице.

Не плачь, я вернулся к началу начал
И встал на другую дорогу.
Тебе я давно свою душу отдал,
И ты возврати её Богу.

ОБИДА

Мы встретимся, но не подам я виду,
Что знаю вас, хотя душа горит.
Отвергнутая страсть похожа на обиду,
Её ничто уже не утолит.

Она во мне, как уголь под пеплом, тлеет
И душу жжёт уж многие года.
Как я хочу, чтоб память поскорее
Избавилась от боли навсегда.

Но как увижу вас, то вспоминаю снова
Признание в любви под майскою луной.
Вы не сказали мне худого слова,
Вы были зябко-холодны со мной.

– Я занята! Забудьте всё, что было..
Простите, если что.. Я не со зла.
И этих слов душа не позабыла,
Она смертельно ранена была.

И до сих пор в душе, как ножевая рана,
Обида начинает вновь кровоточить,
Лишь стоит мне увидеть вас случайно..
Былого не разрушить, не забыть.

Мы встретимся, но не подам я виду,
Что знаю вас, хотя душа горит.
Отвергнутая страсть похожа на обиду,
Её ничто уже не утолит.

ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО СДЕЛАЛА, ЗАЧЕМ?..

Ты в памяти как тень того, что было,
Лишь эхо от того, что говорила.
Как жаль, что я тебя не потерял совсем.
Зачем ты жизнь мою перекрутила,
Зачем ты это сделала, зачем?..

Я в лживых ласках и пустых словах
Завяз, как будто в яме с липкой глиной.
Шагнул в неё, витая в облаках,
В беспамятстве, и как укус змеинный
Твой поцелуй прощальный на губах.

Ужала.
И метку кровяную
Ношу я в сердце все мои года.
Терзаю за твоё предательство другую,
Что Господом дана мне навсегда,
Тебя, проклятую, не забывая никогда.

Я – ВДОХНОВЕНЬЯ СВЕТ ТВОЙ ИЗ СТОЛПА

Когда вокруг темны все этажи,
И звёзд не видно, и мечты бескрылы,
Я не зову тебя, но светом из души
Являешься ты мне в ночи постылой,
Чтобы сказать: «Не забывай, поэт,
С дня встречи нашей минуло шесть лет.

Когда-то называл меня ты милой.
Была я много лет как верный камертон
Поэзии твоей, что в даль времён
Устремлена с космической силой.

Но встретиться нам, видно, не судьба.
Я с каждым днём всё дальше от тебя.
Ты о любви ко мне всё реже пишешь,
Не знаю я, что видишь ты и слышишь.
Я – вдохновенья свет твой из столпа.
Ты жив, пока моим дыханьем дышишь».

Когда над миром убывает свет,
То всё вокруг теряет очертанья.
Я не пойму: со мной вы или нет?..
Ведь я не слышу вашего дыханья
И в сердце чувствую больную пустоту.

Не заглушить её и пачкой валидола.
За вами я стремился в высоту
Прекрасного, чтоб трещину раскола
Между людьми, что не имеет дна,
Преодолеть... Но вам не до меня.

Гляжу вокруг: всё сумрачно и голо
И в темноте, и в ясном свете дня.
Меня вы погрузили в одиночество,
Оставив невесёлое пророчество:
«Мы встретимся ещё когда-нибудь,
Когда земной закончится наш путь...»

Зачем же мы друг друга потеряли
И я про вас давно не вижу снов?
И голуби бумажные стихов
К вам с моего стола давненько не взлетали.

Хочу забыть, но тянется к перу
Рука, чтоб на мелованной бумаге
Нарисовать ваш профиль поутру,
Вокруг рассыпав письменные знаки...

Задуматься, вздохнуть и разорвать
Письмо любви, зубами скрипнув, смять.
И, чиркнув спичкой, запалить клочки,
И пристально сквозь тёмные очки

Смотреть, как исказился профиль ваш
И превратился в огненный мираж
С обугленными чёрными краями.
И захлебнуться горькими слезами...

Не вспомнить, где мы счастье потеряли.
Быть может, кто-то нас обворовал?
Или себя мы сами обокрали,
Когда семейный бросили причал?..

И носит нас житейскими волнами.
И грусть не покидает наших глаз.
И счастье жизни, брошенное нами,
Отравой стало и терзает нас.

Я вас не позабыл
За будними делами.
Вы – страстный жар и пыл
В стихах Прекрасной Даме.

Вы навсегда со мной
В любом моём твореньи.
Я не пойму порой:
Вы – явь или виденье?

То вижу вас как тень,
То слышу голос милый,
То провожу весь день
В безмолвии унылом.

В тетради вянет стих.
Чтобы зацвёл он снова,
Явитесь хоть на миг
Из огненного слова!

Уходит день, и в зыбкой тишине
Повеяло желанною прохладой.
Не воскрешай, что умерло во мне,
Улыбкой нежной и несмелым взглядом.

Не говори, что ты устала ждать
Моей любви и счастье потеряла.
Я ничего не в силах обещать,
Как не могу судьбу начать сначала.

Не говори, что дорог я тебе.
На перекрёстке временного круга
Мы встретились на жизненной тропе,
Чтобы взглянуть с надеждой друг на друга.

О, как хотел бы я твоей любви
Отдать себя, упиться наслаждением.
Вновь обрести и жар, и холод в крови
Перед сладостным в объятиях забвением.

И чтобы ночь в распахнутом окне
Вдруг пролилась, как ливнем, звездопадом...
Не воскрешай, что умерло во мне,
Улыбкой нежной и несмелым взглядом.

Я ВАС НЕ ПОЗАБЫЛ

Я вас не позабыл, хотя с мечтой расстался
Увидеться когда-нибудь опять.
Но где бы я ни жил и где бы ни скитался,
Я буду наши встречи вспоминать.

Ведь до сих пор они мне душу греют.
О милых днях так ясно говорят,
Что облик ваш разлука не развеет
И сохранится ваш прощальный взгляд,

И в нём ожившая надежда и тревога,
Хотя о будущем вы знали всё тогда,
Что скоро уведёт разлучница-дорога
Меня от вас, быть может, навсегда.

Сегодня память сердца побуждает
Меня вернуться к незабвенным дням.
Как часто случай всё за нас решает:
Где встретиться и где проститься нам.

Я вас не позабыл, хотя с мечтой расстался
Увидеть вас когда-нибудь опять.
Но где бы я ни жил и где бы ни скитался,
Я буду наши встречи вспоминать.



**Иван
ПЕЧАВИН**

КРАСОТА

ПРОЩАНИЕ С АВГУСТОМ

Снова солнце разбудило меня. Новое утро смеялось и голубело за кривым окном. По обкошенной луговине я добрался до Большого Карамана и пошёл по течению, которое едва приметно, и не задумывался ни о чём. По речкам легко и весело ходить. В лесу память и сознание напрягаются, приходится запоминать дорогу, следить за приметам, за солнцем, иначе забредёшь в такую глушь, где живёт одинокий леший. А речка, как весёлая живая дорога, ведёт путника. Недаром по рекам люди заселяли отдалённые уголки земли.

С непокрытой головой я шёл по холодной росистой осоке между островами ивняка, шёл навстречу солнышку, заспанный и счастливый простым и лёгким счастьем человека, у которого светло на душе, который хорошо выспался, у которого ничего не болит.

Мальки ходят у самого берега, у самого дна. Их не сразу заметишь. Сперва вода кажется безжизненной. Лёгкое движение зеленоватых теней заставляет глаз насторожиться, и вдруг видишь одну, три, сотню, тысячу рыбёшек, скользящих против течения. Мальки так сливаются с тоном дна, что сразу растворяются, едва рассредоточится взгляд. Рыбы покрупнее – щурята, окуни, плотва – держатся в струе, в водяных травах. Я знаю: закинь сейчас удочку, поплавок медленно понесёт, а потом он юркнет, и плотва трепещущей серебрянкой вылетит из воды. В ямах-омутах хорошо возьмутся колючий окунь, мелкий ёрш. И я невольно начинаю приглядывать в ивняке подходящее удище, раздумываю о приманке. Можно на кузнечика попробовать, на муху, муравьиные яйца. А если не станет брать, добудем ручейников, зелёных пиявок водяного цвета. Возле воды всегда мыслишь о рыбалке, а лески, крючки у меня лежат в жестяной баночке.

Чем дальше ухожу по реке, тем глуше становится луг. Короткая отава сменилась некошеными травами. Матово-сизые от неот-

-
- Иван Петрович Печавин родился в 1942 году в Баку. Детство и юность прошли на Урале. Окончил филологический факультет Балашовского педагогического института. Работал учителем русского языка и литературы. Публиковался в журналах «Аврора», «Нева», «Волга», «Волга-XXI век». Автор книг «Мой посёлок», «Слушаю степь», «От Джиды до Волги», «Яблокопад», «Северные картинки» и др. Член Союза писателей России. Живёт в селе Любимово Советского района Саратовской области.

рыхнутой росы, они стояли, чуть поникнув. Позади темнеет торная тропа. Ни один стебель не распрямится молодо и упруго.

Август. Закат лета. Преддверие осени. Ни тебе комаров, ни оводов. И невольно сравниваешь это тихое, стариковское лето с июнем, когда бродишь по юной степи, всем телом ощущая полдневный жар, знойную истому. Сухо во рту. Тополя заснули вершинами в знойном и выцветшем небе. Лицо и руки облиты горячим загаром. На спине под майкой росистый пот. А оводы, что с гудением вьются, кружат, прилипают неслышно, пока не почувствуешь внезапную колющую и жгучую боль. Ещё хуже маленький узкий слепень. Жжёт, будто кто-то прижимает к телу горящую спичку. В июне пропасть цветов. Цветочные реки текут по буграм, по дугам. Иногда забредёшь в такую высокую буйную траву, что жутко становится. Кажется, вот-вот схватит кто-то. Стоишь по пояс в цветах, а глаз так и ловит сплетения венчиков, соцветий, полосатых шмелей, голубеньких бабочек. Всё это нагретое, накалённое солнцем, залитое светом пахнет медово и пряно, сухо и одуряюще.

В августе всё скромнее здесь, на лугу: и солнце, и цветы, и бабочки. А на открытом всем ветрам месте, в степи – сырость и пыль, тоска и безнадежность. И только вдоль речки ещё взгляд цепляется за отрадные отголоски некогда буйной поры. Приглядываюсь к мокрому разнотравью, стараюсь определить названия растений: колокольчики, купальница, черноголов, купыри, иван-да-марья. Я люблю народные названия трав и цветов. Самое глубокое чувство, тончайший аромат поэзии, поразительная меткость соединены в них. Пустырник, дремляк, василистник, букашник – таинственные, волшебные слова. А вот – нивянка, овсяница, трясушка, лисохвост и козлотородник, сушеница и сердечник, таволга.

Сохнет роса. Первые бабочки кружатся над редкими цветами кипрея, ромашки, розового тысячелистника. Дует тёплый ветер. Рыжие шашечницы, перламутровки, репейницы перелетают по малиновым башенкам кипрея, кустикам иван-чая. Их видел всякий, без них нет летнего луга и леса. Реже пролетали бархатные траурницы с белой каймой, кирпичные павлиноглазки или медлительные лимонницы. При появлении самок ревнивые соперники вступают в отчаянную битву. Они хлопают друг друга крыльями, налетая то сбоку, то сверху, стремясь сбить в траву. Часто, ослеплённые ревностью, они становятся добычей голубой стрекозы-коромысла. Вот и сейчас десятки отливающих бирюзой стрекоз проносятся над речкой, над кустами. Из травы вырываются мелкие бабочки, мошкара. Вот взлетела белая неловкая букашка. Коромысло пикирует. Удар! Одно белое крылышко отлетает в траву, а стрекоза уносит в цепких лапках оглушённую добычу. Она съест её не торопясь, присев где-нибудь на сухую солнечную ветку, съест, поглядывая на мир огромными, изумлёнными глазами. На луговине водятся и певчие кузнечики. Они отличаются тем, что могут залихватно трещать без перерыва минут по десять. Они поют и по ночам. Кому не знакомы летние деревенские ночи, прохладный сумрак, наполненный этим стрекотаньем!

Я ушёл по Караману километров на пять. Теперь луговина становится совсем не широка, то переходит в засохшее болотце с лютиками и худосочной осокой, то идёт сухим берегом. У самой воды стоят раскидистые ивы с ветками до травы. У корней они поросли непролазным шиповником, смородиной и бузиной. Птичья жизнь бьётся в таких островках. То одна, то другая птичка, напуганная моим приближением, выпархивает из островка, чтобы помчаться к другому и нырнуть в его спасительную густоту.

Луговине, как всему на свете, пришёл конец. Она упёрлась в кромку чёрного заболоченного ольховника. Дальше речка утекала под его своды, будто хотела спрятаться от солнца.

Сначала я сунулся в ольховник, но очень скоро захотелось назад. Невзрачный ольховник в любую пору – самый скучный и бедный. Неприятно однообразие тёмной зелени, чернота стволов, ворохи гнилой листвы, вода чавкает под ногами. Ещё противнее мелкая мошкара-мокрец, тучами живущая тут. Мокрец облепил меня со всех сторон. Лицо, руки и шея чувствовали живую липкую паутину. Крошечные мошки лезли в уши, под веки, не давали дыхнуть. Чертыхаясь, кашляя, отирая лицо ладонями, я побежал назад. Что было бы, если бы проклятый гнус распространился по всей земле? На открытом месте мокреца не стало. Здесь можно было набрать целую горсть жуков-листоедов, с ярко-золотой спинкой и вишнёво-бронзовым брюшком. Золотые листоеды всегда встречаются на ольхе.

Возвращаться прежней дорогой не захотелось. Я решил перейти на другую сторону Большого Карамана. Сняв сапоги и брюки, я благополучно перебрался на другой берег, найдя неподалёку узкое место. Здесь рос непролазный терновник с такими переспелыми душистыми ягодами, что ешь, ешь, и всё хочется. Чёрно-глянцевых ягод оставалось негусто, зато жёлтых листьев на земле и на ветках было не счесть. Казалось, кто-то пригоршнями бросил на терновнике светлую неяркую краску. Между корнями полузаваленное этой листвой открылось травяное гнёздышко какой-то птички. Должно быть, здесь гнездились зарянки. Они любят такие глухие заросли. Пустое гнездо и жёлтые листья наводили на мысли об осени, об отлетающих стаях и холодах. Август – пора зрелости в природе, когда не только окружающий мир трав и деревьев, насекомых и птиц, невидимых зверушек и рыб, но и человек делается задумчивее и строже, оглядывается на пройденный путь: так ли жил, так ли думал, какие совершил ошибки и промахи, куда идти дальше, кого любить и ненавидеть. В августе всегда немного одиноко, но это не тоскливое одиночество. Это – одиночество раздумий и мыслей, житейских забот и поисков хлеба насущного. Ведь впереди – слякотное предзимье и долгие холода.

Разморённый теплом и сухостью луга, я забрался в жидкую тень терновника, лёг на спину в траву и постепенно ушёл в созерцание голубого простора, где тонул, не находя опоры, взгляд. Я люблю лежать вот так. Земля словно отступает, уходит куда-то вниз, и я остаюсь один в глубоком небе вместе с бегущими облаками. Ничто не напоминает о земле. Листья трепещут, веточки гнутся от лёгкого ветра, они не мешают мне плыть вдаль по течению мысли. Я ощущаю осторожную ласку солнца, шорох ветра, запах травы и думаю: как же хороша эта простая жизнь без печали и смерти, жизнь облаков и листьев, ветра и воды.

Громкий гортанный крик прозвенел вдруг в вышине. Два косяка серых журавлей высоко и плавно тянули на закат, мерно взмахивая крыльями. Странное чувство рождает журавлиный крик. В нём спрятаны сладкое осеннее уныние и глухие невыплаканные слёзы. И когда птицы пролетят и скроются из вида, ещё большую нежность испытываешь к своей земле, хочется гладить блёклые соломинки, ласкать землю как осиротелого ребёнка.

ЩУЧЬЕ ОЗЕРО

Темно и свежо. Утренняя свежесть заставляет вздрагивать, руки и шея покрываются шершавой гусиной кожей. Так зябко, сонно и неудобно

вокруг. Окованный железом нос лодки мокр и холоден от росы. Я захожу в тёмную воду, держась за борт, сталкиваю лодку с места. Она шуршит днищем, вёртко покачиваясь, и хочет выскочить из рук. Осторожно перешагиваю через борт, чувствуя упругую неустойчивость челна, сажусь на скамью. Лодка идёт по спокойной чёрной воде. Неслышно опускаю лопату, приспособленную под весло – не хочется разрушать плеском глухую предутреннюю тишину. Глаза привыкли к мраку, уже видны как будто очертания островка, возле которого надо остановиться. За островком всегда тихо, даже если дует широкий западный ветер и озеро покрывается белыми застругами пены.

На западе темно. Возле островка останавливаюсь, втыкаю в дно длинные колья, накрепко привязываю вёрткую долблёнку, разматываю лески. И вот первые поплавки столбиками встали на воде, ждут клёва. Светает. Гаснут, растворяются в синеве первой зари созвездия, словно удаляются от земли. Бледная, неясная полоса рождается за моховыми болотами, за чёрными зубцами ельников на восточном берегу. Туман дымит, ползёт над водой. А через полчаса редкие высокие облачка вдруг загораются радостно-золотым и розовым светом. Ярче и ярче рдеет заря, разливаясь над щучьим озером. Вот она обняла полнеба, отразилась в воде, словно огромное малиновое зарево. Нигде, кроме как на севере, нет таких величавых и огненных зорь. Тишина. Спокойствие. Простор. Утки, вытянув шеи, проносятся над озером. Свежей сыростью до предела насыщен воздух. Пахнет водорослями, туманом. Сизый налёт росы лежит на носовой скамейке как чудесная жемчужная ткань. Я сижу неподвижно, смотрю на поплавки, прислушиваюсь к шумам тайги, и особое состояние спокойной радости владеет мною. Что-то принесёт новое утро? Сколько рассветов встречал я, и ни один не был похож на прошедший, не обманул радостного ожидания.

Однако скоро начнёт клевать.

Вот на поверхность воды вынырнули два жучка-вертуна. Покружились, блеснули неяркими искорками и ушли в глубину. Странные жучки: они показываются только лишь на утренней или вечерней заре, перед клёвом, и так не похожи на своих собратьев-родичей – блестящих жуков, что стаями играют в солнечный день на мелких местах.

Дальний поплавок вздрагивает и ныряет. Хватаю удилице. Зелёный полосатый окунишко вылетел из воды. Такой крошечный – смотреть жалко. Осторожно освобождаю маленькую трепетную рыбёшку, бросаю в воду. Вильнув хвостиком, окунь уходит под лодку. Клёв начался. Поплавки дёргаются один за другим, будто кто-то спрятался под водой и, балуясь, дёргает лески.

Между тем совсем рассвело. Ослепительный столбик солнечных лучей побежал к острову... Зелено голубеет вода. Ветерок забирает из-за острова, и длинная полоса мелкой ряби идёт от берега. Я вытащил уже более десятка крупных серебряных чебаков, несколько порядочных окуней с красными плавниками, когда за удилице, закинутое подальше от борта, потянуло сильно. Поплавок медленно нагнулся, утонул и уже больше не показывался, леска бросалась то туда, то сюда. Я чувствовал, что тащить напрямую нельзя – оборвёт. Сильная тяжёлая рыба ходила у дна, кидалась в стороны. Лодка, хотя и была привязана с обоих бортов, угрожающе колыхалась. Я следил за нею и за натянутой леской, но готов был лучше нырнуть или опрокинуться, чем выпустить удилице. Лишь спустя несколько минут, в продолжение которых я метался от отчаяния к надежде и, как маленький, повторял: «Лишь бы не ушла! Лишь бы не ушла!», рыба обессилила. Я повёл её к лодке и поддел сачком. Толстый лобастый язь тяжёлым слитком живого серебра трепыхался в сетке, тарачил яркие жёлтые глаза, без-

звучно разевал рот. От него пахло сырыми водорослями и озёрной водой. В банке из-под повидла язь не уместился. Я положил его в лужицу воды на дне лодки, прикрыл пучком мокрой травы, которую заранее нарвал в темноте на берегу. В луже язь буйствовал, хлопал хвостом, брызгался, разбрасывал траву, не желая мириться со своим непонятым положением. Вскоре на ту же удочку клюнул другой язь – поменьше, затем и ещё один, почти такой же, как и первый. Теперь уже руки не дрожали, волнение улеглось, и я более спокойно клал в лодку желтовато-серебристых рыб. Три раза – неплохая добыча. Может, ещё клюнет. Закинул добычливую снасть. Действительно, через некоторое время поплавок дёрнулся, утонул. Я подсёк. Рыба заходила кругами. «Язь», – подумал я. И тут леску потащило с такой силой, что удище ткнулось в воду, и леска лопнула. Я едва не ухнул вниз головой за борт, потеряв равновесие. «Вот так язь», – шептал я и растерянно смотрел на обрывок лески. Что же это за язь и какого он был размера? Может быть, щука? Но щука редко берёт на червя. К тому же рыба сначала показалась некрупной. Зацепилась удочка за корягу? Тоже нет. Ведь я чувствовал, как рыба потянула. Я вглядывался в спокойную глубину. Клёв словно оборвало. Поплавки других удочек тихо кивали на лёгкой волне. Она билась в корму, шуршала на отмели.

Занялся погожий августовский день. В такие дни жара уже не донимает. Тёплое ласковое солнышко с доброй улыбкой смотрит на землю и воду.

Стая серых тонкоклювых куликов бегала по отмели у островка. То рассыпаясь, то сбегаясь вновь, кулички что-то выискивали и склёвывали с деловито-озабоченным видом. В стороне от мелких светлых куликов носился тёмный черныш. Он никак не хотел задерживаться на одном месте и то и дело перелетал. Я засмотрелся на птиц и забыл обо всём на свете. Очень забавно видеть, как кулички находят корм, кидаются на него все вместе, вырывают друг у друга, а счастливый обладатель находки что есть мочи удирает в сторону, торопливо заглатывая пищу. Ссоры, драки, сопровождаемые писком и воплями, то и дело вспыхивают на отмели.

Вдали от островка белыми платками пролетели три большие птицы. Сделали круг. Да это же лебеди! Они насторожённо покачиваются на волнах, гордо и прямо подняв свои тонкие шеи. На озёрах севера лебедь не редкость. И ни разу никто не убивал лебедей. Не поднимается рука красоту такую губить.

Пора сматывать лески. Пора к берегу. Я отвязал лодку, подогнал к отмели и высадился на остров. Весь остров был не более тридцати метров в длину и пятнадцати в ширину. Вся растительность острова состояла из четырёх сосен, искривлённых, изуродованных зимними ветрами, одной берёзы, кустов шиповника и редкой травы. Я занялся поисками топлива.

Отходит короткое северное лето. На пороге осень. На острове близость её заметнее. Вот и берёза желтеет прядями, и шиповник усыпан светло-красными гладкими ягодами. Тоненькими голосами синиц звенят сосны. Синицы не любят сосны. Синицы не любят открытых пространств, и остров для них как пересыльная база. Отдохнут, покормятся и – дальше низко над волнами.

Обходя островок шаг за шагом, я набрал мелких сучков, сухой травы и шишек. Развёл костерок. Вскоре на берёзовой ветке жарились, пеклись окуни и чебаки. Хлеб, соль и лук у меня всегда есть про запас. Поев, улёгся вздремнуть. Как ни странно, а на рыбалке устаёшь сильно: блеск воды, напряжённое волнение, чистый озёрный воздух пьянят и утомляют не хуже работы. Я заснул под тихий плеск волн, положив голову на рюкзак.

Мне снилось жаркое солнце, плоский необитаемый остров в океане, шум прибоя, зелень бесконечных кипящих валов. Явственно слышались голоса чаек. Их было много. Они летали, кружились над белым песком. Чайки кричали куликами, но ни минуты я не сомневался, что это чайки. Я бродил по горячему сыпучему песку. Я искал дерево. Надо было строить лодку или плот, не помню. До сердечной боли хотелось уплыть, бежать прочь от этого острова, от жёлто-голубой пустыни к людям, к земле, к своей семье. Я обходил жёлтые отмели и собирал сосновые шишки. Они росли на пальмах. А шум океана нарастал. Голоса чаек становились пронзительнее. «Будет шторм», – подумал я и проснулся.

В первое мгновение я ничего не понял. Казалось, сон продолжается. Жарко припекало солнце, пищали кулики, и едва я перевёл взгляд на отмель, как тотчас со страхом вскочил.

На отмели ворочалось что-то огромное, зеленовато-пятнистое и страшное. Оно изгибалось, поднимало кромешный плеск, брызги струями летели во все стороны. «Кто это?» – оторопело думал я. Одна мысль стремительно перечёркивала другую. Я узнал. Щука! Невероятных размеров щука билась на отмели шагах в пятнадцать, выставя на две трети из воды. Я шагнул и ясно различил морду чудовища с высоко поставленными глазами, тёмно-зелёную, в белёсых и жёлтых пятнах. Из намертво защёлкнutoй пасти свисало птичье крылышко. Взять! Я кинулся к щуке как первобытный дикарь с намерением оглушить, схватить поперёк и выволочь на берег. Но огромное чудовище, как живое бревно, отчаянно заколотилось и, обдав меня ливнем брызг, скользнуло в глубину. Бороздка волны потянулась от острова. Я потрогал голову, провёл руками по мокрому телу. Нет, не сон. Ноги стоят в воде. На волнах качается рябенький пух. Говорят, что в этом озере водятся щуки пудов по пять. Я не верил, но глазам своим верить не откажешься. Почему-то мне стало жутковато от всей этой истории. Крокодилья морда чудовища не выходила из головы.

Я вышел на берег, присел на тёплую землю и стал рассматривать выловленные из воды перья: чьи они? Догадаться было трудно. Ведь все кулички схожи пером, к тому же перья намокли и слиплись. После некоторого раздумья я решил, что перья скорей всего кулика-плавунца. Он чаще других заходит далеко в воду и может плавать. Щука подстерегла стайку плавунчиков, занятую поисками корма, и, когда они удалились немного от берега, метнулась на ближайшего. Может быть, птица успела чуть-чуть взлететь, и огромная рыбина силой инерции вылетела на отмель. Слеплённая светом, задыхающаяся, она забилась. Вот он, прибор, который слышался во сне. За первой догадкой пришла вторая. Наверное, щука не первый раз ловит куликов и сторожит их у острова. Это она оборвала леску, как гнилую нитку. Ключнул, конечно, язь или окунь. Щука глотнула подсечённую рыбу. Вот почему торчком встало за бортом удилище и возникла жуткая тяжесть, колыхнувшая лодку. Сколько весит щука? Длиной она была не менее двух метров. И весила если не пять пудов, то около трёх – точно... «Доисторическое чудовище, – думал я, глядя на успокаивающееся к вечеру озеро. – Может быть, в его глубинах водятся ещё более крупные рыбы? Как знать?»

На вечерней заре я снова рыбачил у острова. Село солнце. От мошкары не было отбоя, не помогла и жидкость «Дэта». Крупные окуни наперебой хватили насадку, глубоко топили поплавки, кололи руки иглами плавников. Небо тускнело, подёргивалось тучами, предвещая завтра хорошую ветреную погоду. Я поплыл к берегу, довольный и тем, что славно порыбачил, и тем, что спадала жара.

СОЛОВЬИНАЯ УРЁМА

Синяя светлая ночь. Черёмуховые кусты у воды. Ни шороха, ни звука. И вдруг удивительное: будто угукает филин, вопит неведомая нечисть и тут же русалочьим смехом, дивным свистом перемежит, расколется, разнесётся и замрёт.

Соловьинные места. Кроме старого валежника, поросшего молодью, они располагались по сырým ручьям и займищам с высокой, ещё не подкошенной в июне травой. Особенно богаты соловьями мелкие речонки, плутающие в полях меж ложков и оврагов. На берегах речек растёт урёма – тихие кусты ракутника, кое-где берёзки и вечно лопочущая осина. Но главным образом берега речонки застилает черемушник. Черёмуха – чёрная и гибкая – весной немилосердно обламывается любителями её горько пахнущих цветов, а летом сплошь осыпана глянцем вяжущих ягод. Она даёт такую буйную корневую поросль, через которую ни пройти ни проехать. Часто по её прямостоячим побегам вьётся хмель, вьюнки висят лешачьими бородами. Зубчатоллистная крапива стегает всякого. Листья, вьюнки, крапива и хмель. Тут полным-полно насекомых. В зелёном сумраке порхают стрекозы, роятся и вьются над солнечным пятном. Глубь урёмы темна, и не скоро заметишь там соловья – душу зелёных дебрей, их голос и сказку.

Соловьи прилетают не так уж поздно, в сравнении со всякой южной птицей. Ещё до распускания первых листьев являются они в любимые места и в холодную погоду совсем не выказывают себя. Не поют. Ближе к концу апреля, числа этак 25-го, соловьи начинают петь: сперва робко и понемногу на первой заре, а чем теплее становится, тем дольше. Идёшь соловьиной речонкой, и вдруг защёлкает в кустах. Ёкнет сердце: прилетел. Без соловья и весна не весна. А тут такое! Хорошо услышать первого соловья, ведь сколько морозных дней прошло, сколько снегов, сколько зимней тоски. Соловьинные вскрики заставляют забыть все печали и беды, накопленные за длинные зимние вечера.

Весна гуляет по земле. Жаворонки поют, поют над полями. Ещё рано. Нет солнышка. А уже светло, свежо на востоке. Редкий туман жмётся в низинки, и пахнет холодом, проснувшейся землёй, и сырой, обомлевшей за ночь травкой, и светлыми черёмуховыми почками. Самого соловья не увидишь. Он сливается в кустах с ржавыми тоннами жухлой травы, коричневой корой веток. Разве что перелетит, тогда обозначит себя. Сперва заметишь прогнувшуюся ветку, потом увидишь соловья. Пробрёшься в чащу, тихо сидишь, следя за ним. Птичка крупновата, но поменьше певчего дрозда, рыжая сверху, сероватая с грудки, лупогазо-удивлённая, перебегает по земле, быстро ворошит клювом листья. Иногда она стремительно схватывает что-то. Останавливается, насторожившись, красиво поворачивая хвост вверх, вбок и вниз. Она поглядывает на меня, точно прикидывая: опасно? Видимо, решив, что неопасно, она принимается за прерванное занятие.

Я проверял, что же ищут соловьи под опавшим листом. Разгребал его осторожно и всегда находил жёлтые твёрдые личинки жуков-щелкунов. Тех самых, что удивляют нас умением прижимать усы и щёлкать, прогибаясь, едва его положишь на спину. Всякому, кто копал картошку, известны эти личинки, буравящие наш второй хлеб.

Время от времени соловей издаёт: «фи-фи». Но вот птичка «набирается», легко порхнула на удобный сучок. С минуты соловей сидит в задумчивости, взъерошив перо, и вдруг такое ясное, звучно-глубокое полилось из куста. Соловей запел. Смешны попытки звуками нашей речи передать

соловьиною песню. Она так своеобразна: так странно сладки, дики, нежны, необычайны издаваемые птицей высвисты и трели, что трогают до озноба. Особенно если слушаешь соловья до утренней зари, когда кругом тьма и тишина, а поле, и звёзды, и чёрные кусты тоже слушают, слушают...

Песни соловьёв в полную силу начинаются с десятых чисел мая. К этому времени на занятые самцами участки прилетают соловьи. Они появляются примерно через неделю после прилёта самцов. С первого дня прилёта соловей гоняется за своей рыжей, точь-в-точь похожей на него соловьиной, ухаживает за ней. Их постоянно можно видеть вместе. И стоит ей куда-нибудь отлететь, как самец обеспокоенно кричит и кидается на поиски. А уже через неделю в самом захламлённом, заросшем травой и молодыми побегами месте соловьи строят гнездо. Я не раз находил эти рыхлые, словно наспех свитые из сухих травинки гнёзда с розово-коричневыми яичками. Они помещались то меж корнями черёмухи, то под как будто приросшими к земле ветвями, даже под кучей сухих, срубленных осенью веток. Там же встречал я позднее темноватых и крапчатых снизу шустрых соловьят. Уже на девятый-десятый день они убегают из гнезда и шмыгают но урёме, как мыши, помаленьку привыкая к самостоятельности. Они стерегут и ловят всякую живность, бегущую по тёплой листовой подстилке урёмы. Они подкарауливают жучков, склёвывают пауков, гоняются за мошкаркой и сами могут легко стать добычей хорьков, всегда живущих в таких дебрях. Спасает соловьёв бесподобное умение прятаться, замирать без движения на минуту и более. Птички делают это часто, и очень трудно различить такого окаменевшего вдруг соловья среди листьев, травы и веток.

Вывелись птенцы. Пение соловьёв стихает. Да и одних ли соловьёв? Откуковала горюнья-кукушка, молчат варакушка и весёлая зарянка, очень близкая родственница соловья. Утихли жаворонки в полях. А в августе все птицы становятся незаметны. Идёт линька, трудное время. Всякая птичка норовит подальше укрыться от своих врагов, а соловья и подавно не увидишь. Только по редкому «фи-фи» узнаешь, что они тут.

А в сентябре ударят холодные утренники и пойдёт соловьиный отлёт – ночной, неизвестный никому...

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ

Большинство людей считает, что самые первые цветы – подснежники, мать-и-мачеха, сон-трава. И всё-таки не все они встречают весну, ведь самые первые цветы – под снегом.

Кончается март. Теплеет. Сахарный мокрый снег. Шальной ветер-расстрига. И над снегом, на ветру – цветы. Они серебристы. Да ты же знаешь их.

Скромная кустарниковая ива с женским именем верба стоит по пояс в снегу и цветёт. Летом никто на неё не взглянет. Слишком обычен и тускл ивинок. Зато весной хороша верба. У каждого дерева месяц радости, когда блещет оно во всей красе, гордится своим нарядом. И в марте ничто не сравнится с вербой – ласковым деревом русской весны.

БЕРЁЗА

Помню, был ещё маленький, годков этак семи-восьми. Всю зиму ждал весны, каждой клеточкой мечтал о поре, когда устойчиво подует тёплый ветер. И дождался. С утра, в сенях ещё, охватило меня это нежное и потрясающее тепло.

Тепло на улице! И я зажмурился, засиял, запрыгал, потому что было солнце.

Ручьи! Весна! Солнце и ручьи!

Всё радовалось в такое утро. Бежали потоки воды. Чирикали воробьи, кричали галки. Грохотали сосульки. Одни берёзы в огороде казались безучастными к этой всеобщей радости. В них не было никакого весеннего движения. Берёзы всегда занимали меня. В самом деле – странно живёт дерево. Живёт, а живое ли оно? И в чём живое, почему живое? Во всём ли подобно мне, кошке, брату моему Петьке, с которым я играл с тех пор, как помню себя? Или это совсем другая, ненастоящая жизнь, пусть даже с почками, листьями, с пылящими жёлтой пылью серёжками?

И вот в то утро, обрадованный теплом и весной, не зная куда деть нечто распирающее, бушующее и буйное, я схватил свою железную саблю, выкованную из обруча, с острым, многократно обточенным о камень клинком и помчался по проседающим, хрупким сугробам, круша их сахарную, тут же расходящуюся волной плоть, и, доскакав до берёз, с размаху хватил воображаемого противника. Раз, два! Ещё!

На белой, круглой, женственно желтеющей и розовой коре легли рубцы. Они были глубокие и живые, как раны на чьём-то теле. И вдруг я увидел, как из этих рубцов, медленно накапливая, потекли и закапали светлые круглые слёзы. Они стекали по белому телу берёзы и срывались в снег, прожигая его до земли. Берёза плакала, рыдала, как моя мама, когда обижал её подвыпивший отец. Она была живая, совсем живая, совсем как я, как Петька, как все.

И, потрясённый этим открытием, глядя на раны и рубцы, я опустил саблю, потом бросил её в снег и пошёл по проседающим сугробам уже без радости, отягчённый заботой и крепко занятый мыслями о чём-то непонятном, больно томящем душу.

ПАУК

Было холодно. Вдоль трассы мела позёмка. Я шагал по дороге, отворачиваясь от ветра. Вдруг на снегу почудилось мне какое-то движение. Остановился, нагнулся. Небольшой длинноногий паук боком, боком скользил по снегу, он двигался как тень и производил впечатление нереального. Не бред ли это? Паук, отрицающий все законы природы. Я коснулся его, и он замер, сжался в сухой комочек. Я поднял его на ладонь и попробовал греть – паук не шевелился. Тогда я снова положил его на снег, и тотчас он развернул свои волосяные ножки и так же, как прежде, боком заскользил по снегу.

Куда он полз? Что заставило его упрямо пробиваться вперёд? Как он смог пересилить холод и ветер? Для меня это осталось загадкой. Я полагал, что только человеку присуще отчаянное самопожертвование в достижении своей цели.

Ан нет. Природа мудрее.

КРАСОТА

Только что прошёл короткий сверкающий летний дождь. В автобус, в котором я ехал на работу, вошли две женщины. Я смотрел. Чулки их были забрызганы грязью. Лицо одной было прекрасно – свежее, светящееся, сияющее, с зелёно-голубыми глазами, в которых светилась доброта и что-то ещё

до боли родное. На голове у неё был светлый платок в крупную розовую горошину. Губы как у богини, манящие и недоступные. Волосы были проду-манно растрёпаны, выбивались из-под платка, закрывая лоб кругловатой чёлкой. Цвет лица – цвет самой ранней зари, вот когда небо только едва белеет и чуть розово. Такую зарю называют досветкой, а видят её лишь немногие. Если видят, то запоминают на всю жизнь. И ещё такой цвет есть у ранних цветов, словно бы белых, а на самом деле бело-бело-розовых. Такой цвет и в подснежниках, и в первых кучевых облаках. Таким было и лицо женщины – свежее, молодое и северное.

Женщина была довольно крупная. Под капроном платья угадывалось такое совершенство форм и линий, что я не мог отвести взгляда, стоял и глядел поражённо.

А рядом была её сестра – бледная копия, хотя и моложе. И мне стало ясно: красота – это талант. Природа творит совершенство однократно. Она не терпит повторений, или не может повторяться.

Я с трудом заставил себя выйти из автобуса. И все женщины, все девушки, все встреченные разом полиняли, словно я отравился красотой.

И горько мне было, и радостно, и тревожно.

ЧЕРЁМУХА

Я увидел её на окраине рощи, в снеговом промыве, и до сих пор не могу забыть. Черёмуха была старая. Видать, выросла она здесь из косточки, обронённой какой-нибудь птицей. Главный косою ствол черёмухи давно прогнил. Белые плюшевые трутовки семьями облепили его. Зато вокруг отвала широко и привольно разрослись молодые побеги, все покрытые ясно-жёлтым листом, светлым, как сентябрьское солнце. Даже среди схожей палевой, жёлтой и ржавой листвы на опушке куст светился ярким пятном. Едва холодное полдневное солнце высывалось из-за облака и широкий свет падал в ложок, весь куст вдруг вспыхивал и горел ровно, радостно, пока новое облако не приглушало его свет. Я долго стоял и сидел на траве, любясь игрой красок, а потом решил: «Приду ещё сюда завтра».

Я уходил, а куст всё заставлял меня оглядываться, будто смотрел в спину. Назавтра я пришёл в знакомый ложок. Только где же куст? Если бы не чёрный обломленный ствол, я никогда не поверил бы, как может исчезнуть, рассыпаться золотой куст. В одну ночь потухла красота. Черёмуха облетела, и листья жёлтой юбкой лежали у её тёмных ног. И пахло от этих листьев тонко, отчётливо и горьковато, как от девичьей кожи.

ЛЮБКА

Я почувствовал сильный запах ванили, смешанный с чем-то душистым, и невольно остановился. В лесу темнело. Травы путались под ногами. Уже какой-то светлячок повесил недалеко свой фонарик – зелёный ночной огонёк. И всё-таки, склонясь на запах, я увидел этот цветок – очень невзрачный, тонконогий, на детской шейке, он приподнялся над травой в ложбинке из двух ланцетных листьев. В нём было что-то от юной девочки, вся красота которой в её стройности, тонкости, в том, что обычно называют хрупкостью.

Бледно-зелёные соцветья грудились на вершине стебля – не то звёздочки, не то завиточки. И тут я вспомнил название цветка: любка. Большая ночная бабочка вдруг загудела надо мной, повисла над цветком. Бражник! Лесной красавец, весь розовый, расписной и стремительный кружился перед любкой.

Ещё раз подивился народной мудрости: ведь дал же кто-то скромному цветочку такое милое женское имя, а бабочку-ночницу не постеснялся окрестить бражником. И почему бражник-гуляка летит к такому невидному цветку, почему цветочек остановил и позвал к себе человека, остановил и заставил поклониться? Безмерна, свежа, многолика природная красота: то запыхает она во всю силу цвета, то притворится скромницей, опустит ресницы и самыми блёклыми тонами выдаст непостижимое.

Я уходил, и навсегда оставались со мной ночной лес, тихая любка, хмельной бражник и светлячок, светивший нам всем.

БАБЬЕ ЛЕТО

Бабье лето! Не шелохнутся берёзы, лишь оторвётся, прозвенит вниз одинокий листок. В солнечных лучах сине, шелково блестит паутина. Голосок синицы позовёт кого-то, откликнется кому-то.

Бабье лето! Ещё цветут крепкие нивянки, глядит тысячелистник. Прощальные ягоды земляники ещё попадают по буграм, и на болотах второй раз зацветает калужница. Слышны песня отлётных жаворонков и крик журавлей. И будто бы земля вновь повернулась к солнцу, вторая молодость, последняя красота...

МАТЬ-И-МАЧЕХА

В апреле обтаявшая земля кажется такой юной и холодной. Лишь синие озерца воды – глаза весны, и в них одна правда глубокого весеннего неба. Роднят они землю с небом, то безмятежно улыбаясь ему, то подёргиваясь облачной грустью. Проходит день и два. И вдруг на скромном личике земли загораются жёлтые веснушки, разбегаются по всем буграм, по тёплому пару огородов, по гривам посохшей лебеды. Будто мелким одуванчиком зажелтело. Но то не одуванчики – мать-и-мачеха. Лекарственный цветок и даже сорняк.

Маленькое солнышко светит в сухой траве, поднимаясь на тонком чешуйчатом стебельке. Где же листья у этого цветка? Нет листьев – вырастут в мае треугольные тусклые лопушки. И не боится мать-и-мачеха холода, настоящая подснежница. Долго раздумываю: почему народ так назвал этот цветок? Одни говорят, листья у него разные: сверху гладкие, снизу ворсистые слегка. Может, и вправду так. Но ведь и у репья, и у многих трав такие листья. Не скоро поймёшь народную мудрость. Оно и верно: тепло улыбается этот желтёнок и сам собой мягкий, ласковый – мать. А почему же «-и-мачеха»?

Однажды пришлось мне идти пустырём в сырое и тусклое утро. Сыпал снег вперемешку с дождем, солил зябшую землю. Я вспомнил о цветочках, глядя под ноги. Ещё вчера этот пустырь весь смеялся, золотел мать-и-мачехой. Что случилось сегодня? Не собрал ли уж кто-то все цветы? Нагнулся и увидел их: сложив венчики, наклонив головы к земле, цветы стояли скучные, суровые: «Вот она – мачеха, – подумал я. – И не улыбнётся, не порадуется».



**Юрий
МОГУТИН**

МЫ ВСЕ ЛИШЬ ГОСТИ В ЭТОМ МИРЕ...

Сибирь глядела сумрачно на пришлых,
Давая мне понять, что я здесь лишний.
Хотелось жрать, но милостив Всевышний –
Я подыскал работу и жильё.

Чин невелик – литраб многотиражки,
И угол в заводской пятиэтажке.
В мороз меня спасал глоток из фляжки.
Рычали рудовозы как зверьё.

Сибирь варила сталь и кокс спекала,
Здесь даже снег был с привкусом металла.
Сибирь кроила по своим лекалам,
Считая нас за собственных щенков.

Моей зарплаты вечно не хватало,
Случалось, и от голода шатало,
И я грузил вагоны у вокзала
До дрожи мышц,
До хруста позвонков,
И было мне в те дни не до стихов.

-
- Юрий Николаевич Могути́н родился в 1937 году в семье писателя, дипломата Николая Равича. Вместе с матерью был выслан из Москвы после того, как отец был репрессирован. Жил на Урале и в Сталинграде. Работал на стройке, на рыболовецком флоте, служил в авиации. Окончил историко-филологический факультет Волгоградского педагогического института. Работал учителем литературы, редактором и журналистом, жил в Кемерове, затем в Вязьме. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. Член Союза писателей СССР. Дебютировал в 1960-е годы многочисленными сборниками стихотворений для детей. Позднее публиковал прозу, преимущественно историческую и краеведческую, и стихи для взрослых. В 1987 году был удостоен поощрительной премии на Первом Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу. Лауреат Горьковской премии по литературе 2012 года в номинации «Поэзия».

1944

Я рос на хлебе и воде,
А часто даже и без хлеба.
Мечтал тоскливо о еде:
Пожрать бы наконец-то мне бы!

Деревня съела всех собак
И даже кошек самых тощих.
Как выжил я тогда, слабак –
Обтянутые кожей мощи?

Маячил явственный кердык,
Но умереть не так-то просто.
И в небесах созрел вердикт:
Отсрочка малому с погостом.

Война катилась на извод
В крови и скорби похоронок.
Там – в ад шагал за взводом взвод,
Тут – чах от голода ребёнок.

Как выжил он, который я,
В военном том голодоморе
Среди обносков бытия,
Где жизнь и смерть в извечном споре?

Не согреться душе у чужого огня,
Ибо он согревает другого.
И чужая жена, что ласкает меня,
Поменяет себе дорогого.

И Харон до пол-Стикса меня довезёт,
И палач, ослабляя удавки,
Не dokonчив работу, меня не добьёт,
Ибо все они здесь на полставки...

Я для них лишь рутинный, пустой эпизод,
Недостойный усердий заплечных.
А иначе пустили б меня на извод –
Век изводит больных и увечных.

Когда у вас пусты карманы,
Их не обчистит ловкий вор;
Когда в кармане нету money,
Мадам не видят вас в упор.

И если ты бездомный рашен
И посох – весь твой реквизит,
Пожар тебе уже не страшен,
Как и домушника визит.

О величайшая из Родин!
С бомжом признаешь ли родство?
Лишь тот воистину свободен,
Кто не имеет ничего.

Кто по нескладности рожденья
Прохлопал Божью благодать,
К кому ни чувств, ни снисхожденья,
Кому тут нечего терять.

Так за всю жизнь ничего и не сказал,
Ибо не нашлось желающих слушать.
Схоластика школ и муштра казарм
Превращенью граждан в роботов служит.

Так я не прав, но и так я не прав,
Весь в прегрешеньях невольных и вольных.
В скорби незрячей портится нрав.
Боже, избави от мыслей крамольных!

Несть человека, что чист от греха.
Даже святые – и те не безгрешны.
Как не слукавить хотя бы в стихах?
Эвон скворец сквернословит в скворешне!

Всяк слышит то, что хочет слышать, –
Одну искомую из тысяч
Затёртых истин прописных,
За неимением иных.

Всяк видит то, что любо взору:
Чужой карман приятен вору,
Повесе – шлюшка для утех.
Господь Вседобрый видит всех,
Жалея праведных и грешных
И утешая безутешных,
Врачуя немощи и боль
Души страдающей любой.

И я, проросший из Совдепа,
Киплю в котле его проблем –
Слепой, беспомощный, нелепый,
Наивно ждущий перемен.

Сам себе кофе в постель подаю,
Кротко внимаю пасхальному звону.
Был бы я пастырь – завёл попадью,
Вместе бы Господу били поклоны.

Я ж не священник, и нет попады,
Некому душу излить, кроме Бога.
Я так давно нахожусь меж людьми,
Чтобы от них ожидать слишком много.

Люди не ангелы, я не святой,
Чтобы забыть их злодейства и козни.
День перед Пасхой,
Кровавый, шестой,
И палачи приготовили гвозди.

Справа – разбойник, и слева – варнак,
А посредине – Сын Божий Распятый.
Страшные стоны задорят зевак,
Делят одежду казнённых солдаты.

Билась в рыданиях Божия Мать,
Книжник косился на Деву с опаской.
Трудно в немногих словах описать
Всё, что привиделось мне перед Пасхой.

Удел поэта – одиночество
В сакральном, вещем сочинительстве.
А озарит его пророчество –
Решат, что это очернительство,
И обличат его в ловкачестве,
Чуть не в кощунстве и предательстве –
Несовместимом с общим мнением...
И кто ж его назначил гением?

И чем он лучше окружающих,
Ни бе ни ме не соображающих?
Поэт обходится без отчества,
Но он не может без Отечества.
Так пусть он будет понят обществом,
А может, даже человечеством.

Я столько обижал Творца,
Что грех рассчитывать на милость.
Предобрый Спас, прости слепца
За всё, что криво получилось.

За жизнь нескладную мою,
За всех, обиженных случайно,
За несуразную семью,
Распавшуюся изначально.

Теперь я стар и нездоров,
Забит людьми и брошен властью,
И нет на свете докторов,
Чтоб вызволили из напасти.

Лишённый красок бытия,
Я вопрошаю безутешно:
Зачем Творцу вот этот я –
Безглазый червь во тьме кромешной?

И что мне весь роскошный мир –
Сибирь в снегах и блеск Парижа,
Луга в росе, Байкал, Памир –
Когда я этого не вижу!

Промчался век – и был таков,
Ни славы, ни богатств, ни спеси...
Неужто груз моих грехов
Терпенье Бога перевесил?

Иона проглотил кита,
Иль кит его во время оно,
Но выплыл цел пророк Иона
С честной молитвой на устах.

И тут пути их разошлись,
А там их поглотила вечность:
Душа пророка взмыла ввысь,
Кит обратился в бесконечность.

И раб, поднявшийся с колен,
И грозный лев, и царь в порфире –
Все обратятся в прах и тлен.
Мы все лишь гости в этом мире.



**Алексей
СОЛОНИЦЫН**

«СЛУШАЙСЯ СВОЕГО СЕРДЦА»

Окончание.
Начало в № 7–8 2019

В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КОСМОСЕ

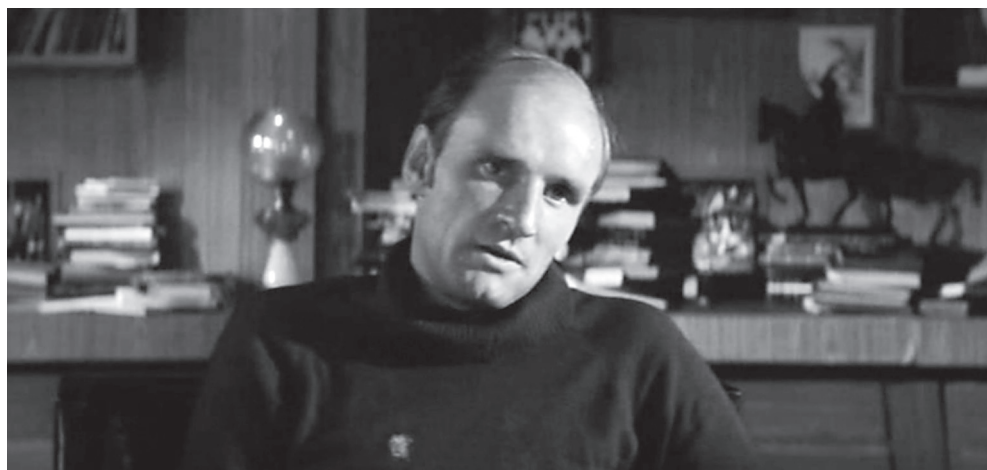
...Фильм назывался «Солярис». Режиссёр – Андрей Тарковский. Занимательность, фантастичность повести Станислава Лема почти начисто исчезли в картине. Остался лишь сюжетный ход: в пространствах космоса, над незнакомой планетой Солярис находится Межпланетная станция. Несколько учёных-землян пытаются понять тайны Соляриса.

На станции появляются «гости» – живые, вполне земные существа, которые когда-то невольно повлияли на жизнь учёных.

В картине эта особенность загадочной планеты переосмыслена столь сильно, что занимательный сюжет превратился в сюжет философский.

«Человек обречён на познание. Всё остальное блажь», – говорит Сарториус, герой Анатолия.

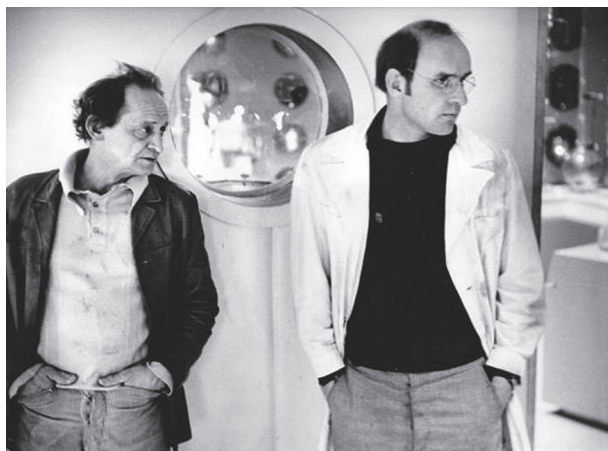
Но эти «блажь», «остальное» как раз и мучают его. Поначалу кажется, что Сарториус лишён сомнений. Но вот он видит, что страдания Криса Кельвина (это главный герой фильма) нешу-



«Солярис». Анатолий Солоницын в роли доктора Сарториуса

точные. Та женщина, Хари, которая на Земле была женой Криса, а теперь послана на станцию Солярисом, лишь в самом начале была копией землянки, «матрицей», по выражению Сарториуса. Теперь она как бы проходит очеловечивание, и ей достаются страдания. Крис опускается перед ней на колени. Как раз в этот момент прорывается душа Сарториуса: *«Встаньте! Немедленно встаньте!»* – кричит он Крису. И когда тот поднимается с колен, с болью говорит: *«Дорогой вы мой... Ведь это проще всего...»*

Оказывается, Сарториус переживает чужую боль как свою. Он – человек, в нём жива совесть. В картине доктор Снаут говорит Крису: *«Ты понимаешь Толстого? Его мучения по поводу невозможности любить человечество вообще... Ну вот я тебя люблю... Но любовь – это чувство, которое можно пережить, но объяснить нельзя. Объяснить можно понятие, а любишь то... что можно потерять... себя... женщину... До сегодняшнего дня человечество, Земля были попросту недоступны для любви. Ты понимаешь, о чём я? Нас ведь так мало! Всего несколько миллиардов – горстка! А может быть, мы вообще здесь только для того, чтобы впервые ощутить людей как повод для любви, а?»*



*«Солярис». Доктор Снаут – Ю. Ярвет,
Сарториус – А. Солоницын*

Так жёсткий «физик», рационалист Сарториус, человек, который постоянно толкует о том, что только работа, познание оправдывают жизнь, оказывается втянутым в сферу нравственных проблем, в космос любви.

Роль Сарториуса Анатолий очень любил. Он считал, что это одна из лучших его работ в кино.

Скоро он получил ещё один киносценарий, где тоже речь шла о любви. Правда, не в космических, а в градостроительных масштабах. Поначалу сценарий так и назывался: «Градостроители». Но потом автор дал ему иное название: «Любить человека». Этот сценарий Сергей Герасимов писал в расчёте на индивидуальность Анатолия.

– Представляешь, Герасимов пригласил меня к себе, – рассказывал Анатолий. – Я зажат, не знаю, о чём говорить. А он держится приветливо, шутит. Достает из стола фотографию и протягивает мне: «Посмотрите». Смотрю: я. Видимо, моя фотопроба, потому что костюм дореволюционного покроя, совсем недавно мне предлагали одну такую роль... «Ну что? – спра-

Образ Сарториуса оказался очень важным в понимании картины: вопрос о человеке не может быть решён путем лабораторного анализа крови. Человеком является тот, кто обладает мерой добра и зла, нравственным чувством, способностью к любви и самопожертвованию. Именно поэтому Хари – человек.

И это понимает Сарториус. Пусть она построена из нейтрино, но она любит. Пусть она наделена бессмертием – она всё равно ищет и находит способ умереть ради любимого.

шивает Герасимов. – Похож?» – «На кого? На вашего героя?» Он улыбнулся, говорит: «Да ведь это мой отец». Почему-то на меня это сильно подействовало, и я решил сниматься, хотя не был уверен, что роль Калмыкова – моя.

Вот одно существенное замечание режиссёра, о котором упомянул журналист «Советского экрана» (№ 1, 1972): *«Когда я спросил Сергея Аполлинариевича, что было бы, если, скажем, по каким-либо причинам Солоницын не мог играть эту роль, он ответил: «Значит, не стал бы ставить этот фильм. Так же, как не было бы фильма «У озера», если бы Лену Бармину не играла Белохвостикова и директора комбината Черных – Шукшин. Других исполнителей быть не могло».*

Работать с Герасимовым было непросто. Анатолий рассказывал:

– Он ставил ясные и чёткие задачи. И вот однажды мне показалось, что как-то уж больно всё просто. А роль хотелось сделать как можно интересней. Мы заспорили. Герасимов сказал: «Хорошо, делайте так, как вы хотели». И всем сказал: «Вот видите, актёр не побоялся режиссёра, заставил меня изменить большой эпизод».

Сняли. Он говорит: «Прекрасно». А глаза хитрые. Лишь потом я понял, почему. Когда смотрели материал, я увидел, что идеально выполнил то, что ему нужно. Вот тебе и «простые» задачи!..

Анатолий пригласил меня на съёмку. В просторном павильоне студии Горького работали сразу две группы. За основной площадкой расположились свердловские документалисты, которые делали фильм о Герасимове. Режиссёр держался так, будто никто за ним не наблюдает: иронизировал, напевал. Старая актриса, игравшая эпизодическую роль, всё время путала текст, никак не могла запомнить три фразы. Но и это не огорчало режиссёра. Он терпеливо поправлял актрису, подбадривал её. Вообще съёмка была организована замечательно. Все команды выполнялись мгновенно, никто не спорил, не путался под ногами, как у Шамшурина и Лонского, встреча с которыми была ещё так свежа в моей памяти. Но вот странность: в этой идеально организованной съёмке актёрам было как будто неудобно.

Пожилая актриса наконец сказала свой текст правильно.

Анатолий повёл меня в буфет, спросив обычное:

– Ну как?

– Да нормально. Ты такой красавец, прямо спасу нет.

– Тише ты! – одёрнул меня Толя, а человек, стоявший в очереди впереди нас, повернул голову и лукаво улыбнулся.

Его лицо показалось мне таким знакомым, что я чуть было не поздоровался, но вовремя вспомнил, что нахожусь на киностудии. Всё же не терпелось спросить, кто это, но тут к Анатолию подошёл невысокий худощавый человек с густыми, рано поседевшими волосами, с грузинскими усами и в очках. Он серьёзно и значительно стал говорить о том, как хорошо Анатолий снялся в последней картине. Толя мялся и не знал, куда деть руки: он всегда чувствовал себя крайне неловко, когда его хвалили, а тут смущался даже больше обычного.

Человек, стоявший впереди, явно потерял к нам всякий интерес и даже хмыкнул, когда похвалы в адрес Анатолия оказались в превосходной степени.

– Кто это был? – спросил я брата, когда мы вышли из буфета.

– Да так, режиссёр один.

– Нет, тот, что стоял впереди нас.

– Ты разве не узнал? Это же Шукшин. Всё никак не могу с ним познакомиться...

Анатолий показал на табличку, прикреплённую к двери одной из комнат студии. Там было написано: «Печки-лавочки».

Много позже, как-то побывав в гостях у Алексея Ванина, постоянного шукшинского актёра, Анатолий спросил его:

– Что же Макарыч меня ни разу не пригласил сниматься?

– Он тебя побаивался. Говорил, мол, слишком умный... А вообще-то к тебе он хорошо относился.

Фотография Шукшина стояла у Анатолия на книжной полке рядом с фотографией ещё одного режиссёра, которого он очень любил. Это была Лариса Шепитько.



*«Любить человека». Калмыков – А. Солоницын,
Мария – А. Вифолайнен*

... Многие зрители запомнили Анатолия как раз по роли архитектора Калмыкова. Чувства этих зрителей хорошо выразила наша мама: *«Ты там такой хороший, сыночек. Прилично одет, красивый. Жена такая хорошая...»*

Анатолий смеялся. Он знал, что мама пришла в ужас, когда увидела его в роли фашиста в фильме «Зарубки на память». Что ж, наконец-то угодил вкусу родителей. Вздыхал: новая роль наверняка опять не понравится маме...

Учёный-астронавт Сарториус, наш современник Калмыков – какие разные образы, какие разные характеры! Но именно в умении создавать разные характеры, как бы выхваченные из человеческого космоса, и видел Анатолий свой актёрский долг, актёрский профессионализм.

НАЙТИ ШЕКСПИРА

1976 год. Анатолию исполнилось сорок два года, а жизнь пришлось начинать сызнова.

Его поселили в общежитии Театра имени Ленинского комсомола, рядом с Бауманским рынком. Теперь соседей было не двое, как в юности, а четверо. Молодые, горластые, полные сил и жажды славы ребята облепили Анатолия: каждому хотелось поближе познакомиться с этим странным, даже несколько загадочным артистом, который приехал работать в молодёжный театр.

Уже одно только распределение ролей вызывало обострённый интерес к спектаклю. Как театрального актёра Анатолия в Москве не знали, но ждали от него многого. На роль Офелии была назначена Инна Чурикова, облик которой совершенно не соответствовал привычному представлению о героине. На роль Гертруды из Театра имени Моссовета пригласили Маргариту Терехову, которой, с её внешними данными, надо было бы играть Офелию, а не мать Гамлета. Для чего всё это делается? Может быть, у режиссёра совершенно новое прочтение «Гамлета»?

Тарковский, как обычно, почти не говорил о своём замысле, а если и говорил, то столь иносказательно, что понять его было очень трудно. Он вообще выработал особую манеру разговора: официально отвечал, а знакомым – в покровительственно-шутливой манере: «Да ведь это Шекспир, старик! Ну как ты не понимаешь?! Всё очень сложно».

Дважды во время репетиций «Гамлета» я приезжал в Москву и оба раза заставал Анатолия подавленным, растерянным. Брат не любил говорить о том, что ещё не сделано, тоже отделялся общими словами. Обычно я не надоедал, но в этот раз, видя его тяжёлое состояние, пристал:

– Да что ты киснешь? Первый раз, что ли, с ним работаешь? Что такого особенного он задумал? Как будто «Гамлет» первый раз ставится, в самом-то деле!

– Ты прав, ничего особенного он не придумал. Просто восстанавливает текст Шекспира.

– Как это «восстанавливает»? Ты хочешь сказать, что переводы далеки от первоисточника?

– Конечно. Для этого достаточно почитать подстрочный перевод Михаила Морозова. Этого человека Маршак назвал «полпредом Шекспира на земле».

– И что?

– А то. Пастернак, например, писал стихи по канве Шекспира. Взять Офелию. Она так же борется за власть, как и все остальные. Она вовсе не ангел, а дочь царедворца.

– Допустим. Что дальше?

– Дальше то же самое и с другими.

– А Гамлет какой будет?

– Какой-какой. Увидишь. Нет, спектакль-то получится, если я им не напорчу.

– Опять! Сколько можно себя казнить!

– Нет, Лёш, правда. Сил совсем нет. Я никогда так не уставал. Иногда думаю: зачем всё это? Для чего и для кого? Бросить бы, уехать...

– Ну что ты всё ноешь? Сам ещё в Свердловске мечтал о Гамлете. А теперь...

– А теперь пошёл бы на весоремзавод. Представляешь, в какой я сейчас был бы цене? Весы ремонтирую торгашам, везде свой – «дорогой-любимый». Знаешь, сколько мяса ты бы увозил в Самару?

Я невольно засмеялся.

– Перестань. Что хочет сказать спектаклем Тарковский?

– Очень трудно объяснить. Вот пойдём к нему в гости, ты и спроси.

– А на «Таганке» ты видел «Гамлета»?

– Нет. Высоцкий, Лёш, такой актёр!.. Очень легко попасть под его влияние. Потом посмотрю, когда выйдет наш спектакль.

В коридоре послышался громкий смех. Это пришли с репетиции молодые актёры. Дверь комнатки Анатолия была прямо против кухни. Там парни затеяли борьбу – всё равно как школьники после уроков. Как же Толя работает?

– Ночами, Лёша, когда они успокоятся, – ответил Анатолий на мой вопрос.

– Толя! – крикнул кто-то. – Я котлетки принёс, не желаешь ли?

Анатолий встал.

– Идём, не отстанут...

На другой день мы пошли в гости к Тарковскому.

Он встретил нас приветливо, завёл в просторный кабинет. Его сын сидел у рабочего стола и листал какой-то огромный альбом.

– Поклонники подарили, – сказал Тарковский. – Это Дюрер. «Седьмая печать» вполне могла быть навеяна этим офортом. Нравится тебе, Толя?

Анатолий разглядывал офорт Дюрера «Всадник, смерть и дьявол».

– Нравится, Андрей Арсеньевич.

С первого знакомства и до последней встречи Анатолий называл Тарковского по имени-отчеству. Тарковский не один раз протестовал, но Анатолий стоял на своём: этим он подчёркивал, что относится к режиссёру как к учителю, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он считал Андрея Тарковского гениальным художником, говорил об этом и на публичных выступлениях, и в частных беседах. Но это не мешало ему видеть недостатки Тарковского как человека.

– А всё же это «роман с направлением», как сказал бы Достоевский. По-моему, «Седьмая печать» – самый слабый фильм Бергмана.

«Седьмой печати» я в то время не видел, но хорошо помнил, как Анатолий в деталях пересказывал мне эту картину, которая потрясла его.

– А вот к вам Бергман относится иначе, – сказал я. – Вы, конечно, читали его интервью в «Литературной газете»?

– Нет, я газет не читаю, – сказал Тарковский несколько испуганно, а его жена, накрывавшая на стол, посмотрела на меня с повышенным интересом.

– Бергман говорит, что как перелистывают заново страницы любимой книги, так он снова и снова смотрит «Рублёва». Ещё он говорит, что из наших режиссёров вы ему ближе всех.

Тарковский улыбнулся:

– Между прочим, Толя, наш спектакль хочет записать на видео одна английская компания. Ведутся переговоры. Может быть, поедем в Лондон. У тебя как с иностранными языками?

– Да мне дай Бог русский как следует знать...

– Надо учить, Толя. Вообще художнику надо больше ездить, видеть...

Он стал рассказывать о заморских чудесах – с юмором, весело.

Мне вспомнился один критик, которого я слушал на семинаре. Этот критик – немолодой, многоопытный, угрюмый по виду, отвечая на вопросы, отказал Тарковскому в таланте на том основании, что в его фильмах нет даже намёка на улыбку. «Человек, лишённый юмора, – мрачно сказал критик, – это посредственность». И зал притих.

Тарковскому приходилось выслушивать мнения о своих работах и похлеще, и он, как говорил мне брат, болезненно реагировал на критику, хотя делал вид, что она его совершенно не волнует. Может быть, поэтому он научился говорить о своих работах как о произведениях, сделанных каким-то другим человеком.

Я слушал, смотрел на Тарковского, на брата, поражаясь полной противоположности их отношения к своим делам: если Анатолий весь был как бы соткан из сомнений, бесконечных вопросов к самому себе, работы свои называл «рольками», то Тарковский являл собою почти абсолютную уверенность в том, что он делает всё как надо. По крайней мере, такое он производил впечатление.

Актёры очень ценят волевых режиссёров. «Этот знает, чего хочет», – с уважением говорят они.

Профессия, конечно, наложила свой отпечаток на характер Тарковского. Свою незащищённость, ранимость он умело прикрывал категоричностью, иногда даже резкостью суждений. Не любил он и объяснять свои замыслы – особенно когда натыкался на непонимание, директивные приказы чиновников от кино.

Да и надо было скрыть глубинный, религиозно-нравственный смысл его фильмов. Много лет он вынашивал замысел экранизации «Идиота» Достоевского. Рассказ должен был вести Достоевский. Эта роль предназначалась Анатолию. Ещё он должен был играть Лебедева – того человечка, который крутится вокруг Рогожина.

Но замыслу Андрея Тарковского так и не суждено было осуществиться. А какие потрясающие проекты возникали у него потом! Он мечтал о фильме «Гамлет», хотел поставить, уже уехав на Запад, фильм о Франциске Ассизском, мечтал о своём театре. И всё это могло стать фактом искусства, всё могло воплотиться и на экране, и на сцене, если бы не было того диктата партии, власти, которая всех нас загоняла в «определённые рамки», часто нестерпимо давила...

Как же больно обо всём этом говорить! И всё же таланты наши трудились вопреки давлению сверху, пробивались к свету, создавали такие могучие произведения искусства, которые потрясали мир...

В общежитие мы вернулись поздно, улеглись валетом на Толиной тахтушке.

– А всё же Гамлета буду играть я, – сказал Анатолий. – И не где-нибудь, а в Москве. Для русского актёра это посерьёзней, чем играть в Лондоне или Париже...

Не знаю, волновался ли я так когда-нибудь, как в тот февральский вечер на премьере «Гамлета». Как будто мне самому предстояло выйти на сцену.

...Чёрная ночь медленно растекалась, и на подиуме, выдвинутом к авансцене, произошло какое-то движение. Покрывало колыхнулось, руки любовников сбросили его.

Это Клавдий и Гертруда.

На галерее, замыкавшей сцену, показались тени стражников, охраняющих Эльсинор.

Трижды пропел петух.

Горацио привёл Гамлета, чтобы показать ему Призрак.

Гамлет в чёрном камзоле, в высоких сапогах. Волосы его светлы, лицо сосредоточенно. Он готов познать тайну – уже не юноша, а человек в расцвете сил и лет, спокойный, знающий цену и себе, и людям.

Тайна открыта. Душа Гамлета содрогнулась. Он узнаёт о мерзостях Эльсинора, видит мать в любовном угаре, короля-фата, пьяного, блудливого...

А вот и Офелия.

Её появление вызывало почти шоковую реакцию. Да, она дочь своего отца, лукавого царедворца. Да, она, как все эти люди, бьётся за своё место под солнцем, за Гамлета, который должен стать её мужем и королем. Но чтобы она выглядела такой...

Впрочем, если согласиться с тем, что Офелию используют как приманку и что она согласна на такую роль, почему бы ей не стать любовницей Гамлета?

Позже я узнал, что знаменитый английский режиссёр Гордон Крэг, приезжавший в МХАТ на постановку «Гамлета», именно так трактовал образ Офелии. *«Она похожа на того несчастного поросёнка, которого ставят на берегу Нила для ловли крокодилов. Она действительно жалкая девушка», – объяснял Крэг Станиславскому. Станиславский, согласившись с Крэгом, всё же не решился из чистой девушки, к которой привык наш зритель, сделать «приманку».*

Идею Крэга реализовали его ученик Питер Брук и актриса Мэри Юр. Но Тарковский пошёл по этому пути ещё дальше.

В начале трагедии она была чувственной, даже грубой, а в сцене безумия происходило преобразование: Офелия Инны Чуриковой становилась возвышенно-одухотворенной.

Знал ли Тарковский о Крэге, Питере Бруке, так трактовавших образ Офелии? Даже если и знал, то нет ничего дурного в том, что, опираясь на традицию выдающихся режиссёров нашего века, он бесстрашно шагнул вперёд.

«Мышеловка». Бродячие актёры готовятся разыграть сцену убийства короля. Чувственная, с привкусом вульгарности музыка. Барабанный бой подчёркивает накаляющуюся страсть. Обольстительная, в красном трико, танцует на подиуме Маргарита Терехова. Крутится вокруг неё король – его представляет тот же актёр, что играет Клавдия.

Преступники сами показывают, как они совершили убийство. Эффект достигался поразительный, в зале вспыхнула овация.

Но что же Гамлет? Почему он не действует, когда вокруг рушится мир? Тихий, сосредоточенный, он всё думает, думает, словно придавил его камень, который он не может сбросить с плеч.

Здесь традиция Станиславского видна в полной мере. Как и традиция Качалова, игравшего Гамлета в спектакле великого режиссёра.

«Качалов сводит Гамлета с пьедестала, на который поставили его столетия, – написал Валерий Брюсов, откликаясь на спектакль Станиславского. – В исполнении Качалова датский принц – самый обыкновенный человек... То, что произошло с Гамлетом, по толкованию Качалова, – не более как обыкновенное житейское происшествие, какие случаются не так редко.

Качалов старается как можно проще произносить все монологи Гамлета».

Именно по этому пути шли Андрей Тарковский и Анатолий Солоницын, стремясь максимально приблизить Гамлета к зрительному залу. Биограф Качалова Н. Чушкин написал: «...Он был думающий, а не действующий Гамлет», и это как будто сказано о герое спектакля Театра имени Ленинского комсомола.

Любопытно, что как раз за это наша критика ругала Анатолия. Те критики, которые не приняли Гамлета Анатолия, главный аргумент формулировали почти слово в слово, как Н. Чушкин, только не в положительном, а в отрицательном смысле.

Конечно, в 1977 году вовсе не восстанавливался спектакль Станиславского 1911 года. Нет, была опора на традицию, а на её основе – движение вперёд со своей глубоко оригинальной концепцией.

Одной из самых впечатляющих сцен спектакля была сцена объяснения Гамлета с матерью.

Вот он заходит к ней. Лицо искажено страданием. Он высказывает всё, что мучило его душу. Он не обвиняет мать, он страдает вместе с ней, мучаясь несовершенством человека:

*Стыдливость, где ты? Искуситель-бес!
Когда так властны страсти над вдовою,
Как требовать от девишек стыда?*

Мать истерзана, убита:

*Гамлет, перестань!
Ты повернул глаза зрачками в душу.*

Страдание очищает и мать, и сына.

Подиум, который был брачным ложем, сценой, тронном, теперь стал могилой. И вдруг...

«Смотрите!» – вскрикивает кто-то.

И все видят, как Гамлет поднимается. Тихая улыбка на его лице. Он протягивает руку и поднимает Лаэрта, Клавдия, мать, прощая всех.

Вот почему он не вступал в борьбу. Он знал, что будет убивать, знал, что станет таким же, как они, властители Эльсинора, если начнёт действовать. А теперь, когда всё кончено, дух его освобождён и он может обнять как брата даже Клавдия.

Трижды поёт петух, видение исчезает...

...После премьеры в крохотной комнатке Анатолия разместилось человек десять. Были здесь друзья-свердловчане, специально приехавшие на премьеру, были и случайные люди. Режиссёр сразу же после спектакля уехал домой.

Все поздравляли Анатолия, провозглашали здравицы в его честь. А он никак не мог прийти в себя – был бледен и отрешён.

Среди общих похвал кто-то сказал, что в спектакле не хватает накала чувств.

Анатолий встрепенулся:

– Да если бы режиссёр разрешил – от моих страстей кулисы бы рухнули! – голос его зазвенел. – Но в том-то и дело, что наш Гамлет совсем другой! А, да что говорить! Я играл плохо. Если бы у меня были хоть какие-то условия... Хоть какой-то свой угол... Мне же почти не давали работать! – Неожиданно слёзы полились из его глаз. – Я бы сыграл в сто раз лучше!

– Толя, успокойся, ну что ты!

– Толенька, да ты играл великолепно!

– Нервы ни к чёрту. – Он вытирал слёзы, но они никак не останавливались. – Извините... Да не надо меня успокаивать! Ничего, это только первый спектакль... Еще посмотрим...

Роль Гамлета оказалась последней театральной работой Анатолия. В тетрадке, где он делал записи для себя, есть выписка из дневника Жюль Ренара:

«Шекспир, Шекспир! Ты всегда говоришь: «Шекспир!» Шекспир в тебе – найди его».



*«Гамлет» в театре «Ленком».
Гертруда – М. Терехова,
Гамлет – А. Солоницын*

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ

О встрече мы договорились по телефону. Я нашёл дом, где она жила, вошёл во двор и сразу увидел её – она была очень приметна. Длинные жёлтые волосы, узнаваемое с первого взгляда лицо, порывистость гибких движений. Её сын играл в песочнице, а она за ним наблюдала.

Впереди меня шли мужчина и женщина.

– Смотри: Маргарита Терехова! – сказал мужчина.

– Тише! Ну что ты уставился, идём! – Женщина почти силой затащила своего спутника в подъезд.

Я подошёл и поздоровался. День тёплый, во дворе тихо, и меня вполне устраивает разговор именно здесь.

– «Гамлета» видели? – спрашивает она.

– И на съёмках вас видел, в подмосковном Тучкове, помните?

– Да-да, припоминаю... А нравится вам «Зеркало»?

– Нравится. Я знаю, что Тарковский считал «Зеркало» лучшим своим фильмом.



«Зеркало». Маргарита Терехова, Андрей Тарковский, Анатолий Солоницын, оператор Георгий Рерберг

Она ещё задаёт вопросы, и впечатление такое, что не я приехал её расспрашивать, а она меня. Но скоро я привыкаю к её стремительным вопросам, и она, кажется, привыкает ко мне, потому что начинает говорить спокойнее и по существу.

– Я знала, что Анатолий будет сниматься в «Зеркале». Кино такое, что сразу не поймёшь, что к чему. Тем более Тарковский не говорил мне о том, чем завершится судьба моих героинь, я ведь играла две роли – матери и жены. Честно признаюсь: многое из того, что говорил режиссёр, я не понимала. Толя мне очень помог. Он держался просто, как давний товарищ. А эпизод был сложным, я боялась, что у меня ничего не получится. Толя очень располагал к себе – шутил, подбадривал. С ним было легко...

...Мария сидит на прясле, на краю поля, не отрываясь смотрит в сторону дороги. Посредине поля растёт куст, там дорога поворачивает. В поле появляется человек, скрывается за кустом. Мария загадывает: «Если он появится слева от куста, то это он, если справа, то не он, и это значит, что он не придёт никогда». «Он» – это муж. Быть может, убит на войне или просто-напросто нашёл другую женщину.

Прохожий выходит слева от куста. Лысоват, одет, несмотря на жаркий день, в просторный чесучовый костюм, с саквояжем...

Он беспричинно улыбается и начинает говорить с Марией так, будто давно и хорошо её знает. Она не понимает, по какому праву он так свободно разговаривает с ней.

– Я сейчас мужа позову, – говорит Мария.

– Да нет у вас никакого мужа, – отвечает он уверенно, садится рядом с ней, прясло ломается, и они падают на траву.

Он заразительно смеётся.

– Как интересно упасть рядом с красивой женщиной!

И вдруг начинает рассуждать:

– А вам никогда не казалось, что растения чувствуют, сознают, может быть, даже постигают? И деревья, и вот тот кустник никуда не бегают... Это мы всё бегаем, суетимся, пошлости говорим...

Она ничего не понимает. Видит, что он поцарапался.

У вас кровь.

– Пустяки. – Он как будто возвращается к жизни, улыбается.

– Вы приходите к нам в Томшино. У нас даже весело бывает.

Размахивая своим саквояжем, он уходит по тропе, скрываясь за тем же кустом, из-за которого появился.

Неожиданно налетает порыв ветра, наклоняет траву... Как будто вздохнуло пространство. Как будто движение судьбы материализовалось в этом порыве ветра.

– Вроде ничего не произошло, верно? – вспоминает Терехова. – А на самом деле? Что-то такое возникло в воздухе, что-то как током душу пронзило... Я помню, что вся сцена была снята одним планом. Вы понимаете, что это такое? Камера всё время движется, потом никакие склейки при монтаже не нужны. И дубль был всего один. Это же настоящая школа мастерства!

Я киваю, вспомнив, как однажды Анатолий мне сказал, что именно этот эпизод разбирал на занятии Сергей Герасимов, втолковывая ученикам, насколько сильной может быть изобразительная пластика киноязыка.

– А как он работал над Гамлетом! – продолжает вспоминать Маргарита Терехова. – Для него не существовало ничего, кроме роли. Я играла Гертруду. Признаюсь, у меня было мало спектаклей, которые бы я так любила и так хотела играть, как «Гамлета». Театр Ленинского комсомола, где шла эта постановка, был на гастролях в Ереване. Инна Чурикова заболела, и играть Офелию было некому. Вторая исполнительница роли Гертруды в театре уже была, и мне предложили вступить на роль Офелии.

Надо было видеть, как работал со мной Анатолий. Оберегал от житейских неурядиц, посторонних разговоров, стараясь всё сделать так, чтобы я сосредоточилась на роли. Во время спектакля он по собственной инициативе суфлировал мне и сделал это естественно и хорошо. Его природная скромность исключала всякое панибратство, с ним я чувствовала себя уверенно, знала, что он поможет и защитит. Когда я думаю о нём, я вспоми-

наю «Гамлета», вспоминаю съёмку в тот летний день в Подмоскowie. В поле растёт одинокий куст, Анатолий скрывается за ним, и теперь я понимаю, что уходит он навсегда...

Я тоже помню тот летний день. «Тучково», – сказал мне брат по телефону. Название это я услышал впервые, оно ни о чём мне не говорило, как, скажем, Абрамцево, Переделкино. Я сидел в электричке у окна. Летний день медленно потухал. Пейзажи за окном были тихие, после московской суеты это ощущалось особенно. Сейчас я увижу брата... Странно: чем настойчивей мы стремились к тому, чтобы жить в одном городе, одним домом, тем настойчивей жизнь растаскивала нас в разные стороны. Но встреч у нас отнять никто не мог. Электричка остановилась, я вышел из вагона и огляделся. Теперь мне предстояло ехать автобусом до сельхозтехникума, который находился где-то неподалёку от посёлка. Там и обосновалась съёмочная группа. Пока я выяснял, как добраться до техникума, пока ждал автобус, стемнело и похолодало.

Автобус ехал медленно. Оказалось, что в техникум он не идёт, что от развилки дорог мне надо будет добираться пешком.

Пьяный дядька, без рубахи, в грязной майке, всё пытался затянуть песню, его товарищи, пьяные чуть меньше, обрывали его.

Но вот наконец развилка дорог, автобус скрылся в темноте, стало тихо.

Я шёл пешком по дороге, освещённой луной. Недвижно стояли хлеба, высокие и тёмные.

Впервые за день я подумал, что могу не встретиться с братом: может, иду не туда? Да и как разыщу его ночью?

Я попытался успокоить себя тем, что обычно всегда его находил. Однако тревога не проходила. Дорога поднялась на взгорok, впереди я увидел огоньки. Вспомнились мне шпили Марсея Пруста, о которых когда-то рассказал Тарковский.

Я подошёл к двухэтажному каменному дому, нашёл комнату Анатолия. До меня донеслось: «Нет, совсем не так! Просто тебе интересно, ты посмотрел...»

Я постучал. Толя открыл дверь, увидел меня, засмеялся, обнял...

– Как добрались? – спросил Тарковский. – Можно было заблудиться.

– Да, но всё получилось нормально. Сейчас шёл по дороге и вспоминал Марсея Пруста. Помните, вы как-то рассказывали?



В гостях у Андрея Тарковского

– Да-да, Пруст... Такой камерный и в то же время фундаментальный. Как раз к этому я сейчас и стремлюсь. Вам повезло: завтра будем снимать очень интересный эпизод. Должны подъехать журналисты...

Он ушёл. Мы с братом остались одни.

– Посмотришь, как здесь красиво. Он здесь вырос. Дом построил точно такой, каким его запомнил. Он даже мать свою собирается снять, представляешь? Ну, садись, будем вечерять.

С утра, до съёмки, мы отправились погулять. Прошли сосновый бор, вышли к берегу реки. Она была маленькая и тихая, но с высокими берегами. Через подвесной качающийся мост шёл белоголовый мальчик. Он вежливо поздоровался с нами.

Мы остановились на мосту, Толя показал вниз:

– Смотри!

Вода была чистая, она медленно текла, расчёсывая длинные зелёные водоросли. Водоросли плавно выгибались, двигались как живые.

– Они в «Рублёве» сняты, – вспомнил я.

– Верно. Знаешь, всё же детские впечатления – самые сильные. Вот видишь, он здесь рос, поэтому в который раз сюда возвращается. Без этого нельзя: любой талант с копыт летит, если потеряет родную речушку, вот эти водоросли... Даже Бунин увял.

Разве мы могли подумать тогда, что через семь лет судьба отделит Андрея Тарковского от этого деревянного подвесного моста, от зеленеющих на том берегу купав, от соснового бора, от поля, в котором растёт одинокий куст...

Разве можно было подумать, что одна и та же смертельная болезнь настигнет Анатолия в Москве, а Андрея Тарковского на чужбине? Господи, как много они могли бы сделать! Как мало лет прожили они на этом свете...

А в тот день мысли были о жизни. И была она прекрасна.

– Да... – Анатолий вздохнул. – Помнишь, Тузенбах в «Трёх сёстрах» говорит: «Какие красивые деревья, и, в сущности, какая должна быть около них прекрасная жизнь!» Ничего дороже этого нет, ничего...

Мы вернулись в сосновый бор, там заканчивалась подготовка к съёмке.

Мargarита Терехова смеялась, слушая режиссёра. Он сидел в шезлонге, в ковбойской шляпе, в рубашке с короткими рукавами, в белых брюках до колен. Мы подошли и сели рядом на траву.

– Смотрели соляристику, – сказал Толя.

– Что смотрели? – не поняла Терехова.

– Водоросли в реке, – сказал Тарковский. – Они чем-то похожи на наш Солярис. И на твои волосы, Рита. Репетируем.

Включились осветительные приборы. Режиссёр объяснил ещё раз, что надо делать актёрам, как двигаться в кадре. Сказал Анатолию, что в тот момент, когда Прохожий поднимется с земли и начнёт философствовать, слёзы непроизвольно должны политься из его глаз.

Съёмка началась, всё шло так, как заранее было определено режиссёром и оператором. Анатолий упал с треснувшего прясла, поднялся, заговорил о деревьях, травах... Лицо его изменилось, стало каким-то странным. Как будто он говорил о тайне, ведомой только ему...

– Снято, – сказал оператор. – У меня всё в порядке.

– А где же слёзы? – спросила Терехова удивлённо.

Тарковский, расставив ноги, замер. В глазах его было удивление, даже растерянность. Погасли осветительные приборы, сразу стало сумрачно. Режиссёр понял, что Анатолий передал состояние своего героя тоньше, глубже – и без всяких слёз...

– Снято, – сказал он и потрогал усы. – Все свободны.

На другой день мы прощались.

– Куда ты теперь? – спросил Тарковский Анатолия.

– Поеду с роликами...

– М-да... Моя бы воля, я бы тебе не только концерты, но и сниматься у других режиссёров запретил. Где ты сейчас живёшь?

- Да вы не волнуйтесь, у меня есть друзья.
- Деньги-то у тебя есть? Если нет – занимай, никто тебе не откажет. Я, например, третий год в долг живу. И ничего, как видишь. Вот даже ковбойскую шляпу купил.
- Мы с братом такие же купим.
- Да, Толя, как насчёт моего предложения? Ты думал? Погоди, не улыбайся, я ведь серьёзно...
- Нет, Андрей Арсеньевич, это не для меня.
- Всё же подумай. Осенью она должна приехать в Москву...
- Когда мы расстались с Тарковским, Толя объяснил:
- Он хотел меня женить на одной богатой американке. Она от его фильмов без ума.
- Значит, и от тебя тоже?
- Мы смеялись, развивая мысль о том, как бы зажил Анатолий, женись он на этой самой богачке, о которой Тарковский сказал, что она и собой хороша, и в кино понимает.

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

Марк Захаров не стал занимать Анатолия в других спектаклях театра, которым руководил. Это и неудивительно: его пристрастия лежали совсем в ином художественном русле.

Теперь все знают рок-оперы Захарова и композитора Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Юнона и Авось».

Игорь Владимиров, Марк Захаров были склонны к музыкальным спектаклям на драматической сцене.

Петь в микрофон и танцевать Анатолий не захотел. Когда Инна Чурикова ушла в декретный отпуск, «Гамлет» стал идти редко, а потом и вовсе был снят. Анатолию надо было уходить.

Помню, как в Свердловске он прекрасно читал «Лукоморье» Леонида Мартынова:

*...На потёртых диванах я спал у знакомых,
Приклонивши главу на семейных альбомах.
Выходил по утрам я из комнаты-ванной.
«Это гость, – вспоминали вы, – гость не незванный,
Но, с другой стороны, и не слишком желанный...»
– ...Вы надолго к нам снова?
– Я скоро уеду!
– Почему же? Гостите. Придёте к обеду?
– Нет.
– Напрасно торопитесь! Чаю попейте.
Отдохните да, кстати, сыграйте на флейте.*

*Да, имел я такую волшебную флейту.
За миллионы рублей ту я не продал бы флейту...*

Именно так всё и было. Друзья, их потёртые диваны, знакомые друзья, гостиницы – когда приглашали сниматься.

Я в то время стал всё чаще думать о том, что надо возвращаться на Волгу. Хотел в Саратов, но интересную работу мне предложили в Куйбышеве, и я согласился, потому что города эти во многом похожи и не так дале-

ко друг от друга находятся. При желании можно было на пароходе отправиться по Волге и в Горький. В Куйбышеве всегда был неплохой драматический театр, и я стал уговаривать Анатолия ехать к нам. Он было согласился, но тут одно за другим пошли хорошие предложения от кинорежиссёров. Он стал сниматься у Александра Алова и Владимира Наумова в «Тиле Уленшпигеле» в роли рыбака Йоста, потом его пригласили на роль доктора Павлова в советско-болгарский фильм «Юлия Вревская», потом режиссёр Юрий Егоров предложил ему главную роль в фильме на современную тему «Там, за горизонтом». Анатолий опять с головой ушёл в работу, переезжая из одной киногруппы в другую. Роль Гамлета оказалась его последней театральной работой...

ГАМЛЕТ. ...Вот флейта. Сыграйте что-нибудь.

ГИЛЬДЕНСТЕРН. Принц, я не умею.

ГАМЛЕТ. Пожалуйста.

ГИЛЬДЕНСТЕРН. Уверю вас, я не умею.

ГАМЛЕТ. Но я прошу вас.

ГИЛЬДЕНСТЕРН. Но я не знаю, как за это взяться.

Запись на полях его рабочего экземпляра пьесы:

«Я умею играть, но что же вы перепутали меня с простым инструментом?»

«СУХОЙ ТОННЕЛЬ»

Туман клочковатый, на глазах тающий в сером воздухе, насквозь пропитанном водяной пылью. Земля грязная, в мелких лужицах, а там, за клочьями тумана и серой массой воздуха, смутные очертания вагонов, какие-то строения, переплетения железнодорожных путей.

Среди этой серости, грязи совершенно чужеродным телом выглядит роскошный автомобиль, матово поблёскивающий чёрной лакированной поверхностью. Пришельцами из другого мира выглядят и два человека, стоящие у машины, — философствующий нетрезвый мужчина в длинном чёрном пальто и эффектная, в палантине, высокая женщина с надменным лицом.

Анатолий играл вот этого извердившегося, изработавшегося модного писателя. Спутницу, вероятно, писатель только что прихватил на каком-нибудь светском рауте.

Сейчас должен подойти проводник — здесь проводника зовут сталкером, — и они отправятся в путь, в Зону.

Зона возникла от падения небесного тела. Там с людьми происходят странные приключения: если доберёшься до Комнаты и войдёшь в неё, сбываются твои потаённые мечты. Но у Комнаты есть загадочная особенность: она осуществляет именно потаённые мечты, те, которые являются сутью твоей натуры.

Ты можешь предполагать, что ты порядочный, хороший человек, идёшь в Комнату, например, для того, чтобы спасти брата, а Комната выдаёт тебе груды золота. Именно так случилось со сталкером по кличке Дикобраз. О Дикобразе сказано, что после приговора Комнаты он повесился.

Сталкер — это не просто проводник. Это специалист по Зоне, знаток её особенностей и тонкостей. От повести Стругацких «Пикник на обочине» в фильме осталась лишь фабула. Режиссёр поместил героев в нарочито прозаическую обстановку, отказавшись от фантастической атрибутики, от действия,

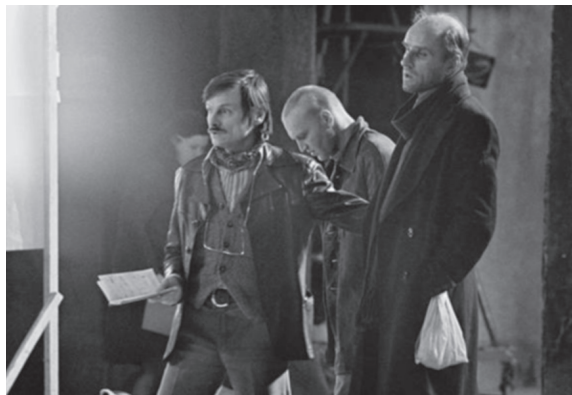
столь напоминающего американские фантастические романы. По сравнению, скажем, с «Солярисом», «Сталкер» – это полное освобождение от экзотики, сосредоточенность на внутреннем мире героев. Их поведение определяется грозными вопросами совести: кто ты есть? зачем пришёл в этот мир? чего хочешь – золота, славы или чего-то иного, связанного с жизнью духа?

Не сразу поймёшь, что три героя фильма – это три ипостаси современной цивилизации. Сталкер олицетворяет собою веру, Писатель – культуру, Профессор – технократию.

Вот они впервые встретились все вместе в какой-то пристанционной забегаловке... Первые вопросы друг к другу, первое приближение к существу характеров...

В одном из павильонов «Мосфильма» шло озвучивание этого эпизода. Предполагая, что работа продлится час-другой, Анатолий предложил мне побыть с ним, чтобы потом вместе отправиться к нашему другу. Я согласился, уселся в уголке павильона.

«Начали», – раздалась команда режиссёра, который сидел за пультом, отгороженным от павильона толстым стеклом.



На съёмках «Сталкера». Андрей Тарковский, Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын

На экране возникло изображение. Николай Гринько, Александр Кайдановский, Анатолий встали у микрофонов, около которых на пюпитрах лежали листки с текстом.

ПИСАТЕЛЬ. ...Вот прочитает мои книжки какой-нибудь умный мальчик и в один прекрасный день заорёт на весь мир про голого короля... А пройдёт ещё сто лет, и какой-нибудь авторитетный идиот объявит меня гением. И такие случаи бывали...

ПРОФЕССОР. Господи! И вы всё время об этом думаете?

ПИСАТЕЛЬ. Боже сохрани! Я вообще очень редко думаю. Мне это вредно...

ПРОФЕССОР. Наверное, невозможно писать и при этом всё время думать, как ваш роман будет читаться через сто лет.

ПИСАТЕЛЬ. Натюрлих! Но, с другой стороны, если через сто лет его не станут читать, то на кой хрен его писать? Скажите, профессор, ради чего вы впутались в эту историю? Зачем вы идёте?

ПРОФЕССОР. Н-ну... что может физику понадобиться в Зоне? А вот что нужно в Зоне писателю? Модный писатель... женщины, наверное, на шею вешаются гроздьями.

ПИСАТЕЛЬ. Вдохновенье, профессор! Утеряно вдохновенье. Иду выпрашивать.

ПРОФЕССОР. То есть вы исписались?

ПИСАТЕЛЬ. Что? Пожалуй... В каком-то смысле.

СТАЛКЕР. Простите. Пора.

Я привёл не весь текст эпизода – он начинался с разговора у машины, но ту часть записали быстро, с двух-трёх дублей.

Ушла актриса, игравшая светскую красавицу, потом ушёл Кайдановский, потом и Гринько. Режиссёр не отпускал только Анатолия, снова и снова заставляя его произносить текст. Запись теперь шла частями, по фразам, даже по отдельным репликам. Анатолий произносил текст на разные лады, с разными оттенками, но режиссёру ничего не нравилось. Он то и дело выбегал из-за пульта в павильон, подходил к Анатолию, объясняя, что ему нужно.

– Ну, он изверился в себе... и в то же время язвит... Никому не верит, продолжает сомневаться... Понимаешь, в жизни наступает такой момент... Да разве ты не знаешь, Толя?

– Знаю.

– Ну вот. Давай попробуем ещё.

Новая запись. Опять режиссёр входит в павильон.

– Не то, Толя, совсем не то... Как же тебе объяснить...

– Да не надо мне ничего объяснять. Давайте писать.

Запись. Опять режиссёр недоволен. Так продолжалось два часа, режиссёр объявил перерыв.

В коридоре нас ждал Николай Григорьевич Гринько.

– Толя, не понимаю, чего он от тебя хочет.

– Ничего, батька, сейчас всё будет в порядке.

– Да и так всё в порядке. Как вы считаете, Лёша?

– По-моему, Толя всё делает очень хорошо, – сказал я искренне.

Гринько склонился к нам, заговорил шёпотом:

– Он и сам не знает, чего добивается... Вспомни, Толя, как поступил Саша...

– Так ведь это Саша. Пойдёмте перекусим.

– Нет, я пойду в гостиницу. Готовлю себе сам... Послушай меня, Толя...

– Не беспокойтесь, Николай Григорьевич...

Гринько улыбнулся своей особенной, почти детской улыбкой, развёл руками и ушёл.

– Вот так и работаем, – печально сказал Анатолий. – Саша со съёмки уезжал. Потом за ним гонца посылали. Знаешь, сколько раз приходилось каждый план переснимать? И не только из-за брака плёнки. С начала съёмки и до сего дня группа сменилась полностью, кроме актёров, разумеется. А операторов было три. Целая история... Идём.

Запись продолжалась ещё три часа. Я поражался какому-то отчаянному терпению Толи. Потому что уже не раз и не два в дело вступали звуко-режиссёр, техники. Они были язвительно-нервные, насмешливы. Один из них прямо сказал, что на запись надо приглашать профессиональных людей.

Анатолий стоял опустив голову.

Звукорежиссёр пытался остановить запись, давал советы Тарковскому, но тот все его слова пропускал мимо ушей. Смена подходила к концу. Ещё один дубль...

Тарковский выбежал из-за пульта в павильон.

– Слушаем! Включилась запись...

Голос Анатолия был глубоким, скорбным, насмешливым и саркастичным... Он вбирал в себя столько оттенков, столько нюансов, каких не было ни в одном из предыдущих дублей. Голоса других актёров показались мне плоскими, однотонными... Но ведь это так и надо для эпизода!

– Вот, умеешь ведь! – Тарковский улыбался. – Натюрлих? Ах, Толя, плохо у тебя с иностранными языками. А вот с русским – замечательно! – Он хлопнул в ладоши. – Смена окончена!

Мы вышли в коридор, закурили.

– Ну и как? – спросил Толя.

– Понимаешь, сначала мне хотелось набить ему морду. Мне казалось, что он просто издевается... С другими актёрами так, как с тобой, не работает, а на тебя навалился... Но, Толя, последний дубль действительно получился прекрасным!

– Вот-вот, другие-то не могут столько терпеть, ты это верно заметил. А надо терпеть, Лёша, профессия такая... Знаешь, не пойдём мы ни в какие гости, очень лечь хочется.

Ехали мы на студийной машине. Тарковский шутил, смеялся. Вёл он себя так, как будто не было тяжелейшей смены, как будто он ни с кем не спорил и не вступал в острейший конфликт, который в любую минуту мог обернуться скандалом. Но страсти кипели внутри, никто не взорвался, если не считать выпадов техников.

– Ну, до завтра, – попрощался режиссёр. – Учти, Толя: там текст сложнее. А может быть, и проще! – Он засмеялся и вышел из машины.

Одет он был в лыжную шапочку с помпончиком, в приталенный тулуп, в сапожки. Усы воинственно топорщились, а глаза блестели.

Когда-то мальчишками мы с восторгом смотрели фильм «Путешествие будет опасным» – так в нашем прокате назывался знаменитый вестерн Джона Форда «Дилижанс». Там индейцы ведут охоту за белыми, которые совершают рейсовое путешествие в дилижансе. До последней минуты зритель не знает, что будет с пассажирами.

В «Сталкере» «охоту» за человеком, как точно определил Анатолий, ведёт совесть.

Герои прорвались, рискуя жизнью, в Зону. Они садятся на какую-то брошенную дрезину, едут... Бесконечно длинный план. Герои смотрят по сторонам, камера внимательно наблюдает за Писателем. Лицо его как будто равнодушно, измучено похмельем, невзгодами, сомнениями... Но в глубоких глазах есть ещё и любопытство первопроходца, и удивление, и ожидание: что же там, за дымкой, за рассеивающимся туманом – неужто действительно необыкновенная страна? Неужто действительно в мире существует чудо? Неужто можно стать его свидетелем?

ПИСАТЕЛЬ. Послушайте, Чингачгук, вы ведь проводили сюда много людей.

СТАЛКЕР. Не так много, как мне хотелось...

ПИСАТЕЛЬ. Ну, всё равно, не в этом дело. Зачем они шли сюда? Чего они хотели?

СТАЛКЕР. Скорее всего... счастья...

ПИСАТЕЛЬ. Везёт же людям! А я вот за всю свою жизнь ни одного счастливого человека не видел...

Герои всё дальше уходят в Зону, всё напряжённей, все мучительней их путь. Всё острее, злее и обнажённей их споры.

Они останавливаются перед какой-то трубой, из которой, вырываясь, хлещет грязная пенная вода. Надо перейти эту воду – как через реку Стикс.

СТАЛКЕР. Ну вот и сухой тоннель.

ПИСАТЕЛЬ. Ничего себе – сухой...

СТАЛКЕР. Это местная шутка. Обычно здесь по шейку.

Писатель погружается в воду первым – раскидываются по воде, как крылья, чёрные полы его пальто... Он вообще всюду идёт первым – так почему-то хочет Сталкер.

Вот они оказываются в тоннеле. По грязным лицам катится пот, дыхание прерывисто, в глазах и ожидание беды, и страх загнанного зверя, и надежда.

Сталкер, обманывая Писателя, опять заставляет его идти первым, Зона пропускает Писателя, он остаётся жить. И вот тут-то, когда кончилась игра со смертью, Писатель обнажает душу.

ПИСАТЕЛЬ. А вам дозарезу надо знать, чья это выдумка – Зона. Какая разница? Что толку от ваших знаний? Чья совесть у них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь – рана. Другая сволочь похвалит – ещё рана. Душу выложишь, сердце своё выложишь – сожрут и душу, и сердце. Мерзость вынешь из души – жрут мерзость. Они же все поголовно грамотные, у них сенсорное голодание... И все крутятся вокруг: журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то неперфивны... И все требуют: давай, давай!

Как много пришлось выстрадать Писателю. Как изменилось его представление о жизни, о самом себе – с той минуты, когда он вошёл в Зону...

Любители приключений, фантастики были разочарованы в «Сталкере». Многим критикам картина показалась скучной, затянутой. Иное отношение к фильму было у тех, кого интересовала проблематика нравственная, кто понимал, что жизнь бездуховная есть смерть.

Николай Григорьевич Гринько рассказал:

«Сталкер» снимался трудно. Большие партии отснятого материала ушли в брак – «кодак» оказался испорченным, передержали его на складе. И вот когда, казалось, преодолели самые сложные эпизоды – нате, начинайте сначала... Менялись операторы-постановщики. Ушли многие другие члены съёмочного коллектива. А Солоницын, готовясь – в очередной раз – лезть в грязь, воду, только острил, смеялся над собой. Очень тяжёлым был эпизод «сухой тоннель». Монолог перед Комнатой Анатолий провёл с болью, подлинным страданием, очень сильно.

И подумалось: вот ведь до каких трагедийных высот мог подниматься артист, когда его не обуживали, не загоняли в рамки «концепций», схем... Но в то же время надо помнить, что Тарковский всегда стремился к хроникальности, малейший наигрыш вызывал у него острую неприязнь. Он считал, что Ролан Быков и Иван Лапиков в «Андрее Рублёве» работают не в ансамбле, который он создавал, выбиваются из общей ткани фильма. А работы Быкова и Лапикова как раз и нравились критике, привыкшей к тому, чтобы актёр «выдавал» на-гора страсть... Хочу остановиться на таком парадоксе. В своих публичных выступлениях Анатолий развивал мысль о том, что актёр – это исполнитель воли режиссёра, это инструмент, с помощью которого режиссёр создаёт художественное произведение. Он ставил творчество актёра в прямую зависимость от режиссёра, считал актёрскую профессию вторичной.

Но в том-то и парадокс, что, снимаясь у совершенно разных режиссёров, он сильно вёл свою тему в искусстве. Это была тема разбуженной совести, высокой духовности, которая пронизывает жизнь человека и заставляет жить по своим, особым законам.

Даже играя роли так называемых отрицательных персонажей, он вызывал их на суд совести, доказывая от противного обязательность духовно-

сти в человеке. Он всегда стремился к правде. Правда – вот что было главным в его жизни и творчестве. Правда образа, правда – как основа всего...

Когда закончилась работа над «Сталкером», Анатолий неожиданно приехал на дачу. Рядом с ним стояла высокая, стройная молодая женщина. У неё было чистое, милое лицо, тихий взгляд ясных голубых глаз.

Смущаясь, Анатолий сказал:

– Знакомьтесь, это Светлана – моя жена.

Казалось, что он, как герой фильма, прошёл через «сухой тоннель».

Но только, в отличие от Писателя, обрёл счастье.

ПОСЛЕДНИЕ РАЗГОВОРЫ

Неплохой кооперативный дом построили «Мосфильму». Неподалёку от студии, рядом с речонкой Сетунькой. На одиннадцатом этаже Анатолий получил квартиру. Это произошло в канун нового, 1982 года. Занялись устройством жилья, и эти хлопоты немного приглушили боль.

Но вот и устроились, и все бумажки оформили и заштемпелевали, вот и телефон установили с помощью неотразимых Владимира Басова и Ролана Быкова...

А дальше?

Анатолий всё понимал, однако убеждал каждого, кто приходил к нему, что у него тяжёлая форма радикулита. Да ещё остеохондроз – есть такая болезнь...

Пришёл и Андрей Тарковский. Анатолий его очень ждал. Потому что уже был написан и утверждён сценарий фильма «Ностальгия», в котором главная роль предназначалась Анатолию. Кто-то из актёров, побывав у Толи, проболтался, что уже достигнута договорённость с итальянцами о совместной работе над будущим фильмом, что Тарковский собирается ехать в Рим буквально на днях. Конечно, Толя знал, что не поедет на съёмки, но всё же... А вдруг станет легче, особенно к весне? А вдруг всё-таки можно будет сниматься, пусть в последний раз?

Сценарий Анатолию нравился. Радовало, что он написан специально для него, хотелось увидеть Рим, Флоренцию...

Когда позвонил Тарковский, Анатолий буквально ожил. Я умыл его, сделал обезболивающий укол, передел брату рубашку.

Тарковский, как мне показалось, нисколько не переменялся. Всё такой же ироничный и уверенный в себе. Вёл он себя так, как обычно ведут себя с больными, стараясь их развлечь какими-нибудь весёлыми историями. Не помню уж, почему, но разговор зашёл о шампанском. Тарковский весело и подробно стал рассказывать, как, благодаря русским гусарам и драгунам, которые завезли из Парижа шампанское мадам Клико в Россию, эта самая мадам нажила огромное состояние, стала известна всей Европе...

Толя смеялся.

После этой байки я вышел из комнаты, чтобы не мешать разговору. Но довольно скоро Толя окликнул меня, попросил ручку.

Ещё летом он купил «Воспоминания» Аполлона Григорьева – один экземпляр предназначался для Тарковского, и сейчас Толя написал на титульном листе книжки: *«Андрею Арсеньевичу с глубоким почитанием. Анатолий Солоницын»*.

– Спасибо, Толя, спасибо. – Тарковский встал. – Ну, пойду...

Я проводил его до двери.

– Здесь горный мёд... от Сергея Параджанова. Надо давать по столовой ложке в день. Говорят, помогает.

– Хорошо, – как-то безнадежно сказал я, и он это почувствовал, но ничего не сказал.

И дверь за ним закрылась.

Какая-то особая тяжесть навалилась на меня. Видимо, я понял, что это была последняя встреча режиссёра и его постоянного актёра: они почти двадцать лет проработали вместе.

Я прошёл на кухню, схватил сигарету...

Потом, когда пришли горькие, отчаянные дни, когда я был оглушён смертью брата, я редко думал о Тарковском. Но через время, когда боль немного улеглась, когда я смог заниматься своими делами, по «голосам» стали доноситься известия об Андрее Арсеньевиче. Вот на фестивале в Каннах «Ностальгии» не дали Гран-при только потому, что член жюри – наш режиссёр – проголосовал против своего земляка. Горько об этом говорить, но этим режиссёром был Сергей Бондарчук. Тарковский выступил с заявлением: он понял, что ничего хорошего его не ждёт дома, что работы он опять никакой не получит. И он принял решение остаться на Западе.

О судьбе Андрея Арсеньевича после «Ностальгии» написано сейчас достаточно много. Я хочу здесь сказать лишь об одной поразительной подробности его судьбы. В своём дневнике Тарковский написал: *«Я умиряю от той же болезни, что и Солоницын»*.

Конечно, тем весенним днём, уезжая из Москвы, не думал он о том, что жить ему на этом свете осталось всего четыре года, что фильмов будет всего два, что Брежнев и его присные даже не ответят на его письмо о воссоединении семьи. Нам всегда кажется, что жизнь будет ещё долгой, что много ещё чего впереди – и больше мы надеемся на лучшее.

Не увидели мы на экране ни «Идиота», ни «Бесов», ни «Гамлета» в постановке Тарковского – многого не увидели, что мог бы сделать наш русский гений. Но и сделал он достаточно для того, чтобы навсегда остаться в истории мирового искусства.

Весной Анатолию неожиданно стало легче. С пластмассовой табуреткой мы выходили из дому. Шли полегонечку, останавливались. Он садился на табуретку, смотрел на солнце. Щурился.

Лицо его опять похудело, щёки запали. А в глазах появилось особое выражение – как будто он узнал что-то такое, чего мы, простые смертные, не знаем. Иногда он смотрел на меня с хитрецей. Иногда – с благодарностью и мудростью: мол, держись, братка... Мол, спасибо тебе. И не надо ничего говорить. Недаром же он был актёром, про которого режиссёры говорили, что он умеет молчать.

– Знаешь, чтобы нам повеселее было, давай болтать. Ты задавай вопросы какие хочешь. А я буду отвечать. Возьми магнитофон... Может, тебе моя болтовня пригодится, а?

Я понял, что он решил попрощаться и со мной, и с друзьями, и с миром.

Когда Анатолий был в состоянии размышлять, говорить, я включал магнитофон. О многом говорили и без магнитофона – и на улице, и дома, когда оставались одни.

Я хочу привести некоторые его мысли по важным вопросам жизни и творчества. Думаю, портрет Анатолия тогда получится чётче...

– Знаешь, у Френсиса Бэкона есть поразительные слова... Вот они, послушай: «Я всего лишь трубач и не участвую в битве... И наша труба зовёт людей не ко взаимным распрям или сражениям и битвам, а, наоборот,

к тому, чтобы они, заключив мир между собою, объединёнными силами встали на борьбу с природой, захватили штурмом её неприступные укрепления и раздвинули границы человеческого могущества»... Представляешь, семнадцатый век!

– Да, замечательно, но вот только про «борьбу с природой»...

– Это надо понимать как познание тайн природы, а не так, как нынче толкуют о сохранении природы...

Разговор постепенно увлекал его, и он забывался. Казалось, никакой болезни нет, просто он прилёт отдохнуть, а вставать не хочет, и вот мы болтаем, как обычно... Опять на «вечную тему» – о том, что такое актёрская профессия...

– Ну и пусть меня считают «пижоном», «оригиналом». Но от своей точки зрения я не отступлюсь. Актёр – это функция. Конечно, функция эмоциональная, мыслящая, но функция. Актёрская секция Союза кинематографистов провела дискуссию о нашей профессии. Я выступил. Там почти все были против меня. Все называют себя личностями, художниками... Помню, ещё в пятидесятые годы я прочитал статью Льва Свердлина – он ратовал, чтобы вообще работать без режиссёра. А вот Константин Петрович Максимов, как ты помнишь, учил нас как раз противоположному: полностью подчиняться режиссуре. С тех пор я всегда старался придерживаться этого принципа. Ну, сам подумай. Кто такой актёр? Художник – это человек, который создаёт произведения искусства, то есть делает картину, или кинокартину, или спектакль... А актёр? Он лишь часть в общей конструкции режиссёра.

– Но разве актёр не создаёт образ? Разве он не участвует как полноправный член творческого коллектива в создании произведения искусства?

– Участвует. Но он только помогает режиссёру. Думаю, высшая степень актёрского профессионализма заключается в том, что я идеально точно выполняю задание режиссёра. Пусть даже самого плохого, а у нас таких пруд пруди... Но я как актёр всё равно обязан подчиниться его замыслу.

– А как же тогда быть со стремлением выразить общественный, личный идеал? Со стремлением утвердить какую-то идею?

– Помнишь, я тебе рассказывал, что получилось у меня на съёмках фильма «Любить человека»? Когда я невольно выполнил его, режиссёра, установку?

– Ну и что? Просто режиссёр оказался опытней тебя. Вот один из критиков как-то верно написал: тема творчества Солоницына – это тема встревоженной совести. И действительно, если посмотреть твои основные работы, то можно понять: в твоих образах, их судьбе речь идёт о людях, у которых есть совесть и которые хотят жить по совести. Так как это согласуется с той мыслью, которую ты постоянно высказываешь, что актёр – функция?

– Видимо, это происходит подсознательно... Видимо, режиссёры чувствуют, что на такую-то роль именно я гожусь, а не кто-то другой.

– Но выходит, это закономерность? Выходит, что такова общая тенденция нашего кинематографа: раз нужен такой актёр, как ты, столь разным режиссёрам? Разумеется, есть и другие устремления, потому есть и другие актёры.

– Верно. Вот у плохих режиссёров даже хорошие актёры играют плохо. А у хороших режиссёров даже посредственные актёры играют хорошо. Почему? Да потому, что когда хороший актёр приходит к плохому режис-

сёру, он получает плохие задачи. А у хорошего режиссёра в его атмосфере даже плохой актёр раскрывается, потому что сами идеи режиссёра, текст сценария «вывозят» артиста...

– Ты, по-моему, больше говоришь о технике работы.

– О профессионализме. В нашей профессии вот что получается. Режиссёры нередко делают халтуру за счёт совестливых людей. Артист ведь хочет верить и верит до последнего, что даже из посредственной роли у него что-то получится. Но это самообман. Из плохой роли никогда хорошей не будет. Это всё равно что взять и заорать: «Идёмте искать алмазы во дворе «Мосфильма». Но ведь там нет алмазов, это все знают. Я этот пример люблю повторять, извини, если уже говорил...

– А если актёр понимает, что роль не его, что фильм будет плохой, и идёт сниматься...

– То он заведомо совершает бестактный, бессовестный поступок. И его ничем нельзя оправдать. Ни семьёй, ни тем, что заработок нужен. Однако тут много ловушек... Ну, например... Есть режиссёры – просто прекрасные люди. Но плохие профессионалы. И вот видишь, что у такого режиссёра собирается замечательная группа. Как же тут быть, если тебя приглашают сниматься? Я не мог отказаться от роли в фильме «Один шанс из тысячи», хотя наперёд знал, что фильм будет посредственный. Здесь перевес взяло личное отношение к режиссёру. А должно быть творческое... Есть и другие ловушки. Например, я отказываюсь сниматься. Раз, два... А если на третий меня уже никто не пригласит? Вот тут надо иметь терпение, мужество... Вообще, с какой стороны ни возьми, от всех зависишь. Может быть, поэтому многие относятся к актёрам чуть ли не с презрением...

– Ну почему... Вспомни, как Гамлет встречает актёров.

– Гамлет – исключение.

– Но мы же знаем, что исключение и составляет правило. Есть обывательское представление о профессии актёра, а есть понимание её подлинной сути.

– Да, конечно... Но иногда мне кажется, что профессии актёра как таковой нет вообще... Её придумали... На сцену и в кино так много людей идёт ради тщеславия. Женщины особенно. Да и мужчины немногим лучше. Жажда славы, поклонения... Ещё хуже, когда эти качества выставляются напоказ как добродетели. На днях-то, вспомни, смотрели по телевизору... Этот режиссёр прямо сказал, что «скромность – прямой путь к забвению». Выходит, мы просто обязаны быть нескромными, что ли? Да ещё и улыбался, балбес, очень довольный собой...

– Но ведь не только тщеславие выводит людей на сцену и в кино. Вот у тебя какие были побудительные мотивы?

– Ты имеешь в виду Тину Григорьевну? Она заставила меня выучить отрывок из «Войны и мира», а я не хотел, потому что считал, что зазубривание есть глупость... Потом выучил, чтобы отвязались... Потом уже необходимо было выступить, потому что слово дал... Она, конечно, поступила как умный педагог: решила посмотреть, на что я способен. Она как будто предчувствовала во мне актёрские способности...

– С того момента у тебя и родилась мечта стать актёром?

– Может быть.

– А когда ты раз за разом не попадал в вуз, что тебя заставляло идти на экзамены снова и снова?

– Хотел заниматься искусством. Помнишь, мы сидели с тобой на кухне, когда я вернулся из Москвы, и ты спросил: «Что теперь будешь делать?»

Я ответил: «Я думаю, что нигде не принесу людям столько пользы, как в актёрской профессии...»

– *То есть в то время ты твёрдо определил, кем тебе быть в жизни? И где лучше всего раскроются твои способности?*

– Да. Я, конечно, не знал, что в актёрской профессии столько шелухи... Например, актёра называют «личностью» только ради того, чтобы ему польстить... Бывает так, бывает. Вообще, в актёрской среде много фальши, неискренности... Сыграет какой-нибудь посредственный актёр крупного начальника – вот тебе и «личность». Николай Симонов играл Протасова. Это что, не личность? А сколько глупости нагорожено про так называемую современность... Вот у Достоевского прочёл. Посмотри, там закладка... Да вот: *«Признак настоящего искусства в том, что оно всегда современно, насущно, полезно. Искусства несовременного, не соответствующего современным потребностям, совсем быть не может. Если оно есть, то оно не искусство. Начиная с начала мира искусство никогда не оставляло человека, всегда отстаивало его потребности, его идеалы, всегда помогало ему в этом, развивалось с человеком, рядом с его исторической жизнью. Оно всегда будет жить с человеком, с его настоящей жизнью, оно останется навсегда современным, верным действительности»*. Вот и весь вопрос о современности. Для меня искусство современно тогда, когда оно хорошо, качественно. С точки зрения профессионализма.

– *Какие фильмы ты относишь к этому рангу?*

– Ну, например, «Жанну д'Арк» Брессона. Из наших – «Мать» Пудовкина...

– *А из современных?*

– Мне неловко говорить, так как в некоторых из этих фильмов я снимался... Я, разумеется, очень субъективен. Но взять хотя бы «Пастораль» Иоселиани. Это же изумительный фильм! Очень мне нравится Элем Климов – по-моему, он мог бы поставить «Мастера и Маргариту». У него есть все данные для этого – он может сделать и гротеск, сатиру, и выткать тонкий психологический рисунок... Теперь ведь в режиссуру лезут все кому не лень. У меня спрашивали: «А вы не хотите стать режиссёром?» Я отвечал: «Не хочу». Потому что в режиссёры идут из актёров те, кто побойчее, кто понахальней. Мол, а я что, хуже? И не понимаю, что быть режиссёром – это значит быть философом, это значит иметь что-то такое сказать людям, что ты выстрадал, вызнал в жизни, а не красиво развести актёров в кадре или взять мегафон в руки и орать толпам статистов: «Туда! Сюда!» Чаплин, по-моему, как-то верно сказал, что есть бездарные режиссёры, которые на съёмках чувствуют себя полководцами... Это тщеславие, возведённое в чудовищную степень... Иногда мне хотелось такому режиссёру дать подзатыльник, чтобы поставить его на место. Настоящих режиссёров, конечно, единицы. Это Вадим Абдрашитов, Никита Михалков, Алексей Герман. Я жду фильмов Болота Шамшиева, Толомуша Океева, целой плеяды грузинских режиссёров – братьев Шенгелая, Резо Эсадзе... Это те режиссёры, которые создают киноискусство. А есть кинокоммерция.

– *Ты начал о «Мастере и Маргарите»...*

– Да, мне как-то приснилось, что Элем Климов снимает этот фильм. А Лариса Шепитько, его жена, играет Маргариту. И я играл... в жизни не угадаешь кого – финдиректора Римского. Помнишь сцену, когда он один в варьете, и Бегемот с Азазелло начинают его сводить с ума? Бегемотом был Миша Кононов, а Азазелло – Ролан Быков. Мне было и смешно, и страшно... Я проснулся, посмеялся, а сам весь в поту: превращения этих чертей были

жутковатыми. Закурил, стал думать... Конечно, сыграть бы Понтия Пилата – вот было бы счастье актёра... И какую-нибудь комедийную роль – ну, например, председателя акустической комиссии Аркадия Аполлоновича Семплеярова. Помнишь, на вечере Воланда он требует «разоблачений» фокусов?

– Помню. Фагот его просьбу выполняет, говорит, что вчера вечером он был не на заседании акустической комиссии, а у одной актрисы. Вот тебе и «разоблачение».

– Да-да. А Воланд кто был, знаешь?

– Нет, конечно.

– Марлон Брандо... Ну ладно, размечтались...

– В кино ты снимался почти двадцать лет. Не один раз тебе приходилось играть людей творческого труда. Это случайно?

– Не знаю... Но я с радостью брался за эти роли; по-моему, тут большое значение имело то, что наш предок – летописец и иконописец, отец – журналист, ты – писатель.

– Когда я узнал, что наш пращур Захар Солоницын был летописцем, я испытал чувство гордости. А ты?

– Конечно! Это помогло мне бороться за первую мою роль в кино, играть её. Снимали во Владимире, Суздале, Пскове, Андрониковом монастыре... И мне казалось, что там же ходил и Захар Солоницын... Меня ещё поразило то, что я тогда, в пору юности своей, в пору овладения профессией, в Андрониковом монастыре случайно натолкнулся на могилу Фёдора Волкова.

– Я сейчас подумал, что не знаю, какой твой любимый цвет. Я спросил тебя об этом на улице, когда мы грелись на солнышке, а ты не ответил...

– Я задумался... Потом обратил внимание, с какой тоской на меня посмотрела женщина... Ладно. У меня нет определённого любимого цвета. Сначала мелькнул жёлтый. А потом я подумал: почему жёлтый? Понимаешь, каждый цвет красив... Я вспомнил свои доски. У меня бывало желание после трудных репетиций, после спектаклей или съёмок расслабиться, и я брался за доски... У меня было желание расписать обыкновенную кухонную доску. Я брал краски, которые раньше были закуплены, и вдруг видел, что из тех красок, которые у меня были раньше, осталось всего несколько. Или есть только одна. Но если было желание писать, то эта единственная краска – зелёная, к примеру – мне очень нравилась. Я находил разную бижутерию, стёклышки, начинал расписывать, клеить, монтировать бижутерию и создавал нечто. И единственная краска начинала звучать... Интересно, что именно такие доски больше всего и нравятся. Вот сейчас вспомнил Бараташвили. Знаешь его стихотворение о синем цвете?

– Знаю, но не наизусть. Прочтёшь?

– С удовольствием:

*Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.
И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.
Он прекрасен без прикрас.
Это цвет любимых глаз.*

Это взгляд бездонный твой,
 Напоенный синевой.
 Это цвет моей мечты.
 Это краска высоты.
 В этот голубой раствор
 Погружён земной простор.
 Это лёгкий переход
 В неизвестность от забот
 И от плачущих родных
 На похоронах моих.
 Это синий, негустой
 Иней над моей плитой.
 Это сизый зимний дым
 Мглы над именем моим.

(Перевод Б. Л. Пастернака)

– Как много дано поэзии! Как много дано большому таланту! В самые трудные минуты жизни меня спасала именно поэзия. Часто, задумываясь над ролью, не находя ответа на вопросы, я обращался к любимым поэтам, и у них находил ответы. «Любите живопись, поэты», – сказал Николай Заболоцкий. А я бы сказал: «Актёры, любите поэзию!» Да-да, именно ей дано быть рулевым в жизни, она всегда помогала мне...

– Ты бывал по меньшей мере в ста городах. Какой из них твой самый любимый, я тоже не знаю.

– Много поездив, я более всего полюбил Ленинград.

– А вот с понятием «Россия, Родина» – какой город встаёт перед глазами?

– Такого города не возникает.

– Может, деревня, пейзаж?

– Вспоминается Волга, Зелёный остров, Саратов. Снится и вспоминается Саратов, но по-настоящему я полюбил Ленинград. А понятие «Родина» – это более чем город, это Владивосток–Брест, Мурманск–Кушка. Я бывал в этих городах, я пересёк всё пространство великое наше с севера на юг, с востока на запад, да ещё в других самых разных направлениях. Другой такой потрясающей страны нет нигде в мире.

– Тебе приходилось работать на весоизмерительном заводе, на заводе сельхозмашин, ты был слесарем-инструментальщиком, были у тебя и другие рабочие профессии. Опыт работы в этой среде помог тебе в актёрском деле?

– Этот опыт формировал меня как человека. Как личность. Но, когда я слышу, что вот, мол, я работал на заводе и это помогло мне проникнуть в суть художественного творчества, – я рот открываю от удивления. Эти люди просто-напросто врут.

– А что помогло понять суть профессии? Что давало возможность играть совершенно чуждый характер? Например, Портнова в «Восхождениях»? Или рыбника Йоста в «Легенде о Тиле»?

– Это вопрос неоднозначный. На него не ответишь, как на вопрос: «Кто ваш любимый композитор?» На эту тему надо размышлять не один год.

– Это процесс подсознательный?

– Да, тут вообще много неразгаданного. Критики да и многие режиссёры пользуются фразеологией, совершенно не вдумываясь в смысл понятий.

Если я слышу: «Ищите зерно», то хочется ответить такому режиссёру: «Я не петух, и никаких зёрен я искать не буду».

– В одном из интервью Феллини говорил: «Работая с актёром, я помогаю ему вспомнить то состояние, движение, какое у него было однажды, и, вспомнив, вернуть на экран». Такой метод хорош?

– Этот метод мне самый близкий. Но тут режиссёру и актёру надо очень хорошо знать друг друга. Иначе ничего не выйдет.

– Критики ставят такие вопросы: что характерно сегодня для работы актёра над ролью – ход «от себя к образу» или «от образа – к себе»? Перевоплощение или исповедь? Игра или самовыражение?

– Профессия актёра, как и игра актёра, не может быть вечной исповедью. Исповедоваться можно раз, ну два. А дальше начнётся повторение уже сказанного, то есть актёрская смерть. С моей точки зрения, существует игра. И не может быть иначе, тогда мы бы не были актёрами. Сегодня я, например, играю человека нашей идеологии, а завтра – врага. Поэтому я стою за игру и не считаю, что есть что-то другое в моей профессии. Конечно, вопрос о том, к каким внутренним перестройкам приходится прибегать в работе над ролью, сложен. Сергей Никоненко как-то мне говорил, что перед самыми серьёзными кусками роли ему необходимо подурчиться, расшевелить себя, рассказать анекдот. Это ему помогает играть серьёзные роли. У меня совсем иной подход. Я, наоборот, пытаюсь по-театральному углубиться, сосредоточиться. Бывают неожиданности, которые никак не объяснишь. Например, в работе над историческим образом вдруг может помочь самая современная книга. И наоборот.

В юности я большое значение придавал техническим вещам. Я трудно приходил в театр, кино и поэтому решил доказать – может быть, себе больше, чем другим, – что могу быть не просто актёром, а хорошим актёром. Поэтому я так серьёзно относился к гриму, тренировал память, помнишь, учил на ночь по стихотворению... Ежедневно занимался дикцией, «обживал» костюмы... Сейчас я думаю, что всё это были мои наивные заблуждения по поводу профессии актёра. Пойми меня правильно: всё это необходимо актёру в начале пути. Это азбука. Но вовсе не она имеет решающее значение для перевоплощения. Может быть, прав Шарль Дюллен, когда пишет, что, уезжая в пригород Парижа, валяясь на траве и наблюдая травинки, он ближе оказывался к сути образа, чем в то время, когда учил текст... Да разве и у меня не было моментов, когда мне казалось, что ничего не выйдет?

– Я только и помню тебя таким. Ты вечно твердил: «Не получается...»

– Да, я всегда шёл «от противного». Разогревал себя до такого состояния, когда возникала злость: да что такое, неужели не выйдет? Всегда надо было преодолеть чудовищно высокий барьер... Странная, очень странная работа... Но людей так тянет к ней. И, может быть, потому, что я встречался с хвастунами, фанфаронами, я всегда старался вести себя как можно скромней, чтобы не опорочить, а поднять авторитет своей работы... Сколько раз приходилось «зализывать раны», когда вынужден был выступать на тех же площадках, где до меня выступали кинозвёзды. Это не пустые слова: «Выдержайте испытание славой». Многие у нас не выдержали, скисли совершенно. Зато как прекрасно сознавать, что среди твоих коллег есть такие люди, как батька Гринько, Владимир Заманский, Алексей Баталов... Какие замечательные люди!

А как многому учат нас примеры Шукшина, Высоцкого... Да, непросто прожить в искусстве, ой как непросто! Чтобы о тебе вспомнили с уважением, а может быть, и с любовью...

Разговоры наши начинались в самое разное время и так же неожиданно заканчивались. Или он уставал, или начинались боли.. Да и неудобно было приставать с вопросами. Пока Анатолий сам не просил включить магнитофон, я этого не делал.

Однажды я застал его с микрофоном в руке. Магнитофон был включён, но Анатолий спал. Видимо, он хотел записать какую-то мысль, но сил не хватило. Я спросил, что он хотел сказать.

– Понимаешь, я хотел поговорить о надёжности. Это то качество, которое я стал более всего ценить в людях. У человека должна быть определённость, мне важно знать, какой позиции этот человек держится.. Вот что я хотел сказать... И ещё... Если всё большее число людей будет утверждать нравственный идеал, Земля будет всё более и более прекрасной. Это так важно!

...Анатолий мне часто снится, и всегда хорошо. Мы подолгу разговариваем, что-то обсуждаем.

«А почему ты решил, что я умер?» – спрашивает он меня.



**Светлана
ПЕШКОВА**

ДОРОГА ДОМОЙ

БЕРЕГА ОБЕТОВАННЫЕ

Я встречу май в приморском городке,
где пёстрый день слоняется по пирсу.
Там жизнь бежит беспечно, налегке,
пекут лаваш – чуть толще, чем папирус,
а кофе, обжигая горько рот,
дурманит смесью перца и корицы.
Там рыжий пёс у рыночных ворот
кого-то ждёт, заглядывая в лица
таких же отдыхающих, как я, –
беспечных, бледноликих и нездешних...
Сидеть в кафе, любуясь на маяк,
душистый чай закусывать черешней
и, от безделья мучаясь, искать
героев ненаписанных романов,
прислушиваясь к шёпоту песка
заветных берегов обетованных.
Я здесь жила. И сотни лет назад
лаваш пекла, рвала черешню в мае.
Мне рыжий пёс заглядывал в глаза,
он был моим, я точно это знаю.
...Седой хамсин окутывал залив –
мне этот день веками будет сниться:
я помню кровь в оранжевой пыли
и тряску в незнакомой колеснице,
горячий, липкий взгляд, холодный зной,
желанье умереть и ужас выжить.
И мчалось солнце по небу за мной
отважным псом – взлохмаченным и рыжим.

-
- Светлана Николаевна Пешкова – член Союза писателей России, руководитель Липецкого регионального отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России. Окончила филологический факультет Липецкого педагогического института. Стихотворения издавались в коллективных сборниках и литературных журналах. Победитель ряда российских и международных литературных конкурсов. Награждена медалью им. Е. Замятина за успехи на литературной и культурной ниве. Автор двух книг стихов. Живёт в Липецке.

Цвела джида, журчал степной арык –
Я помню это место, где зарыт
Мой детский клад – секретик мой заветный.
Под выпуклым бутылочным стеклом
Лежало голубиное перо
На смятой золотинке от конфеты.

Земля была покорна и легка,
Как гречневая мамина мука.
Её так много – всем на свете хватит
Лугов, полей и маковых степей.
Я знала, что могу довериться ей
И стёклышко, и пёрышко, и фантик.

Я помню осень. Сад. Горит листва,
Ползёт позёмкой пепел от костра,
Ложась на оперенье мёртвой птицы.
И хрупкий мир, что не был мной спасён,
Послушно лёг в голодный чернозём
И в кукольной коробке уместился.

НЕ В ТАШКЕНТЕ

Саид в суровом сборище сугробов
стоит среди зимы разинув рот...
А снег ещё настойчивей идёт,
пятная мандаринность новой робы.
Невиданная щедрость русских зим
как чуждый перевёртыш жизни бывшей –
в Ташкенте осыпались с неба вишни,
черешня, абрикосы и кизил...

Сочится рыбный запах из столовой
и вкусно оседает на бульвар.
А в съёмной неуютности Гюльнар
баранину разделала для плова,
промыла рис и села у плиты.
Её страшат чужая жизнь и стужа.
А этот снег – разнузданный, ненужный –
как будто прямо в сердце ей летит.

НИЧЕЙ

Спят, словно вишни, в небе звёзды.
Ты присядь с дороги и остынь.
Вытряхни из сумки горький воздух
Жадных и безжалостных пустынь.
Выпей нашей северной прохлады,
Вспомни ежевичный вкус ночей.
Знаешь сам: для счастья мало надо,

Если ты давно уже ничей.
Здесь как прежде всё: уклад старинный,
Снег – зимой, по осени – дожди.
Выйди в сад, поешь с куста малины,
Берегом к источнику сходи.

У реки на мостике дощатом
Эхо передразнивает шаг.
В этот час голодные щурята
Ищут живность в чёрных камышах.
Сонный лещ, наевшись звёздных ягод,
Тычет лбом в купальщицу луну,
А луна ныряет под корягу
И не собирается тонуть.
Скоро полоснёт крылом зарница,
Выключет небесное зерно.
Хочешь в старой лодке прокатиться
С кроткой предрассветной тишиной?

Спящая в тумане колокольня,
Заросли бушующей травы..
Снова оказаться в прошлом больно,
Если возвращаться не привык.
Где-то ждут нехоженые дали,
Манит неизвестность новых мест.
Ну а здесь родители заждались –
Сгнил и покосился мамин крест,
У отца заржавела ограда,
Холм размыли вешние ручьи.
Мало старикам для счастья надо,
Если старики уже ничьи.

ДОРОГА ДОМОЙ

В захолустном городишке всё как прежде:
Сладким солнцем наливается черешня,
На бескрайних пустырях и огородах
Зреют травы и толстеют корнеплоды.
И не режут глаз усталым горожанам
Алкаши и лопухи за гаражами,
У ДК – портреты лидеров горкома.
...Я опять бегу домой из гастронома
С неизменными покупками в авоське,
Обгоняя и собаку, и повозку.
Я несу янтарный квас в стеклянной банке,
Колбасу и «бородинского» буханку.
В палисаде, рыжей наглости не пряча,
Ждёт еду блохастый выводок кошачий –
Палку ливерки съедают в два присеста.
И скрипит по-стариковски дверь подъезда,
Я вдыхаю запах браги, лука, фарша.

Пять ступенек, дверь налево – это наша.
У меня тяжёлый ключ висит на шее.
Почему он с каждым вдохом тяжелее?
Отчего застряли звуки в горле комом
И подъезд уже не кажется знакомым?
...Выпадает из авоськи чёрный камень,
А из банки льётся небо с облаками.

НАДО МНОЙ – ЗЕМЛЯ

Ты меня по имени не зови,
мы с тобой случайные визави –
две беды в прокуренной тишине.
...А меня вне города больше нет.
Я – дитя его у него внутри
и смотрю глазами его витрин
от Базарной площади до пруда.
Я теперь из города – никуда.
От Никольской башенки до кремля
подо мной – земля,
надо мной – земля.
Я теперь – дыханье крылатых львов,
папиросный дым, перегар дворов,
колокольный звон и колёсный скрип,
я – нектарный флёр золотоглавых лип.
У меня в ладонях –
прохлада луж,
у меня в гортани –
сквозняк и сушь.
Ты привык по имени... Ну и что ж!
Отними у памяти, уничтожь,
вырви восемь звуков, сожги, развей,
без любимых слов – забывать быстрее.
Я тебе ни сродница, ни жена,
не тобой наказана-прощена.
Я – вьюнок, примятый твоей ногой,
и трава, и корни, и перегной,
серый мох, крадущий тепло камней...
Ты, когда остынешь, придёшь ко мне.



**Нелли
КРЕМЕНСКАЯ**

*Все совпадения
героев повести с реально существующими
людьми и событиями, происходившими
в действительности, являются случайными*

МОЗАИКА ВРЕМЁН

Повесть

По земле от Волги растрёпанными хлопьями ползёт туман. Ноги скользят по раскисшей тропинке. Пахнет прелыми листьями и приближающейся зимой. Дужка хлипкого китайского замка открывается сразу же, едва ключ попадает в замочную скважину. Гремят звенья огромной цепи, предупреждая, что, прежде чем отворить обвисшую, потемневшую от времени калитку, её нужно приподнять и вытащить из лужи.

Вокруг – никого. И это меня очень устраивает. Я сегодня свою молодость буду убивать.

В избушку идти не собиралась, но, видно, надо. По кирпичам, заменявшим крыльцо, ковьялю к расхлябанной двери, придерживаемой согнутым гвоздиком. Впрочем, дверь держится не на гвозде, а просто разбухла. Как два молодца плечами сжали сильно подвыпившего человека, что лишило его самостоятельной манёвренности, так и дверная рама не даёт тому, что называется дверью, упасть ни вперёд, ни назад.

В избушке передвигаюсь с большим вниманием: не дай бог ступить на сгнившую половицу – ухнешь под дачу и будешь выбираться из неё до весны.

Вот она, скамеечка. Сухая, потому что в дачке была. Хоть избушка и на курьих ножках, но ночевать в ней можно. Хотя я не рискую: во сне на тебя потолок может рухнуть.

Ну вот. Опять дверь втискиваю в раму, наказываю ей не очень-то вольничать и не распахиваться перед первым встреч-

-
- Нелли Фёдоровна Кременская родилась в 1939 году. Окончила филологический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Работала учителем, журналистом, социологом. С 1974 года занимается резьбой по дереву. Лауреат и дипломант областных, республиканских и союзных выставок. Многие работы находятся в частных коллекциях России, США, Германии, Франции и Кипра. Автор нескольких сборников рассказов. Постоянный автор журнала «Волга–XXI век». Живёт в Саратове.

ным ветерком и не торопясь бреду по своему дачному царству. Слева – огромные колючие плети шиповника (ягод почему-то не бывает, а цветы летом – закачаешься: роскошные малиновые розы величиной... в общем, здоровенные). Пробираюсь сквозь колючие вишнёвые и сливовые заросли. На полянке с кострищем в центре сажусь на сухую скамеечку и из огромной тяжёлой сумки достаю объёмистые тетради. Это и есть моя молодость: дневники, записные книжки времён... ну очень уж давних.

Тетради не хотят гореть, сопротивляются палачу. Прошлое не хочет погибать. Коленкоровые обложки корёжит от жара, края толстых кип обугливаются, мерцают чёрными и рыжими сполохами. Иногда крайние бумажные листы вдруг ярко вспыхнут, влажный ветер оторвёт их и понесёт уже мёртвыми белыми хлопьями на пожухлую траву. Но в целом – вынимай их из костра и наслаждайся тайнами и извивами чужой жизни.

Нет. Тетради придётся рвать и мятыми комьями кормить костёр. Но как удержаться, чтобы не стрельнуть глазом: какой случай из твоей жизни уходит в вечность? Как успокоить кровь, как заставить сердце биться ровно, убедить его, что не жизнь твоя полыхнула сине-рыжим пламенем, а просто – поздняя осень, не мешало бы согреться.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

– Кошмар! Совершенно безграмотно! Никуда не годится! Невозможно бездарно!

Я сидела на новой работе перед своей новой начальницей и слушала отзыв о своей первой статье.

Лоб покрылся ледяной крупой. Никто никогда не говорил мне таких слов. Я окончила филфак, где была редактором сатирической стенгазеты, смею утверждать, имевшей немалую славу в университете. Я заразила литературой учеников старших классов средней школы (некоторые из них потом закончили филологические факультеты пединституты и университеты). Нельзя быть стерильно грамотной, но уж корову через ять я не писала. И, несмотря на молодость, в какой-то степени уже привыкла к уважению за свой профессионализм. Да и рекомендовала меня сюда, в эту газету (кстати, без моей просьбы и ведома), преподавательница университета, очень неординарный человек, умница и насмешница, с которой я почти по-дружески общалась в студенческие годы.

«Кошмарно», «безграмотно», «бездарно»... Разве это про меня? Разве можно такое говорить новому человеку в самом начале его новой работы? Ты подскажи, если что не так, помоги. А вот так – кувалдой по башке...

Я зажмурилась. Может, снится это? Всё оборвалось внутри. Меня взяли на испытательный срок. И сразу такой отзыв. Тю-тю! Похоже, выпрут отсюда.

Вновь открыла глаза. Нет. Всё наяву. Передо мной сидела женщина лет тридцати, почти моя ровесница; сидела сильно сгорбившись и левой рукой правила мой текст. Смоляные вьющиеся волосы могли бы украсить её, если бы не обрамляли столь некрасивое лицо. Губы были толстые, но даже их не хватало, чтобы прикрыть выступающие вперёд крупные зубы. И только глаза, опущённые длинными чёрными ресницами, поражали красотой и спрятанной глубоко внутри уже привычной печалью.

Я встала у неё за спиной и попыталась понять, что же такого «кошмарного» я натворила. Да, действительно, в глаза бросилась пара запятых, поставленных красным карандашом, и два жирно подчёркнутых тем же крас-

ным одинаковых слова, застрявших в одном предложении. Недоглядела. И всё же грех-то копеечный. Не стоит он таких гранитных слов.

– И только-то?! – обрадованно вырвалось у меня.

Я снова уселась напротив.

– Разве этого мало?! – Она вперила в меня умные и уже злые глаза.

Я поняла, что не ошиблась: песня моя спета, и оттого стала беззаботно храброй.

– Это же пустяки, легко устранимые.

– Вы хотите стать газетчиком, а сами безграмотны, – последнее слово Инна Рузевич произнесла с видимым наслаждением. – В литературе пустяков не бывает! – металлическим голосом почти с ненавистью прокаркала она.

Я понимала, что в чём-то она права. Но всё взбунтовалось во мне из-за такой беспощадной критики. А-а, была не была!

– И классики подчас небрежно обращались со словом.

– Например! – Один угол её жирных губ был сомкнут, второй пополз вниз, всё более и более обнажая ряды неровных зубов.

Предупреждали ведь, что редакторша – людоед. Жуёт всех, кто рядом, кто, не дай бог, хоть как-то зависит от неё.

– Да вспомните Достоевского, его всем известный «круглый стол овальной формы». А «старая старуха шестидесяти лет»? А что, нет ляпов у Пушкина?

Я вызывающе замолчала. Она поела меня огромными глазами. В них ещё не погасла злость, но пробивалось и любопытство. Мы смотрели друг на друга, уже оставив причину спора. Она, видимо, прикидывала, скоро ли я сломаюсь, сможет ли она подмять меня. А я, понимая, какой ежедневный мордобой меня ожидает в случае, если застряну здесь, соображала, стоит ли работа в газете такого кровопролития?

«Всё-таки стоит», – решила я.

– А содержание заметки? Оно тоже никуда не годится?

– Будем решать вопрос о вашем пребывании в газете, – ушла она от прямого ответа. Хотя в её словах прозвучала нескрываемая угроза.

На мокрую ветку яблони уселась сорока. Громко застрекотала и, свесив голову, уставилась на меня, словно проверяя впечатление. Задумавшись, я не двигалась. Костёр тоже чуть дымился. Сорока туда-сюда повертела головой, опять сказала что-то ругательное. Она явно дразнила меня, задирала, вызывала на скандал. Я не шевелилась. Разочарованная, слетела с ветки и с опаской приземлилась в нескольких метрах от меня. Опять поругалась. Опять проверила впечатление. Я сидела не шевелясь. Сорока потеряла ко мне интерес и, растопырив сказочное чёрно-белое оперение, шумно взлетела в туманное небо.

Это маленькое событие что-то сдвинуло в моём сознании и вернуло воспоминания к началу моей трудовой жизни.

Шёл второй год, как после университета я преподавала литературу в школе одной из пермских деревень. Однажды ночью пришла телеграмма, что на преддипломной практике погиб мой брат. Он был энергетиком. На заводе мастер послал его зачищать концы проводов, а ток не выключили. Брат попал в вольтову дугу. Ему было 24 года.

Из Пермской тмутаракани до родных мест добралась только в день похорон и к концу поминок. Гости уже весело распевали песни и рассказывали

анекдоты, а ошеломлённые родители ещё толком не осознали, что произошло. У мамы – мёртвое лицо. Увидела меня – не удивилась и не обрадовалась. Будто и не было года разлуки. Обняла машинально и, как робот, стала что-то прибирать на поминальном столе. Папины глаза споткнулись на мне, но он не подошёл, а закрыл лицо руками и... зарыдал. Без слёз. Я впервые видела плачущего мужчину. Тем более папу. Я не думала, что так бывает. Он многое повидал в жизни, прошёл большую войну, многое и многих потерял. Казалось бы, чувства в нём давно задубели. А тут – плотина прорвалась, и не вода вырвалась наружу, а такая боль, которую не удержать было даже ему. Я подошла к отцу и прижала к себе его голову.

Брат был любимцем семьи. В День Победы над фашистской Германией ему не исполнилось и четырёх лет. Его вывели на улицу в специально сшитом мундирчике с красными генеральскими лампасами на брюках, в пилотке и с перевязанной из-за свинки щекой. Ликующая толпа была в восторге от «раненого» генерала и передавала его из рук в руки. И хотя я, пятилетняя, в то время страшно завидовала ему, с тех пор навсегда 9 Мая для меня – это не только Великая Победа над фашизмом, это ещё и маленький брат в генеральском мундирчике, с перевязанной щекой, голубоглазый, белобрысый, озорной.

Через две недели я снова уехала в деревню. Родители умоляли: «Останься!» Но... глупая я была. Брата заменить не могла, конечно, но моё присутствие, мои проблемы, наконец просто домашняя забота обо мне, безусловно, отвлекали, хотя бы на первых порах заслонили бы родителей от горя. Но это я поняла значительно позже. А сейчас...

Учебный год начался, а учителя нет. Как это возможно?! И когда ещё придут?! Местные учителя в старших классах преподавать побаиваются: ученики могут оказаться более знающими (срам-то какой!). И понять учителей можно: помимо школы на них – семья, огород, скотина. Где брать время и силы на чтение не только классики, но и современной литературы? А тут – свеженькие университетские знания. И не так-то просто молоденькую учительницу сбить с толку.

В селе все были уверены, что я не вернусь. А когда увидели меня...

Я не думала, что ко мне так относятся. Жизнь есть жизнь. С коллегами подчас приходится выяснять отношения. С ребятами нужно не только дружить, но и быть тираном. И всё-таки... И всё-таки именно они искренне и бескорыстно дали мне ту целительную силу, без которой неизвестно, как я пережила бы беду.

Было всё: уроки в притихшем классе, рыбалка на Каме, выступления с агитбригадой в близлежащих деревнях, конфеты с хлебом на завтрак, в обед и ужин, яростные споры с учителями (одна против всех) об искусстве и политике, волейбол в купальнике на снегу, песни в весенней черёмуховой роще, лихая езда на санях по дремучей тайге. Да много чего было. И любовь была. И изматывающее многолюдье, и столь же тяжкое одиночество было. И беспричинная радость, и жуткая тоска была. Словом, обычная жизнь. Правда, я точно знала, что уеду в свой город на Волге. Вот только что там делать буду – не знала.

И правда. Уехала. Потом всю жизнь вспоминала о деревне легко и с благодарностью. И люди, и природа там естественнее, чем в городах, более открытые, искренние. Деревня многому меня научила. Много дала. Я до сих пор не умею доить коров или запрягать лошадь, выращивать хлеб или управлять трактором. Но чем-то жизнь моя обогатилась. Опытом, что ли... Пониманием людей... Сочувствием к любому человеку, даже самому падшему...

Слетело чванство городского жителя. Что-то новое пришло ко мне и навсегда осталось.

Но никогда не жалела, что выбралась из деревни. Мне почему-то всегда казалось, что я, как Робинзон Крузо, на необитаемом острове живу. Где-то плещется и бурлит настоящая жизнь: на огромных стадионах выступают поэты; отстаивая свои права, сражаются с государством смелые люди; художники открывают новое в искусстве. А до тебя доходит отдалённый шелест приливов и отливов. Нет, я не собиралась быть поэтом. Не по мне и за вилы хвататься. Не мыслила себя и конкурентом заокеанских и отечественных художников: большим талантом для этого обладать надо. Не помешало бы и художественное образование. Я жаждала хотя бы зрителем быть. И желательно не на галёрке. Провинциальный город, конечно, не Москва, но и не деревенская изоляция.

Я выдернула полуобгоревший листок из костра. Да, это время моего окончательного переезда к родителям. Надо было куда-то устраиваться на работу.

Родители постарели. Сильно. Папа совсем поседел. Мама... В этот год я сделала её портрет... Удивительным и даже страшным он получился. Черты лица вроде бы её. Но первое, что приходит на ум зрителю: будто внутри всё выгорело, а оболочка... гипсовая. Глаза неживые. Смотрят на тебя и не видят. Она и правда такой была. Через несколько лет это состояние почти прошло, и вновь лицо её заиграло радугой разнообразных эмоций. А портрет остался – как рубец от ножевой раны.

Кем и куда может приткнуться филолог? Учителем в школу, корректором в издательство, литсотрудником в редакцию. Ах, да, ещё библиотеки есть! Чур-чур меня! Мне почему-то всегда казалось, что, ощутив вначале прелесть новизны этой профессии, библиотекарь должен от тишины, книжной пыли, тесноты стеллажей и склочного бабьего окружения начать грызть читателей или потихоньку поедать собственные внутренности.

Вот редакция – это да! Я и на филфак пошла, чтобы стать корреспондентом. Только устроиться туда не так-то просто. А самое главное, от робости и дурацких комплексов я никак не могла заставить себя перешагнуть порог хоть какой-либо редакции. Хотя и понимала, что журналист – это прежде всего раскованность, близкая к наглости. Но не могла. Не могла – и всё тут!

Поэтому...

Корректором Центрального бюро технической информации (ЦБТИ) меня взяли с условием, что сначала недели на две поеду в колхоз. Поехала. Мне-то что? Лишь бы зацепиться где-нибудь, а там видно будет.

В колхозе пробыла три месяца. Вляпалась. Загнали в какое-то дальнее отделение, куда ни письма не доставлялись, ни молоко, ни фрукты-овощи (это в сельской-то местности!). Об электричестве, телефоне-радио и мечтать не приходилось (тогда ведь ни мобильных, ни Интернета не было). Вот она, цивилизация, к которой я так рвалась! Куда ни кинь взгляд – светло-рыжая степь на много километров. Если крутнуться на одной ножке – будто стоишь в центре идеально круглого стола, словно покрытого ржавой от старости скатертью. Небо от жары выгоревшее и такое же ржавое.

Колхоз был заинтересован, чтоб мы вкалывали подольше, потому и припрятали нас подальше. Мы там (в основном молоденькие девчонки-«пэтэушницы» да с пяток пацанов допризывного возраста) на положении рабов были. Условий для работы и проживания – почти никаких. Кормили нас макаронами и перловкой, зарплату не платили. Помыться негде. Была одна лужа, и та вскоре превратилась в грязь. Питьевую воду, правда, привозили в железной бочке (из таких в городе разливное пиво цедили). Через час бочка накалялась от солнца, а вода разве что не кипела. Сколько ни пьёшь, жажда не проходит.

С огромных грузовиков под навес мы тоннами сгружали зерно, перелопачивали его, сушили. Потом транспортёрами снова загружали машины, которые отправлялись на элеваторы. К концу смены бухались на полати в зимних овчарнях и засыпали мгновенно, не успев долететь до жёстких досок, едва прикрытых изношенным до дыр тряпьем. Впрочем, отославшись, молодыми глотками будили степь песнями, а то и танцами, вместо там-тамов громяхая ложками по кастрюлям и алюминиевым мискам. Совсем зелёных девчонок (часто – сирот, у иных – спившиеся родители) жалко было до слёз, но доводов разума они не слушали. Природа требовала своё, а шоферня со всей степи слеталась на такой сладостный и такой доступный медок. Жили девчонки как трава на равнине: можно было сорвать от палящего солнца, мог оживить тебя и дождик. Но чаще всего трава попадала под сенокосилку, которая сначала рвала и корёжила, а потом выкидывала на корм скоту.

Ржавым гвоздём я пропоролла пятку. Началось нагноение. И тогда я сбежала. Просто села на попутку и приехала в город. Рисковала, конечно. Могли наябедничать – сообщить на мою новую работу.

И правда, на службе встретили неласково: вlepили выговор за то... что не сбежала раньше.

– Вы где загорали всё лето? – рычала начальница, подозрительно разглядывая мой облупленный нос и ярко-красные в леопардовых пятнах скулы.

– Как где? В колхозе!

– Мы вас три месяца ищем!

«Может, на Багамах искали», – в сторону язвила я.

Пятка заживала долго, я сильно хромала, но на службу всё-таки ходила – и так «прогуляла» всё лето.

Оказалось, что ругали меня напрасно. Мы не задыхались от работы. Наоборот, не знали, куда себя деть. И только последнюю неделю месяца нам приносили скучнейшие технические тексты. И тут начиналось: давай-давай, быстрее-быстрее. Всё остальное время кто украдкой (под столом) вязал, кто книжки читал (тоже из-под стола), кто, не скрываясь, сплетничал. Я, тоже не скрываясь, играла в шахматы. Постоянно проигрывала и от скуки и огорчения громогласно спорила. И продолжалось это, как и работа в колхозе, тоже три месяца.

А вот теперь нос к носу я сидела перед Инной Рузевич и выслушивала хлесткие слова о первых днях своей работы в редакции.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В газете меня всё-таки оставили. Почему – не знаю. Знаю – кто. Оставил член парткома, ответственный за институтскую многотиражку, доцент кафедры философии Яков Давидович Цитков. Оставил не потому, что почуял во мне талант журналиста, просто заменить было некем.

Это был еврей лет пятидесяти, невысокого роста, с уже приличным брюшком и породистым, чем-то похожим на Товстоногова лицом. Тонкий с горбинкой нос, насмешливые губы, красиво вьющиеся волосы и даже намекающийся второй подбородок делали лицо неординарным, запоминающимся. Живые, чуть навывкате глаза сияли умом и едва уловимым ехидством. Он был одесситом, любил посмеяться над одесским говором и великолепно рассказывал одесские анекдоты. В хорошую минуту он широким махом отворял дверь редакции и громогласно заявлял о себе:

– Здасьти вам через окно. Где вы сохнете бельё?

Садился через два сомкнутых стола напротив Инны (мой стол стоял у стены отдельно) и, прежде чем взяться за чтение подготовленных нами материалов, игриво продолжал:

– Одессит спрашивает у вновь приобретённого знакомого: «Вы случаем не из Москвы?» – «Из Москвы». – «То-то я смотрю, у вас говор неправильный».

Отсмеявшись, мы затихали, давая ему возможность спокойно прочитать отпечатанные в машбюро и предназначенные для номера статьи. Впрочем, спокойствия в редакции фактически не было. Здесь вечно толклись наши добровольные помощники: студенты, преподаватели, фотографы. Пробуя себя в журналистике, они помогали нам добывать материал, снабжали новостями из студенческих групп, кафедр, общежитий, предприятий, где будущие инженеры проходили практику. С каждым надо было поговорить (если хотите, даже подружиться), каждому надо было заказать заметку, статью или фотографию на определённую тему. Многим нравилось прийти в редакцию просто так: поболтать, пообщаться, узнать институтские новости, рассказать о своих проблемах.

Инна не имела семьи. Похоже, и друзей было негусто. Очень негусто. Вся жизнь её была в институтских делах, в газете. Она купалась в них. Студенты и преподаватели относились к ней с почтением, иногда – со страхом (газету боялись: из-за критической статьи могли судьбу поломать – студента отчислить из вуза, преподавателя понизить в должности, а то и совсем прогнать с работы). А так как днём нам почти не давали возможности литературно обрабатывать принесённый корреспондентами материал, то рабочий день наш был безобразно длинным.

За редчайшим исключением, приходилось приводить в божеский вид почти каждую статью. Раньше человек, окончивший только гимназию, уже мог литературно излагать свои мысли. Сейчас иногда доктор наук приносил статью, в которой не только смысл невозможно было уловить, но и русский язык, казалось, был изувечен иностранцем. А мы не могли позволить, чтобы в газете «дурь каждого была видна». Ведь дурь эта чёрной тенью накрывала и нас, её сотрудников.

Инна не торопилась домой. А мои попытки пораньше смыться из редакции (даже когда не было работы, тем более срочной) расценивались как служебное преступление. Помимо бесконечных редакционных дел нужно было часами общаться с ней: рассказывать какие-то случаи из жизни, обмениваться впечатлениями о прочитанных книгах, обсуждать фильмы, институтские события. Была она, безусловно, человеком высокой, настоящей культуры. Поэтому иногда общение это даже доставляло удовольствие. Но домой подчас я попадала к полуночи и добиралась до постели ползком. Проще было «КАМАЗ» с зерном вручную разгрузить. Именно тогда я пришла к твёрдому убеждению, что интеллектуальный труд и безграничное человеческое общение тяжелее физического труда. Хоть и интереснее.

В детстве Инну изувечил церебральный паралич. Правая нога была короче левой. В правой руке едва держался кусок хлеба. Поэтому писала левой. У меня это вызывало бесконечное сочувствие. Я многое простила ей. Тем более что физические недостатки развили в ней природную остроту ума и вместе с рождением подаренную Богом великолепную память.

– На какой кафедре Рябинин? – внезапно вскидывается от машинописных гранок Яков Давидович.

– На «сопромате», – не задумываясь, отвечает Инна.

– А какой там телефон?

– 24–15–81, – не отрываясь от правки заметки, тут же выдаёт она.

И, пока он набирает номер, она поднимает голову и с заметной гордостью сообщает мне:

– В университете на семинаре преподавательница прочитала главу из «Илиады» Гомера. На следующий день перед всем курсом я повторила её наизусть. Меня потом спрашивали: «Ты что, ночь не спала, учила?». «Нет, – говорю, – не учила. Просто внимательно слушала».

Она снова склоняет голову над заметкой, а я, впечатлённая, ещё долго сижу с отвалившейся челюстью и не могу представить, что кто-то способен так вот, с лёгкостью, запомнить «Илиаду». Не разудалая ритмика частушек – гекзаметр всё-таки.

Моя память избирательна и капризна. Она начисто игнорирует цифры и события, для меня неважные, не затрагивающие внутренний мир. Но то, что память выбирает из глобального множества знаний, она складывает в какое-то потаённое, неведомое даже мне место и неожиданно выбрасывает наружу в моменты эмоциональной раскованности: во время лекции, беседы, спора, обсуждения литературного произведения. Правда, раскованность эта зависит от многих факторов: от знания предмета, от моего настроения, от доброжелательности аудитории, от погоды наконец. Остальное время взор мой смолоду обращён внутрь, а глаза рассеянно блуждают по лицам и окружающему миру, не видя их. Уши не слышат говора толпы, бормотания радио, фанфар ликующих демонстраций. Поэтому я никогда не знаю, кто в кого влюблён, какие скрытые войны ведутся рядом со мной, да и вообще, какие страсти бушуют на расстоянии вытянутой руки. Из-за этого часто вляпываюсь в неловкие ситуации. И, надо думать, в глазах многих людей выгляжу безнадежной идиоткой. В свободное время люблю рисовать, но, если столкнусь нос к носу с грабителем, не смогу дать криминалистам не только его словесный портрет, но и описать, как он был одет. Зато намертво запоминаю черты лица человека, если ставлю перед собой такую цель. И даже в его отсутствие могу изобразить узнаваемые хоть портрет, хоть шарж.

Из-за этой особенности памяти Инна считает меня полупридушкой. Может, и справедливо: ну не помню я номеров телефонов, должностей преподавателей, кто с кем спит, кто из студентов на какой кафедре специализируется, кто с кем вчера поругался, а сегодня уже помирился. А она не упускает случая упрекнуть меня в этом.

Пишет она партийно-политические статьи. Пишет хорошо: без бравадного ура-патриотизма, без слащавой фальши, без надоевших лозунгов. Хотя незримо присутствует и то, и другое, и третье. Всё это – дань времени. Без них газета немислима.

Я передовицы не выношу, да мне никто их и не доверяет. Серьёзные проблемы института – это тоже её темы. Но избегает материалов, где требуются воображение, полёт фантазии. То есть совсем не пишет. Фельетоны, очерки, события в студенческих группах, юморески, иногда и рисунки – это уже

моя обязанность. Читатели хвалят. Иногда (ну, очень редко!) скажет доброе слово Цитков. Рузевич – никогда. Зато пропущенная запятая или столкнувшиеся в близком соседстве одинаковые слова – повод для мордобоя, злого, ядовитого обвинения в непрофессионализме. Оно, похоже, и поделом, хотя это крошит фундамент подо мной, делает существование шатким и неустойчивым. Но это же стало и великолепной школой, давшей мне возможность почувствовать вкус слова, его сладость, горечь и пряность, его аромат, сочность, точность и красоту.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Напротив моего стола сидят два студента. Один – очень худой, рыжий и смешливый. Второй – покрепче, черноволосый, с блестящими серыми глазами. Он более сдержанный, но тоже посмеивается. Мальчишки что-то сочиняют на четвёртую полосу новогодней газеты. И вот веселятся!

Дверь распаивается, и в редакцию входит ещё один наш корреспондент – Сергей Петрович Маринин. Аспирант. Любимый. Потому что править текст за ним почти не нужно. Он даже выиграл наш литературный конкурс. Но премию не получил. Виновата институтская администрация: пообещала, потом тормознула. А он то ли в шутку, то ли всерьёз затерроризировал нас: «Зажали премию? Когда отдадите?» Объясняем ему, оправдываемся, выкручиваемся, мол, не мы виноваты, всё равно от него проходу нет: «Когда отдадите?»

Над моей головой на стене – фотография самозабвенно зевающего кота. Глаза зажмурены, язык и острые зубы – во всей красе. Можно всё что угодно предположить: орёт, чихает, поёт, блажит. Под фотографией прикрепили чистый лист бумаги. Был чистый. Сейчас он весь исчеркан подписями. Кто только не упражнялся в остроумии, чего только не наказывали:

«Учился читать да писать, а выучился петь да плясать».

«О дайте, дайте мне свободу!»

«Хороша кашка, да мала чашка».

«Лучше умереть, чем неправду терпеть».

«Стоматолог, сволочь, деньги взял, а сам не те протезы поставил».

«Я – червь, я – бог, я – раб, я – царь. Да! Царь я! Ца-а-рь!»

«Язык – не только в литературе. Он и у меня есть».

Аспирант отдаёт очередную статью в газету, не лишает себя удовольствия снова ковырнуть нас уже ставшей мифической премией и в задумчивости подходит к фотографии. Появляется ещё одна надпись:

«Сколько крови, сколько пота

Для прекрасных лётся дам...»

Ничего не скажешь: и насмешливо-галантный, и умница, и стервец, конечно.

Прискакали две девчонки, Нинка Цаплина и Танька Светова. Цаплина притащила заметку о семинаре по политэкономии (так себе, слабенькую не только по мысли, но и по грамматике), Светова – собственные стихи. О любви, конечно. О чём же ещё? Но вполне сносные.

Танька Светова... намертво влюбилась. А он, похоже, и не подозревает об этом. Они не только в разных группах, но и на разных факультетах. Поводов видется почти никаких. Поэтому она бежит к нам в редакцию, ловит его у нас. Я бы этого и не заметила, если бы не подсказала её подружка Цаплина. И тогда целая драма открылась мне.

Её пассия – тот самый черноволосый, с блестящими серыми глазами студент-юморист приборостроительного факультета Пашка Дернов. «Прибо-

ристы» – элита нашего института. В основном – мальчишки, раскованные, остроумные, живые.

Нечаянным мотыльком Танька впархивает на стул рядом с Пашкой:

– Хохмите, парниши?

Пашка загораживает текст с рисунками ладонью. Новогодний юмор – эксклюзив. Он не должен раньше времени полыхнуть и гулять по институту. Но Танька не отстаёт:

– Да ладно, изобрази.

Таланты требуют вознаграждения здесь и сейчас. Второй студент, Витька Розенберг, давясь от смеха, вынимает листок из-под руки товарища и протягивает девчонке. Но Таньке не до смеха: Пашка и не глядит на неё. Тогда она заходит с другой стороны:

– У нас вчера военное дело вёл Кап Кап Самогон. Весь курс с ног валится от его высказываний. Недавно начал занятия с фразы: «У пивяки есть голова. Она умная».

Все смеются. В том числе и Пашка. Танька цветёт. Кап Кап Самогон – это прозвище майора Карпа Карповича Недогона. Частенько он бывает пьяненьким. Чем больше выпил, тем прямее и напряжённее держится. И по тому, насколько деревянно прямо он идёт, студенты судят о степени его опьянения.

Звонок. Ребят сдувает из редакции. Остаётся аспирант. Обычно он всегда занят, всегда торопится. А тут расселся, мнётся и не уходит. Наконец подсаживается ко мне.

– Я тут стихи принёс. Может, напечатаете.

Ещё один стихотворец. Я удивлена. Обычно стихи отдают Инне. Она и судит: казнить или миловать, то есть печатать или нет.

– Я вам стихи посвятил.

Вот ещё новость. Не надо бы это говорить при Инне. Точно не даст в печать. Так и есть. Прочитав, я, соблюдая субординацию, кладу стихи ей на стол. Пробегая листок глазами, она демонстративно кривит губы, но не выбрасывает его, а кладёт в растрёпанную бумажную папку. Завязывая тесёмки, произносит уже давно известную мне фразу: «Запас карман не трёт». Значит, есть надежда, что когда-нибудь они появятся в газете. А может, и не появятся, просто не хочет вредничать при нужном корреспонденте.

Маринин умён. Сразу всё срисовал, всё понял. Украдкой подмигнул и вышел из редакции.

Людской поток в редакцию поутих. Ну, хоть поработаем в тишине.

Зря мы расслабились. Дверь чмокнула, и на пороге возник первокурсник машиностроительного факультета Аркашка Пожарский. Как корреспондент Аркашка для нас не представляет интереса (парнишка малограмотный и незрелый), но... Мы обязаны всех любить и привечать. Никто не знает, каким соком нальётся тот или иной фрукт к концу учёбы. А в жизни?! К тому же Аркашку мы действительно любим: мальчик чистый, наивный, ещё не испорченный жизнью. В широко распахнутых глазах – ожидание счастья и святая вера в справедливость. Детство провёл с удочкой на берегу моря в пригороде Феодосии. Окончив школу, неожиданно подался в наш город и неожиданно для родных и дворовых шалопаев поступил в вуз. Обучение в то время было бесплатным. Пожалуйста, получай знания, бери горстями. Только экзамены сдавай прилично. Будущее Аркашки у всех вызывало уважение и надежду на лучшую жизнь. Инженер... Машиностроитель... Вот так Аркадий! Все его знакомые были рыбаками или разнорабочими в порту,

на заводах. Много пили, дрались, били жён, подруг, двигались по проторенной многими поколениями дороге и не имели никакого желания поменять образ жизни. Как в этой обстановке Аркашка сумел сохранить чистоту, доверчивость и наивность – загадка.

В музее своего великого земляка Айвазовского умудрился не побывать. Похоже, приятели парня не очень-то интересовались жизнью художников, актёров, учёных. Не подозревал о другом мире и Аркадий. Клятвенно обещал сходить. И правда, после зимних каникул прибежал к нам: в музее был, Айвазовского открыл для себя. «А море, море у него какое! – захлёбывался он от восторга. – Уж я-то вырос на море. Повидал его в разных состояниях. Да, могучий художник! Вот только небо у него часто тревожное какое-то».

И теперь очередная радость захватила всё Аркашкино существо.

– А я в киоске английский журнал купил, – сообщает он громогласно.

– В каком киоске? – спрашиваю я без особого интереса, лишь бы не оставить его слова без внимания.

Инна даже головы от гранок не подняла. Она вообще чихает на всех, кто ничем особо не примечателен, кто не имеет должностей и званий. Зато перед человеком с громким социальным статусом торопливо вскакивает с полной готовностью исполнить его малейшее желание.

– Да тут, в институте. На втором этаже.

С ума сойти... В нашей стране английские журналы появились... И даже студентам их продают. Глядишь, и железный занавес скоро упадёт. Может, и цензура не так свирепствовать будет. А то спасу нет: к каждому слову цепляются.

Прошло несколько дней. Члены комитета комсомола, девушка и два парня, делали очередную проверку в общежитии машиностроителей. Ходили по комнатам и ставили оценки за соответствие нормам и правилам общежития. А сводились они в основном к следующему: не оставлять на ночь людей противоположного пола (комиссия могла нагряться и за полночь), не возвращаться со свиданий после одиннадцати (тут на страже бдел вахтёр, поэтому влюблённые проторили дорожки через окна первого этажа), не бухать (явно и длительно), не драться, не бузить, не орать в ночное время (желательно и в дневное), не трогать нечаянно забытую кем-то еду на плите общественной кухни, не оставлять невытую посуду, не кидать грязные носки и сорочки под кровать, стираное бельё отправлять в сушилки, а не развешивать на стульях и батареях. Да разве перечислишь все правила, которым надо следовать, чтобы позволено было пользоваться общежитием?!

Среди проверяющих был и секретарь комитета комсомола факультета Мишка Бурмаков, высокий парень, с комсомольской озабоченностью на лице, уже окончивший институт. Особых талантов по профессии он у себя не обнаружил и потому подался в комсомольские вожди. Но сделать молодёжно-партийную карьеру не так-то просто. Мишке надо было выслуживаться, и потому придирался он ко всему и ко всем необычайно. Его побаивались и не любили.

Комиссия уже побывала почти во всех комнатах. Кого-то похвалила, кого-то отругала, кого-то рекомендовала на Доску почёта, кого-то взяла на заметку (если ещё раз... когда-нибудь... кто-нибудь... то... пеняйте на себя...). И вдруг в одной из комнат взгляд Мишки споткнулся о листок, прикрепленный кнопками к стене над кроватью.

– Вот это находка! – обрадованно взвыл он. – Чья кровать?

– Моя, – ещё не чувствуя беды, признался Аркашка Пожарский.

– А это что? – Мишка побарабанил тыльной стороной пальцев по листку.

- Расписание.
- Чего?
- «Радио Свобода. Би-Би-Си».
- Где взял?

– В английском журнале. Я его в институтском киоске купил.

Аркашка начал подозревать неладное, хотя вины за собой никакой не чувствовал.

- Ты что, на вражескую разведку работаешь?!
- Почему? Ни на кого я не работаю.

– Вот это мы и выясним на ближайшем заседании комитета комсомола.

Придётся к нам... послезавтра часа в два. Будем решать твою судьбу.

- И что мне светит?

– В лучшем случае из института выгонят. Моли бога, чтобы органы тобой не заинтересовались.

Аркашке не к кому было обратиться за помощью. Он примчался к нам. В лице – отчаяние, в глазах – слёзы. Он стоял посреди редакции и, почему-то разводя руки в стороны, недоумённо повторял:

- Не должно быть так! Это неправильно. В чём же я виноват?

Инна сорвалась с места и, припадая на одну ногу, полетела в комитет комсомола машфака. Долго отсутствовала, наконец явилась в каком-то потерянном, разобранном состоянии. На Аркадия не глядит. Но чтобы хоть немного успокоить его, туманно произнесла:

- Думаю, завтра всё устаканется и искусственные бури поутихнут.

Когда обрадованный Аркашка вышел из редакции, сказала:

– Надо сходить завтра на это заседание. Вместе пойдём. Попробуем спасти мальчишку. Из-за надуманной проблемы они грозятся ему судьбу полотать. – Задумалась, пригорюнившись. – Я им такого наговорила, что они могут мне назло на куски его порвать.

На заседание комитета комсомола собралось человек десять. Торжественно и вдохновенно вёл его Бурмаков. Тут же присутствовал и сам «виновник преступления». Ему дали первое слово. Аркашка всё ещё не понимал, в чём он провинился, но уже подозревал, что грядёт беда. Только не знал, откуда и, главное, за что. В распахнутых глазах – та же чистота наивности и безусловная вера в то, что он сейчас всё объяснит и недоразумение будет исчерпано. Как ни странно, я, намного старше его, уже не раз получавшая жизненные уроки, тоже надеялась на здравый смысл собравшихся «судей».

– Журнал я купил в институтском киоске, на втором этаже. Вырезал расписание радио «Би-Би-Си» и повесил над кроватью. Я не знал, что этого нельзя делать.

- Как не знал?! Ты что, не знал, что это вражеская радиостанция?!

– Знал, что зарубежная, а что вражеская и не подозревал. А почему она вражеская? – От этого простенького вопроса Аркашка сам заулыбался.

– Ты ещё и смеёшься?! – взревел Бурмаков. – Тебе, видно, не понять, что этим ты подрываешь идеологические основы системы. Мало того, что сам слушаешь вредоносные голоса, ещё и выставил расписание их вещания на всеобщее обозрение. Хочешь, чтобы и твои товарищи стали врагами советской власти?

- Какие враги?!

Тут уже Инна не выдержала. Бурмаков явно закапывал Аркашку. И любыми путями надо было его остановить. Конечно, мы понимали, что «Би-Би-Си», как и другие радиостанции, участвует в идеологической войне (для того они и созданы). Но для чего надо было продавать английский жур-

нал в киоске крупнейшего вуза города, в котором учится семнадцать тысяч студентов? Демонстрируем свободу слова и надеемся, что журнал никто не купит? Это в стране, где любая информация из-за рубежа на вес золота и ею интересуется каждый человек, особенно молодой. Купит. Кто первый увидит, тот и купит. С радостью. Всё это Инна и выложила «высокому» собранию.

– А почему за это должен расплачиваться мальчишка, который оказался первым?! – Вторила я ей. – Если боимся проиграть в идеологии «проклятым капиталистам», на зарубежной прессе надо ставить печать: «Продаже не подлежит». А не отыгрываться на студентах за собственные промахи. И потом, посмотрите на Пожарского. Где видно, что он – казачок, посланный диверсантом в советскую идеологию?

«Казачок» стоял посреди комнаты, наивно хлопал глазами и явно не понимал, из-за чего сыр-бор.

Бурмаков позеленел. Видимо, почуял, что мы переманили «высокий суд» на свою сторону. И дуло оружия с Аркашки перевёл на нас.

– Очень странно реагируют на данное вопиющее событие члены редакции нашей многотиражки. Вместо того, чтобы стоять на страже учения марксизма-ленинизма, они ведут разлагающую работу среди студентов. Перед парткомом надо поставить вопрос о соответствии сотрудников нашей многотиражки высокому званию советского журналиста.

Вот так. Ни много ни мало. Рта раскрыть нам больше не дали, а попросили, вежливо, правда, (редакцию всё-таки уважали): «Позвольте вам выйти вон».

Почти все комитетчики были студентами (кроме Бурмакова). И каждый из них был бы рад купить английский журнал. И так же, как Аркашка, не подозревая о том, что могут «дело пришить», не только не стал бы прятать расписание «Би-Би-Си» от своих товарищей, а, наоборот, сообщил бы о нём всем. Но напор Мишки был столь силён и опасен, что никто из них пикнуть не смел. Да, именно опасен. Ибо власти могли тебе простить кражу, подлог и даже убийство человека, но не покушение на систему. А тех, кто вольно или невольно замахивался на неё, – к стенке. Не в прямом смысле, конечно (эти времена уже, слава Богу, почти прошли), но наказать могли беспощадно.

Поэтому все как один проголосовали за резолюцию, которую подготовил Бурмаков и в которой были такие слова: «...Аркадия Пожарского... за провокационные действия против Советской власти... исключить из комсомола и рекомендовать администрации вуза отчислить из института».

Аркашка приговор встретил спокойно. Хотя изгнание из вуза для него было равносильно катастрофе. Только в глазах его плеснулось и, казалось, навсегда застыло удивление. Открытость и почти детская доверчивость исчезли. Не оставляло чувство, что он спрятался от всех где-то там, в своём мире, куда посторонним хода нет. К нему уже не пробиться было. И это пугало нас.

Сказать, что мы с Инной были расстроены – это ничего не сказать. Мы бились во все двери. Доказывали, убеждали, объясняли. Подключили и Циткова. Он мог найти нужные слова в любых инстанциях. Но и у него ничего не получилось. А может, и не очень настаивал. Его тонкий, с изящной горбинкой нос всегда чуял, куда можно влезать, куда не стоит. А когда нам пригрозили к чёртовой бабушке разогнать всю редакцию, мы поняли, что даже если ляжем на рельсы, поезд уже не остановить. Что-то где-то закли-

нило, какая-то невидимая, но непробиваемая стена встала между людьми и здравым смыслом.

«Органы» этим «вопиющим событием» не заинтересовались. Понимали всю абсурдность обвинения. Но препятствовать расправе над студентом не стали. В назидание другим... Судьба Аркадия была решена...

Я вяло пошевелила тетради палкой. Белые и чёрные с алым искрящимся ободком хлопья взметнулись над костром и, подхваченные ветром, кувыркаясь, покатались по мокрой земле.

– Да-да. Погиб он, – снова ушла я в воспоминания, – этим же летом. В море утонул. Вошёл в воду и не вернулся.

Может, судороги скрутили парня или сердце не выдержало...

Спихнулись сразу. Забили тревогу. Через час нашли. Но откочать уже не сумели. В распахнутых глазах его были удивление и тревожные краски заката, как на полотнах Айвазовского...

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Мы часто выходим на охоту, то есть отлавливаем своих корреспондентов в длинющих коридорах института и на невидимом аркане приводим в редакцию. Иногда преподавателю или студенту льстит эта охота: редакция считается местом, где тусуются интеллектуалы. Но часто аркан давит шею: ещё вчера обещал принести статью, а до сих пор не написал.

Вот и сегодня Инна под ружьём приводит руководителя научного отдела редакции – молодого преподавателя кафедры строительной механики и теории упругости Юрия Андреевича Иванова, сажает его рядом с собой (напротив меня) и начинает отчитывать:

– Юрий Андреевич, ваш отдел скорее мёртв, чем жив, с чем я вас и поздравляю. Когда работать начнёте?

Иванов мнётся, ему страшно неловко, что он с головой ушёл в науку. Только это и интересует его по-настоящему. А ещё интересуют игра на гитаре, походы на паруснике по морям, жизнь декоративных рыбок в аквариуме, французское произношение, рисование акварелью, технология чеканки и много-много чего ещё. Мысленно чихал он на любые общественные нагрузки, которыми и так богато преподавание в советском вузе. А тут ещё к лекциям надо готовиться, новый курс осваивать. Ну до редакции ли?!

Иванову тридцать пять лет. Он уже доктор технических наук. Защитился без всякого напряжения. Просто посоветовали ему оформить те научные данные, которые уже опубликованы в статьях. Учёных на различных конференциях поражала его молодость:

– Судя по зрелости ваших разработок, мы думали, вам не меньше пятидесяти.

Козырная карта вуза – это про него. Не стыдно показать всяким залётным гостям, ибо даже внешне очень хорош собой: волнистые волосы спускаются до плеч, красивое интеллигентное лицо украшают живые карие глаза и лихие мушкетёрские усы. Про себя я его так и зову – Д'Артаньян. Для меня – загадка: как он сумел отстоять свои длинные волосы и вызывающе мушкетёрские усы в вузе, где женщинам запрещается ходить в брюках, а мужчинам носить усы и бороды. Секретарь нашего парткома после второго предупреждения пообещал меня выгнать из института, если ещё раз уви-

дит в брюках. Ведь в редакцию любой многотиражки взять можно кого угодно. Чем глупее работник идеологической сферы (а именно так мы называемся), тем легче им управлять и проще его контролировать. А в газетном деле всё равно мало кто понимает, а поймёт – промолчит; не промолчит – срам останется внутри вуза. Поэтому вышибли бы меня глазом не моргнув. Сначала надумала обидеться на секретаря. А как ему это изобразить? Ему до меня дела как до мухи на варенье. Даже если зажужжит перед носом, проще прихлопнуть. Тогда до меня дошло: кот, когда ему делать нечего, лижет то, что под хвостом имеет. Так и партком: надо же ему чем-то заниматься, вот он и гоняется за брюками и усами. От этой мысли мне стало смешно, и я легко вернулась к юбкам.

А вот с наукой позориться на весь мир ой как не хочется. Д'Артаньяна наголо не обрили, наверное, ещё и потому, что на всяких научных конференциях и дома, и за бугром его демонстрировали иностранцам: гляньте, мы не только делаем ракеты, но и свободу блюдем в усах и причёсках. Кстати, обритый наголо человек (если он не очень старый и не имеет плешь во всё темя) – тоже вызов системе, политике партии и правительству, учению марксизма-ленинизма. Ходи «под бобрлик», сантиметр больше или меньше – уже идеологическая диверсия. Но слопать Д'Артаньяна никто не решался: на такой простор вырвался, что стал не по зубам мелкопоместным вождям. Слава его ещё со студенческих лет в науке гремела. Он даже был почётным гостем на Фестивале болгаро-советской дружбы. Оно, конечно, Болгария не Соединённые Штаты. И тем не менее от нашей страны пригласили всего четырнадцать человек (из 150 миллионов!). Вот так. Ай да Д'Артаньян!

Во мне он чувствует тайного союзника, хотя я тоже кровно заинтересована, чтоб он пахал на нас. И всё же на мораль Инны, тяжело вздыхая и чуть отвернувшись от неё, он смешно таращит глаза и виновато пожимает плечами. Вот только усы никак не демонстрируют раскаяния и помимо его воли растягиваются в улыбку. Интеллигентность, воспитание и сочувствие нашим проблемам не позволяют ему послать нас в Африку или на остров Пасхи. Поэтому он обещает заспать редакцию статьями и, последний раз тряхнув волнистой гривой, выходит в коридор.

Небо пробило облачную пелену: кусочек голубого ситца. Ласково взглянуло на мой сад. А тут и солнышко высунулось. Сквозь туман и непогоду протянулись лучи на деревья, мокрую землю, на мою сказочную избушку-развалюшку. И жизнь ахнула красотой. И то, что минуту назад казалось мрачным, тусклым, беспросветным, вдруг ожило, расцвело, заиграло. И каждая капелька на листьях, на траве уже блистала и переливалась. Но длилось это недолго. Вскоре облака спохватились, залатали голубизну, задёрнули солнечную вакханалию и, как и положено, вернули осень на землю...

А воспоминания мои тянули нить прошедшей молодости.

Через несколько лет, в самые трудные для страны девяностые годы, Д'Артаньян стал ректором этого крупнейшего в городе вуза. Говорили: упирался, не хотел рулить. Главным для него была наука. Вынужден был постричься, сбрить усы. Видно, обязывал новый статус. Студентам пример должен показывать. Внешний вид уже не отличался от облика обыкновенного чиновника (может, поэтому отказывался рулить?).

В отличие от героического мушкетёра Дюма, Юрий Андреевич громких подвигов не совершал, на шпагах не дрался, королевских подвесок не добывал. Просто не мешал событиям идти своим чередом. По инерции в институте всё шло по накатанным многими десятилетиями рельсам. Возможно, именно это и спасло его в то время, когда в любой, самой скромной конторе совершались революции, гибли авиационные и вагоностроительные заводы, закрывались шахты, действующие подлодки продавали за рубеж по цене автомобиля. Государство не могло содержать школы, больницы, вузы. Зато повсюду открывались сомнительные «образовательные» заведения, религиозные секты с шустрыми «пророками» во главе. Бразды правления в разваливающихся и вновь создаваемых организациях спешно прибирали дельцы и мошенники. Наверное, Д'Артаньян и им не мешал. Его помощники делали в его королевстве всю основную работу: размахивали дубинками над головами разбойников, а то и кормили пряниками с вузовского стола.

И всё же непросто было стоять во главе такого вуза. Ох, непросто... Но институт не только выжил, а стал техническим университетом. В то время многие организации, даже самые захудалые, переменной имени пытались приобрести более высокий статус. И тем добивались значительных привилегий: больше престижа, выше зарплата, больше возможностей залезть в государственный карман, шире простор, длиннее дорога. Но не в данном случае. Вуз действительно был огромным, многопрофильным, обучал тысячи студентов на многих технических факультетах, на кафедрах велась большая научная работа. И давно соответствовал университетскому званию.

Так что Д'Артаньяну – слава! И правлению его – ура!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Инна заболела. Правда заболела. И серьёзно. Халтурить она не умела. И не хотела. Кроме газеты, в жизни у неё ведь ничего не было. А сейчас температура прыгнула под сорок. На ногах не стоит.

Подготовка и выпуск очередного еженедельного номера рухнули на мою голову. Но я ещё не знала всех тонкостей газетного дела. Не знала всех наших корреспондентов, не знала, как договариваться с корректорами, наборщиками, верстальщиками и печатниками, не знала предельных сроков выполнения каждого этапа, чтобы газета вышла в срок. А сроки были жёсткие, так как типография печатала не только нашу газету. Знала только, если не выйдет номер в положенное время, мне припишут идеологическую диверсию. И в лучшем случае с работы погонят.

Господи! Никогда не забыть мне эту неделю! По городу, в институте и в типографии я так носилась, что у людей в глазах рябило. А воздух после моего пробега заворачивался в торнадо и долго крутился, втягивая в себя всё, что попадало на пути: людей, упавшие папки, тетради, институтскую пыль, принесённую в бесконечные коридоры множеством ног. Не помню, приходила ли домой. Наверное, приходила. Поспать. Хоть несколько минут.

Господи! Как я старалась! Уж не из-за грядущей расправы. Мне, как в войну, надо было взять эту высоту. Любой ценой. Корректны ли эти слова? Всё-таки в войну за невыполнение приказа расплачивались жизнями, да и за выполнение – тоже. Но то, что я не попала под машину, не провалилась в преисподнюю, нечаянно или намеренно не убила никого – тоже чудо.

Считалось, что многотиражку делает коллектив предприятия, который её выпускает. Формально так оно и было. Под заметками стояли подписи

вполне конкретных людей. Фактически же вся работа падала на одного-двух штатных сотрудников.

Тот, кто пробовал кого-либо заставить работать на себя (абсолютно бескорыстно), знает, как нелегко это сделать. Надо быть другом этого человека или дипломатом. Или Мефистофелем. Или КГБистом. Или инопланетянином, имеющим неконтактное влияние на психику и мозг людей.

Ловлю в коридоре корреспондента.

– Статью!

– Некогда мне было. Срочно курсовую делал.

Меня окатывает паника:

– Дыра в газете.

Видно, лицо меняется, потому что корреспондент торопливо произносит:

– Завтра принесу. Обязательно.

Назавтра он просто забыл про меня. Но я предусмотрела и это. Подстраховываюсь: вместо двадцати заметок заказываю тридцать-пятьдесят. Но их заказать надо! То есть в день-два придумать темы статей, разыскать на кафедрах или в студенческих группах тех, кого можно уговорить забросить свои дела и заняться моими. А потом ещё выбрать из них заказанный материал. И если тебе удалось избежать всех подводных камней и на столе у тебя скопилась горка жёванной бумаги с куриными пометками на ней, ты понимаешь, что это – только начало работы. Почти все статьи надо обрабатывать, дабы «дурь каждого» не была видна.

А потом...

В литейном цехе не хотят отливать новую заметку, ибо предыдущую забраковало ЛИТО. По шее, разумеется, достаётся мне. Ну я-то при чём! Распоряжения ЛИТО хочешь не хочешь надо выполнять. Метранпаж отказывается поменять жирную чёрную рамку на докладе второго секретаря обкома КПСС. Эту рамку усмотрел Цитков («Где мозги твои, девка, это же траур по живому человеку, тем более – секретарю обкома!»). Он так брызнул ядом, что с полчаса я отмывала его в туалете. Хотя понимала, что спас он меня действительно от более свирепой расправы. К тому же не успела сделать подписи к фотографии. Пришлось придумывать на ходу. Иногда меняла и фотографии, и подписи. И каждый раз не обходилось без подзатыльников. От всех: литейщиков, метранпажа, печатников, корректоров. Подчас люди ко мне относились даже сочувственно. И тем не менее какое это – бесконечно переделывать! Я тоже всем сочувствовала. Но газету мне надо было сделать хорошо. Надо! Я крутилась, вертелась, уговаривала капризных, умоляла строгих, обещала нерешительным, в гневе краснела, в испуге бледнела, обливалась потом, дрожала от ледяных ветров – и всё же добивалась своего. Словом, не раздумывая, бросалась на амбразуру.

А знаете ли вы, что такое ЛИТО?

Это – цензура. Ну и свирепствовала она тогда! Как правило, символом её был дядечка с немигающим взглядом (скорее всего, вышедший в тираж КГБист), который подозревал тебя во всём (от зловредных действий по свержению партии и правительства до тайных диверсий по уменьшению ледяного панциря Антарктиды и провоцирования сейсмической активности на Камчатке), и задача которого была: «Не пущать!»

«На одном из заводов города студенты проходили практику». Вот нельзя писать: «на одном из заводов». Значит, завод секретный. Значит, это наводка для шпионов. Значит, ты работаешь на врага. И враг придёт к этим студентам и явно или тайно выпытает у них все военные и невоенные секреты. И завод тоже нельзя называть, даже если, кроме женских шпилек для волос,

он ничего не выпускает. Ибо и количество шпилек на женскую душу населения – тоже бо-о-льшая военная тайна. Каждое слово могло обернуться против журналиста. По всей стране ЛИТО утюжило и корёжило тексты, выхлещивая из них и смысл, и красоту слова.

Правда, сейчас, чтобы печатная продукция была чище, не мешало бы запустить некоторые функции этой милой бульдозерной организации, запретив порнографию, мат, нравственную вседозволенность и безграмотность. И только. Больше не надо.

По понедельникам к нам в редакцию привозили весь тираж газеты (полторы тысячи экземпляров). Часть его мы относили в приёмную ректора, в партком, на кафедры. Оставшиеся номера лежали на столе в редакции. Забегавшие к нам студенты и преподаватели брали кто сколько хотел. Подозреваю: не всегда брали для чтения. Страна тогда ещё не знала о туалетной бумаге.

А вот и Инна пришла. Ещё не совсем выздоровела, но... Как сама она говорила, работа для неё – лучшее лечение. А скорее всего, ей надо было узнать, не провалилась ли без неё газета в тар-та-ра-ры. Когда она брала номер в руки, на лице было написано: лучше бы провалилась. Поэтому её интересовали не достоинства – она искала недостатки. А ведь на любое событие, предмет или действие можно взглянуть по-разному. И в шоколаде – отравя. Я ещё не знала этого. Я гордилась своим первым детищем, была счастлива красотой оформления, глубиной и злободневностью содержания статей. Правда, с души ещё не сошли все синяки, полученные во время создания газеты. Но это было уже в прошлом. А сейчас... Я радостно выпятила грудь в ожидании орденов.

Скажите матери, что носик и ушки её только что родившегося дитяти некрасивы – и вы навсегда станете её врагом. Ту неприязнь, ревность и недоброжелательство слов Инны при первом чтении «моей» газеты можно было бы и не вспоминать. Но на протяжении многих лет они окатывали меня всегда, когда речь заходила о моей работе. Однако из-за её врождённых увечий и безусловных достоинств я всё-таки жалела её и старалась не замечать брызги яда, постоянно летящие в меня. А в то время даже не понимала, как она душит, морозит и выпальвает во мне те жизненные ростки, которые делают человека индивидуальностью, отличают его от других людей. Не помню, чтоб хоть раз она за что-то похвалила меня. И даже о моём первом самостоятельном номере, который с таким трудом я делала одна (и всё-таки сделала!), только и слышала: фотографии не на том месте; заголовок не тот («Был другой, Цитков поменял» – «Ах, Цитков, ну это другое дело!»); рубрика не по теме, отредактированы статьи плохо... Да и вообще всё – «бездарно», «глупо», «безграмотно», «отвратительно», «безобразно». Кроме неё, никто таких слов мне не говорил.

По возможности стараюсь быть объективной. И не собираюсь сваливать на неё какие-то свои неудачи (чего-то недобрала, чего-то не хватило, до чего-то недотянула). Я просто жила, занималась тем, что нравилось. Но из-за того, что она в самом начале душила то там, то тут вылезавшие творческие зародыши, я падала духом, не верила в себя, занижала самооцен-

ку. И не пыталась брать какие-то высоты. Не пыталась, но брала. Не стремилась, но добивалась. Не верила, но шла вперёд. Меня вёл инстинкт. Всё как-то нечаянно получалось, само собой, без всякой подкормки, подпитки, без искусственных возбудителей и красителей, без тычков и стимуляторов сама брала встающие передо мной крепости. Даже и не всегда штурмовала, а некоторые возникающие перед моим носом дубовые ворота, амбарные замки, железные двери как-то сами распахивались...

...А вот сейчас я не стерпела. Достала она меня!

В этот же день я позвонила в редакцию многотиражки родного университета. Меня там хорошо знали ещё со студенческих лет и согласились взять на работу без всяких условий.

На следующий день объявила Инне о своём решении. Она остолбенела. На побледневшем лбу выступили капли пота. Сорвалась с места и куда-то надолго исчезла. Явилась вместе с Цитковым.

Яков Давидович пришёл вроде бы за делом. Он перебирал бумаги на своём столе и как бы нечаянно задал вопрос:

– И куда же ты лыжи наострила?

Я замялась. Воздух в редакции застыл в напряжении.

– Говори, чего уж там, – в голосе мягкие, задушевные, почти отеческие ноты. – Должны же мы знать, на кого ты нас променяла.

– В многотиражку университета.

Мне было стыдно. Я чувствовала себя предателем, Иудой. Щёки мои полыхали, пот бисером выступил уже на моём лбу.

– Жаль. Только начала вживаться в работу. Обросла людьми. Вот и газету выпустила. Вполне приличную.

Знал бы он, как Инка полоскала меня час назад. Впрочем, скорее всего знал. Она обожала его и всё рассказывала.

Решил разрядить напряжение:

– Ну, чего надулись? Хотите хохму? В одесском трамвае: «Граждане, покупайте-таки билет, или я всю дорогу буду делать вам стыдно!»

Мы молчали. Не до смеха было.

Он понял это. Забрал со стола какие-то бумаги и, больше не говоря ни слова, вышел.

– У-у-ф! – выдохнула я с облегчением.

Я не думала, что объяснение будет таким коротким. И даже была несколько разочарована тем, что Цитков не стал уговаривать меня остаться. Горькая мысль змейкой пробежала в голове: «Раз не нужна, значит, и правда – бездарь».

Всё. Объявила о своём уходе – пора манатки собирать. А чего собирать? У меня, как у солдата, всё с собой: авторучка, расчёска, губная помада. Написала заявление, подала Инне. Она метнула на меня загадочный взгляд, натянула губы на крупные передние зубы и прошипела:

– Не торопись. Может, ещё передумаешь.

Я иронически хмыкнула, но спорить не стала.

И вдруг большие, опушённые густыми ресницами глаза её стали наливать слезами.

– Не уходи! Мы ведь уже сработались с тобой. Я тебя многому научила. Уйдёшь, мне ведь другого на себе тащить придётся, пока он в курс войдёт. И ещё неизвестно, войдёт ли...

В голове промелькнуло: «То, что я терпела мордобой – это и есть «сработались»? Я глядела на неё, и сердце моё рвалось в клочья. Мне было жаль её. Я знала: уходить от неё будут все. Идиотку, которая позволяла бы делать

из себя боксёрскую грушу, она не найдёт. А сама не изменится. Людоедство – в её натуре. Видимо, подозревал об этом и Цитков. Так зачем менять литсотрудников, надо, как бабочку, намертво пришпилить к редакции того, кто уже имеется. В этот же день не раздумывая он позвонил в редакцию университета и наговорил обо мне такое...

Что он наговорил, я так никогда и не узнала. Но меня не взяли: знаете ли, нет мест... ждать не стоит... и не предвидится... да-да, вчера показалось, что есть место, сегодня – уже нет... и в обозримой дали – вряд ли будет.

Я была в ярости. Не на Инну, не на Циткова. И не на университетских работодателей. На себя! Ну, спрашивается, кто меня за язык тянул?! Нормальные люди разве сообщают о новом месте работы?! То-то Цитков не стал меня уговаривать... Он сразу задумал так обгадить, чтоб все редакции шарахались бы от меня, как от бубонной чумы. Ведь газет в городе не так уж и много. И новости, как пожар, становятся известны в любом месте. А библиотекарем, учителем или корректором в издательство, они знали, я сама не пойду. Тесно мне там. Скучно.

Я рвала на себе волосы, швыряла бумаги и стулья в редакции, громыхала тяжёлыми дубовыми дверями. Опасаясь гнева моего, Инка обходила меня стороной, разве что не ползала по паркету. И даже Цитков был тихим и виноватым. Голос его всё ещё звучал отеческими и задушевными нотами. Я знала цену этих нот. Считала их подлыми. И не скрывала этого. Инна и Цитков терпели моё буйство. И это удивляло меня.

А потом я смирилась. И продолжала работать. Некуда мне было податься. Похоже, на это и был расчёт.

Молодость тем и хороша, что, как капли дождя, легко стряхивает все неприятности. Тем более что события в редакции ни корреспондентов, ни друзей не затронули. И людской водоворот, центром которого по роду своей деятельности мы были, не прекращался.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Считается, что летние каникулы у студентов длятся два месяца. Но хотя бы один они должны отработать в стройотряде, или на овощебазе, или в колхозе, или на ремонте родного института. Словом, нечего пропадать бесплатной рабсиле.

Но больше всего везло тем, кого определяли на строительство институтского спортивного лагеря. На другом берегу Волги, далеко за пределами города и бдительного взгляда начальников разных мастей, в центре лесного массива начали ставить палатки, деревянные домики, прокладывая извилистые тропинки между деревьями. Рядом плескалась большая река. А в лесу от её весеннего разлива всё лето сохранялись озёрки и прудики, полные карасей, щук и раков. Денег, как всегда, было мало, стройматериалов не хватало, студенты и опекавшие их преподаватели особо не напрягались и не столько работали, сколько рыбачили, влюблялись, собирали грибы и ягоды и вообще дурака валяли, то есть – отдыхали.

Накапливать материал для первых осенних номеров газеты послали туда и меня.

Часа полтора я тряслась на стареньком военном «газике» (он на балансе военной кафедры числился) сначала по щербатым улицам города, потом по недавно отстроенному длинному и узкому мосту над животом валяжно разлётшейся огромной реки (Ай да ширь! Ай да красота! Ну где ещё такую мощь встретить можно!), потом – по ухабам просёлочной дороги. Рядом

со мной подскакивал и мотался от асфальтовых выбоин и грунтовых ям аспирант Сергей Петрович Маринин. Он оказался временным заместителем начальника нашего летнего лагеря и охотно взялся подвезти меня. Всю дорогу он развлекал меня тем, что вполне серьёзно пытался выяснить, куда мы всё-таки дели его литературную премию. Ну достал меня! Однако вместо того, чтобы разозлиться, я решила поставить окончательно жирную точку на этой премии.

– Пропили и съели.

То ли в шутку, то ли всерьёз он озадаченно спросил:

– Где?

– А это важно?

Я тянула время, чтобы вспомнить хоть какой-нибудь кабак в городе. В то время мы в рестораны не ходили, скудной зарплаты хватало едва-едва прикрыться и, не привередничая, что-нибудь поесть. И не подозревали, что бывает другая жизнь. А потому были счастливы. Правда, в течение года откладывая кое-какие гроши, с друзьями или в сольном исполнении я могла на выходные помчаться на любую залётную выставку или спектакль в Москву, Ленинград или какой-либо другой город. И вот там мы кутили. Нет, мы не посещали рестораны вечером. наших капиталов не хватало бы расплатиться за чай с лимоном. Мы пировали днём. Кухня та же, а цены были столовскими.

– И ты тоже, Брут, пропивала мою премию?

– Ну, разумеется. Как сейчас помню: твою премию (Ах так! И я перешла на «ты»!) мы преступно проели в ресторане «Волга». Заказывали... Заказывали узбекский лагман, кавказскую бастурму, болгарские сухие вина и настоящее шотландское виски. Вот.

Память всё-таки сохранила кое-что из дневных столичных кутежей.

Тут изношенные рессоры так подбросили «газик», что мы чуть не вывалились из него. Сергей Петрович вовремя схватил меня за руку.

– И зачем же ты наговариваешь на себя? Когда мне присудили премию, ты ещё не работала у нас.

– Ну и что, уже тогда я настолько была развращена, что покушалась на твои вполне заслуженные награды.

Он не выдержал, засмеялся.

– Ладно. Не обижайся. Эта премия – повод поговорить, ближе познакомиться. Может, не совсем удачный. Обещаю: терроризировать больше не буду.

– И на том спасибо. Только этого мало, – самым наглым образом я начала торговаться. – Напишешь статью о строительстве лагеря. О студентах, преподавателях. Как работали, как отдыхали. Словом, не маленький, сам знаешь. Недаром побеждал на литературных конкурсах.

– Даром. Даром! Забыла? Премию я так и не получил.

– Опять? Ты же обещал.

– Это так, к слову. Ладно, так и быть, напишу статью. И даже готов ночную рыбалку организовать. Вот.

Я чуть отстранилась:

– Почему ночную? Днём нельзя?

– Днём дела у меня. Срочные. Думаю, и тебе будет некогда.

Мы въехали в лес. «Газик» долго кренился с боку на бок на просёлочной дороге. Наконец между деревьями мелькнул первый деревянный домик, затем – второй, стайка палаток притулилась к буйному кустарнику, мимо проплыла интимная будка с двумя дверями, и стало ясно, что мы прибыли

на место. Расшатанный, гремящий всем железным нутром «газик» вызывающе лихо подкатил к крыльцу домика с надписью: «Столовая».

– На обед пожалте, – вытаскивая меня из машины, в нарочитом поклоне произнёс Маринин.

– Да с удовольствием! И не надейтесь, что откажусь.

Я величаво проплыла в открытую нараспашку дверь.

И правда, после обеда мне вздохнуть было некогда: устраивалась на постой, разыскивала знакомых, заказывала статьи. И между делом собирала грибы. Лето было дождливое, и грибы пёрли из земли повсюду. Идёшь в интимную будку, а прямо на тропинке – белые воронки груздей (даже кое-где раздавленные чьей-то преступной ногой). Иногда взгляд споткнётся о красно-коричневую шляпку подосиновика, чуть в сторону – с нахальным вызовом и не прячась вовсе – вот он, молоденький подберёзовик собственной персоной. Почти у каждого домика или палатки на кустах покачиваются связки резаных и уже вяленых от ветра грибов. Я ошалела от такого изобилия. Разговариваю с человеком, а сама лихорадочно шарю глазами по земле. И не дай бог, если увижу лесной подарок! Беседу обрываю на полуслове, срываюсь с места и, ломая кусты, волоча на себе чужие грибные гирлянды, толкая встречаемых, имевших несчастье оказаться на пути, коршуном кидаюсь на гриб.

Вечером, переваливаясь на ухабах и грузно подсакивая на корнях деревьев, «газик» не торопясь тащил нас в глубь леса. Просёлочная дорога ещё была видна, но по бокам лес уже густел и сливался в одну бесконечную, на глазах темнеющую декорацию. Моя грибная душа стонала от мысли, сколько живых даров подавила эта противная железно-резиновая таратайка. Хотя ими я уже успела завалить себя от пяток до последнего вихра на голове.

На ночную рыбалку напросились наши юмористы Витька Розенберг, Пашка Дернов, ну и, разумеется, неразлучные подружки Нинка Цаплина и Танька Светова. Трудовое воспитание в этом году им тоже выпало проводить в институтском лагере.

По каким-то своим еле заметным приметам водитель свернул с грунтовой дороги в уже совершенно чёрную густоту леса. «Газик», ломая кусты, немного попетлял между деревьями и ткнулся радиатором в земляной бугор. Шофёр выгрузил нас и вскоре уехал.

Бугор оказался краем небольшой лужицы, размером тридцать-сорок квадратных метров, которая кишела карасями и раками. Установили фонари, парни разделись и сетями на палках стали попарно грести по дну лужи.

Не рыбалка – сказка. Свет фонарей выхватывал из темноты то рукастую ветку с лохматой гривой какого-то чудовища, то текучий хвост русалки под ослепительным блеском воды. От налетевшего ветра камыш зловеще скрежетал латами Кощя Бессмертного. Над вершинами деревьев на Коньке-Горбунке пролетел Иванушка-дурачок, чиркнул по небу пером Жар-птицы и в погоне за счастьем скрылся за чернильными макушками. Где-то в лесной глухомани, потревоженный, ухнул филин – и спохватился, и затаился. Иногда на фоне освещённых стволов мелькал чей-нибудь искажённый профиль, а то показывался такой могучий торс, какого и в природе не бывает, разве что у Святогора-богатыря.

За какой-то час набрали ведро раков и ведро золотых карасей. И то долго раздевались, с опаской лезли в незнакомую, полную пиявок и прочих неожиданностей воду, переключались, вздрагивали от водорослей, обнимающих ноги, выковыривали из сетей бьющуюся рыбу и колючих упирающихся раков.

Волга оказалась рядом. На песчаном обрыве развели костёр и, пока раки пытались выползти из закипающего ведра, на ближайшем пне разделявали карасей. Они не давались в руки, прыгивали на траву. И, даже выпотрошенные, очищенные от чешуи и обезглавленные, не сдавались. Зато уха... С перчиком, лаврушкой, ещё зелёными зонтиками укропа... Какая уха была! Её всё время хотелось есть. Думали, никакая сила не остановит, так было вкусно. И всё же ведро ухи мы одолеть не сумели. Несмотря на свежий воздух и зверский аппетит. Несмотря на то, что ели почти всю ночь. А тут ещё раки да круги колбасы, захваченной из города, ароматная копчёная рыба да крутые яйца, пупырчатые огурчики да крупно резанные, с розовой слезой помидоры, хлеб и даже домашняя выпечка, до которой и руки уже не в состоянии были дотянуться...

А ночь... Боже, какая ночь была! Тёплая, бархатная, нежная... Горел костёр, звёзды перемигивались со сверкающим на другом берегу городом; река под обрывом, как огромное чудище, кряхтела и ворочалась во сне; о чём-то своём, о вечном думал притихший перед рассветом лес...

Сначала команда наша была какая-то разнобойная, каждый сам по себе. Девчонки пытались расшевелить ребят, много смеялись, неестественно взвизгивали. Парни тоже чувствовали какую-то неловкость, в расчёте на слушательниц излишне громко переговаривались, пробовали заигрывать, но тут же смущались, и смущение их было видно. Постепенно рыбалка и ужин сблизили нас. Да и ночной костёр создаёт особую дружескую атмосферу, делает людей мягче, толкает их друг к другу, какие-то путы срывает, что-то освобождает в них.

Вскоре студенты парами разбрелись по лесу. У костра остались я и Маринин. Мы болтали о том о сём. Вдруг сидевший рядом Сергей Петрович без всякой артподготовки повернулся ко мне и молча, всей тяжестью своего тела начал валить на землю. Я стала сопротивляться, вывернулась из-под него и, нервно отряхивая одежду, строгим учительским голосом спросила:

– Это куда же ребята подевались?

Маринин тоже поднялся, отряхнул колени и ворчливо произнёс:

– В отличие от нас, они не теряют время. Где-нибудь в сотне метров кусты пишат от их любви.

– Скорее – дрожат, – усмехнулась я.

– Э-э, да что мы им, классные дамы? – несколько поменял он тему нелепого разговора и досадливо махнул рукой. – Самостоятельные взрослые люди. Пусть делают что хотят.

– Кто бы возражал...

Помолчали. Вдруг он гневно вскинулся:

– Я что, павлин, чтоб хвост распускать перед дамой сердца?! Нельзя без этого обойтись? Нам ведь не по пятнадцать лет. Можно было бы оставить условности.

Нет. С условностями лучше всё-таки. Не животные же мы. Хотя и животным в любви нужны элементы игры и красоты, наверное, даже своеобразного романтизма и пусть временного, краткосрочного обмана. Обмана не партнёра – самого себя. И у животных, наверное, в голове кружение, ускоряться крови бег. А уж мы-то, люди. Нам природой предназначено терять голову от любви. Все это я и собиралась выложить Маринину. Однако запальчиво и оскорблённо проговорила это про себя. Но он и сам всё понял. Без моих слов. Он не был дураком. И это мирило меня с ним. И даже его топорное ухажёрство вызывало не только неприятие, но и... понимание, что ли. Ибо нравился он мне всё-таки. Несмотря на нелепые действия и слова, я чувство-

вала в нём интеллигентскую деликатность и подростковую робость. А это – редкие и дорогие качества во взрослом мужчине.

Огонь притих. Мы снова сидели на корявом бревне, но несколько на расстоянии друг от друга. Словно меч Тристана и Изольды лёг между нами. Маринин взял палку, помешал угли. Искры праздничной новогодней ёлкой метнулись в небо. Костёр снова разгорелся. Ночь ещё больше накрыла нас, стала плотнее, чернее. Мы смотрели на полыхающие ветки и молчали.

Прошло несколько минут. Лицо Маринина было грустным и разочарованным. Рыжие сполохи металась по нему. Редеющие волосы на лбу чуть шевелились от лёгкого ветерка. Он тихо заговорил:

– Невезучий я какой-то. Общаться с женщинами совершенно не умею. Как-то получилось, что всю жизнь лучшими моими подружками были книги. Да ещё мама.

Помолчал. И устыдился своих откровений. Заёрничал:

– А годы летят как птицы. И нет гусыни, у которой можно было бы спрятать голову под крыло.

– Будет. Обязательно гусыня будет, – заверила я.

А сама подумала: «Ну и мужики пошли! Прятать голову под чьё-то крыло – вроде бы женская привилегия». Маринин понял, что опять нарисовался не теми красками. И окончательно потерялся.

К счастью, из темноты раздались голоса, и к свету вышли ребята.

– А мы купались. Вода тёплая-тёплая... – Нинка Цаплина попробовала отжать волосы над костром, но тут же отскочила от жара.

На физиономии Таньки Световой плавала блаженная улыбка. Она не выпускала Пашкину руку из своей руки, словно боялась: как только отпустит – парень исчезнет. Дернов тоже млеет от внимания девчонки. Слава богу, похоже, сладилось у них. Даже завидно стало.

Витька Розенберг поднял с земли гитару (в лагере он почти не расставался с ней) и стал напевать песни собственного сочинения. Бардовское движение уже набирало силу, и всегда и всюду находились те, кто сам сочинял и слова, и музыку, сам же и исполнял. Витька немного грассировал, но это придавало песням какой-то особый колорит. Неторопливая, задумчивая мелодия легко и мягко брала в плен, что-то бередила в каждом из нас, давала призрачную надежду на скорое счастье и вечную безоблачную жизнь.

А потом начались танцы. Музыка в гитарном ритме неслась по воздуху. С яростным пылом одержимых мы уже притопывали ногами, заполняли паузы, отчаянно громыхая ложками по столовской алюминиевой посуде, успевая в ритуальной пляске амазонских дикарей скакать и кружиться вокруг костра. Казалось, и лес плясал, и звёзды носились в хороводе, и всё в мире беззаботно хохотало, подпрыгивало, ухало, кокетливо пожимало то одним плечиком, то другим, не забывая крутить головой и лихо вертеть подолом.

Угомонились поздно (или рано?). За лесом небо уже набухло оранжевым светом, но само солнце ещё не решилось показаться из-за верхушек деревьев. И противоположный берег, и город ещё тонули в синеве предутреннего тумана.

Мы расстелили на траве ватное казённое одеяло, скопом повалились на него и, прижавшись друг к другу (холодок потёк от реки), заснули мгновенно, едва приземлившись.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Литгруппа...

Существовала она ещё до моего прихода в редакцию. Будущих инженеров, строителей, автодорожников, конструкторов объединяла любовь к литературе, к стихам, к собственному творчеству.

Мы собирались не только в редакции. Частенько с запасом еды и дешёвого сухого вина отправлялись за город. Поэтому, подтрунивая, часто называли себя «литгруппой».

Если литгруппа кучковалась в редакции под зевающим котом и портретом Маяковского, мы закрывали дверь на ключ и никому, кто бы ни ломился, не открывали. В лесу же (почему-то именно в лесу на крошечной полянке) непрменный ритуал, как странный символ нашего творческого сообщества, – игра в футбол. Одинаково азартно гонялись за мячом мальчишки и девчонки. И я, старая кочерга (мне уже к тридцати подкатывало!), очертя голову кидалась в кусты, вмазывалась в деревья, кубарем скатывалась в ямы и приходила домой прихрамывая, с разодранной штаниной или рукавом и очень часто – с сияющей голубым и зелёным шишкой на лбу или кровотокающей щекой. Но удовольствие от игры после сидячей и напряжённой работы перевешивало все раны и потери.

Конечно, в литгруппе были Розенберг и Дронов, Светова и Цаплина и ещё с десяток ребят с разных факультетов. Не все они были одинаково талантливы. Взять хотя бы Цаплину. И по форме, и по смыслу её поэзия сводилась к столь распространённой и любимой дилетантами рифме «поздравляю-желаю». Но в большинстве своём в литературном объединении были студенты думающие, интеллектуально развитые. Они читали друг другу стихи, рассказы, тут же обсуждали, критиковали, реже – хвалили. Подчас ор стоял, как на птичьем базаре. Так спорили, что, казалось, друг с другом здороваться перестанут. И видно было: ребята уже успели приобщиться не только к отечественной, но и к мировой культуре. Подчас обсуждали не только литературу, но и проходившие в столицах выставки изобразительного искусства, новые кинофильмы. И, разумеется, жизнь проклятых капиталистов. Политика своей страны должна обсуждаться только в русле «одобряем-с!». Мы, конечно, не могли удержаться и зубоскалили по поводу дубовых действий старческого ЦК партии, но всевидящее око «Старшего Брата» хоть и бдило за нами, вынуждено было не замечать невинные шалости. Ибо по стране уже давно гуляло диссидентское движение. И призывало к смене власти. И надо было как-то лечить этот геморрой, не дающий старцам во власти в полудрёме сидеть в своих креслах.

Чур-чур нас! О смене власти мы не говорили. Мы знали: уже не будут нас за ноги подвешивать к редакционной лампочке, но могут так бабахнуть государственной дубинкой, что вылетим не только из профессии, но и забудем русский алфавит.

Мы с Инной старались как можно реже вмешиваться в скоропалительные суждения студентов о творчестве друг друга. Главное – не навредить. Ведь косым взглядом, усмешкой, неосторожным словом навсегда можно было отбить охоту не только к собственному сочинительству, но и самостоятельным взглядам. Надо сказать, что Инна, сурово и беспощадно критикующая мою работу, была снисходительна к литературным поискам ребят. Правильно, конечно. Я-то – профессионал, они – любители. Впрочем, их стихи, рассказы подчас были очень даже приличные.

Впоследствии кое-кто из ребят поэзию, музыку, театр, журналистику сделал своей основной профессией, добился даже успехов. Думаю, в этом не наша заслуга. Просто в любое интеллектуальное сообщество обязательно придут творцы, люди неординарные, развитые, самостоятельные.

С годами литгруппа переросла в факультет общественных профессий с журналистским уклоном. В институте образовано было несколько подобных факультетов. И это было здорово. Студенты в самом начале своей профессиональной жизни приобщались к научной работе, изобретательству, к лидерству, к пониманию красоты и точности слова.

А как помогали нам общественные журналисты! Как выручали нас своими статьями! И с какой охотой они прибежали на занятия! С некоторыми ребятами у меня сохранились отношения до сих пор. А ведь лет прошло... ой-ёй-ёй как много!..

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нинка Цаплина сидела посреди редакции на стуле и редела. Две дорожки слёз текли у неё по щекам, объединялись под подбородком и стекали на грудь прерывистым, но неиссякаемым ручейком. Мы с Инкой бегали вокруг неё и предлагали то стакан воды, то платок, то лист бумаги, которая стопками лежала у нас на столах для заметок.

- Что! Что случилось?
- Воровство-о-о...
- Этого ещё не хватало! Что у тебя украли?
- Не у меня-а-а. Я ukrала...
- Боже! Ты?! Что ты ukrала? Зачем?
- Я не крада. Говорят, что я ukrала.
- Так что, говорят, ты ukrала, а на самом деле ты не крада?
- Комбина-а-ашку.

Тут Нинка так взвыла тоненьким голоском, словно из недр своих почерпнула новую порцию несчастья.

- Какую комбинашку? Расскажи толком.

Нинка кулаками потёрла глаза, размазала слёзы по щекам и подбородку и как-то сразу успокоилась. И вот что нам поведала.

В общегитии вечно какая-нибудь мелочь пропадала. И у ребят, и у девчонок. Иногда находилась, иногда – с концами. А тут какая-то эпидемия случилась. И пропадать стали не мелкие вещи, а более серьёзные: комбинации, брюки, деньги, рубахи, куртки, платья, даже пальто. Поиски, опросы, всевозможные разборки ни к чему не привели. Тогда энтузиасты решили к подозреваемым нагрянуть с неожиданным обыском. Открыли Нинкин чемодан, а там – исчезнувшая чужая комбинация.

- Зачем ты её брала?
- Я не брала. Мне подложи-и-или... – Из глаз девчонки опять брызнули слёзы.

- А почему ты попала в подозреваемые?
 - Ко-озни соперниц. Мы парня не поделили.
 - И что теперь будет?
 - Исключ-а-ат.
 - Да. Похоже на то. Но ты действительно не брала?
 - Да вы что? Конечно, нет.
- Она горестно закрыла лицо руками.
- Точно? Не брала?

– Вот и вы мне не верите... Что мне делать? Что же мне делать?! – Она раскачивалась на стуле и уже в голос снова редела.

Слёзы стекали у неё меж пальцев по рукам и пропадали в рукавах. От этого зрелища у нас внутри всё сжималось и замирало от жалости.

– Мы-то тебе верим. Надо, чтоб твои товарищи поверили.

– На-а-до.

– А как?

Нинка оторвала руки от лица и с надеждой взглянула на нас.

– Завтра студсовет, на котором мне будут голову отвинчивать.

Я вскипела:

– Да что это за карательный орган такой?! Надо бы разобраться сначала, а потом приниматься за головы.

Я не сомневалась, что Нинка – жертва, а не преступник. Ну как это может быть, что милая девчужка, наша давнишняя знакомая, наша корреспондентка – и вдруг воровка?! И как это можно сидеть на лекции в одной аудитории, ежечасно встречаться в общежитии с однокурсниками, бегать на танцы, обсуждать кинофильмы, влюбляться, делиться историями личных побед и поражений с подружками и у них же воровать вещи и лазить к ним в кошельки?! Это как же надо искривить себя, чтобы потом в глаза им смотреть?! Это каким же монстром надо быть?! По моим понятиям это совершенно не вписывалось в человеческие, а тем более дружеские отношения. А если ты ни при чём, какой ужас испытываешь, когда на твою голову сыплются напрасные обвинения?! Б-р-р... Никому не пожелаешь этого духовного распятия. Я представила себя на месте Нинки и.. на следующий день на всех парусах помчалась в общежитие на экстренное заседание студсовета.

«Высокий суд» разместился в одной из комнат общежития. Стул наличествовал только один, поэтому прибывшие члены студсовета расселись на кроватях. Было их человек восемь, суровых, жёстких, категоричных, а главное, жаждущих крови пойманной «преступницы». Процесс вызвал живейший интерес у студентов. Они толпились за дверью, шумели и тоже жаждали мести. Меня беспрепятственно пропустили в комнату и указали место на кровати.

Особый статус Нинки Цаплиной чувствовался по тому, что она восседала на единственном стуле. На лице – ожидание расправы. В глазах – растерянность, страх и мольба о помощи. Нет. Не может Нинка красть у своих! Воровки – они наглые, подлые, насквозь фальшивые. А это – беззащитный заяц в зубах у волка. И его надо спасать. Не спасёшь – маяться будешь всю жизнь. И не оставит тебя видение его предсмертных судорог, и не затихнет в ушах твоих его детский визг. Хватит того, что в моём сознании кровоточила судьба Пожарского, укором всплывали его распахнутые наивные глаза, ещё не затянулась рана от жестокости расправы над ним и трагичности её последствий. Нельзя допустить, чтоб и Нинку постигла та же участь! Нельзя и помыслить, чтобы в самом начале её пути жизнь полыхнула бы всё разрушающим белым зигзагом молнии.

Нельзя!

Я не дала им возможность распалить себя картинами Нинкиного преступления. Я не дала им возможность взвинтить окружающих дорогими воспоминаниями о пропавших вещах и деньгах. Я первая попросила слово и выступила предельно кратко.

– Ребята! – голос мой предательски дрогнул. – Никто не схватил Цаплину за руку. Никто со стопроцентной уверенностью не может доказать, что именно она брала чужие вещи и деньги. Действительно, их мог кто-то и под-

ложить в её чемодан. А теперь пусть на минуту каждый из вас представит себя на её месте: не виноват, но казни достоин.

И... И я заплакала...

Да. Я мучительно пыталась остановить слёзы. Отворачивалась, хлопала глазами. Но все видели их. И на присутствующих это произвело ошеломляющее впечатление. В комнате установилась гнетущая тишина. И осязаемо чувствовалось, как каждый из ребят примерял Нинкину беду на себя.

И я ушла. Не стала дожидаться окончания заседания. Я всё сказала. Добавить было нечего.

На следующий же день похудевшая от переживаний, но сияющая Нинка прибежала в редакцию.

– Заседали долго. И нервы мне хорошо потрепали. Но мнение редакции всё-таки учли. Не стали никаких мер принимать до следующей пропажи. Правда, не все с этим согласились. Слишком много вещей исчезло. И виновного прямо-таки надо было назначить. И разорвать на месте. Членов студсовета чуть не избили за оправдательный приговор. Долго потом бузили в общежитии.

Следующей серьёзной пропажи больше не было. Носки, расчёски, губная помада, как и прежде, терялись. Иногда находились, иногда опять же – с концами. Но вещи более дорогие уже не покидали владельцев. Деньги тоже перестали исчезать из кошельков. Разве что по мелочи. И непонятно было: взял кто или хозяин сам потратил. Видимо, неожиданные обыски энтузиастов напугали вора. И он (или она?) затаился.

Опять появилась сорока. Всё та же скандалистка. Базарно и длинно пострекотала. Я погрозила ей пальцем: не шуми. Сорока обиделась. Заполотно взмахнула крыльями и, продолжая ругаться-дразниться, вылетела из сада. Уже навсегда...

Я вспомнила, как через несколько лет после того, как я отбила Нинку Цаплину у студсовета (она уже окончила институт, лет пять проработала где-то в Сибири, вышла замуж, и у неё уже была дочка), она приехала в наш город и разыскала меня в институте. Это уже была не трепетная студентка, а красивая зрелая молодая женщина. Мы стояли у окна бесконечного коридора и рассказывали о событиях прошедших лет. Мимо пробегали студенты, торопились на лекции преподаватели. Некоторые здоровались, иные тормозили, но, заметив серьёзность нашего разговора, проходили дальше. Наконец после взаимного обмена новостями я задала главный вопрос:

– Нина, дело прошлое, но всё же ответь честно: брала вещи у товарищей?

Она растерялась. Видимо, ждала и очень боялась этого вопроса. Может быть, она ждала его все эти годы. Но так и не знала, как ответит мне на него. Опустила глаза. Прошло не менее минуты. Она боролась с собой. Наконец решилась:

– Да.

– И куда же ты их девала?

– Домой отвозила и в посылках переправляла. В убогий городок, где мы жили. Мать продавала их, а деньги складывала мне на сберкнижку.

Нина не глядела на меня. С каким-то мёртвым, деревянным лицом смотрела в окно, с высоты пятого этажа пустыми глазами водила по двору,

по верхушкам деревьев, по крышам домов за институтской оградой. Наконец встряхнула головой и вновь словно воткнула копьё в кровоточащую рану:

– Я ведь много вещей переправила.

Она уже вразнос пошла. И как бы бравировала своими подвигами.

Я очень старалась, чтобы ни один мускул не дрогнул на моём лице. Но вдруг окатили чувства... безразличности и жалости, словно при виде раздавленного голубя на сером асфальте. И, видимо, не справилась с мимикой. Я не стала её ни в чём упрекать. Я стала прощаться. Она всё поняла. И не хотела просто так расстаться. Она придержала меня за пряжку на кожаном поясе. Прямо и твёрдо взглянула в глаза.

– Тот случай стал мне уроком. Навсегда. Ведь неизвестно, что бы из меня вышло, если бы выгнали из института. – Она отпустила пряжку. Снова отвернулась к окну. И тихо, уже забыв обо мне, произнесла: – Бог мой, какая же дура я была! Конечно, можно жить и без высшего образования. Но дела криминальные стали бы профессией и рано или поздно привели бы за колючую проволоку. – Помолчала. И словно выдохнула: – Всё полетело бы под откос.

Да. Она права. Это было оправданием моих слёз на студсовете. И всё же почему-то мне было жалко этих слёз.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Начальство решило укрепить редакцию кадрами. К нам приняли ещё одного литсотрудника. Это была девочка, только что окончившая филфак, которую надо было, как и меня в своё время, «натаскивать» в журналистике.

Рыжие кудри огненными языками плясали на голове. Острый язычок блестяще, с шутками и прибаутками, с яркими цитатами из классиков мгновенно отзывался на любой звук. Казалось бы, что мешало Лиде «вынимать» этих же классиков и к месту вставлять в статьи?! Что мешало пользоваться в заметках тем юмором, который постоянно фонтанировал в обычных, даже рядовых разговорах?! Но почему-то писала она занудно-протокольно, сухим, казённым языком. Это страшно удивляло меня. Мы подружились, и я делала всё возможное, чтобы раскатать её, открыть тот клапан, который не давал её остроуму, насмешливому уму так же, как в речи, блистать в статьях. Но клапан этот так и не открылся. И через несколько лет она была вынуждена уйти из журналистики.

Жила Лида с сестрой Надей в старом купеческом доме, из углов которого выпадали кирпичи, протекала крыша, разваливалось крыльцо. Вода – в ближайшей колонке. Но газ был проведён, отопление – центральное, и стены – полуметровой толщины. Сестра – доцент кафедры политэкономии одного из вузов города. Кафедры эти существовали в каждом высшем учебном заведении страны. Преподаватели должны были убеждать студентов в преимуществе социалистической экономики над капиталистической и доказывать, как хорошо в стране советской жить. Но в одно не очень прекрасное время Надя вдруг поняла, что жить в нашей стране не так уж и хорошо, и на всех перекрёстках стала в хвост и в гриву костерить советскую власть. Естественно, её тут же прогнали из института. И провела бы она остаток жизни где-нибудь в тайге на лесоповале (принудительные трудовые лагеря, несмотря на всю «свободу» после сталинских репрессий, надо думать, тайно существовали и в эти годы), но в психушке, куда она отправилась по воле

«органов», «обнаружили» у неё шизофрению. Ни к каким правозащитным или экстремистским организациям она не примкнула. Никакого оберега – ни морального, ни материального – не имела. А на работу (хоть бы дворником) её не брали. Помощи – ни от кого. Поэтому сёстры жили на мизерную зарплату Лиды, которую не хватало даже на одного человека. Поэтому в институтской столовой Лида спрашивала:

– Сколько стоит гарнир?

– Какой?

– Рис.

– Три копейки.

– А картошка?

– Две.

– Давайте картошку.

Буфетчица окидывала её презрительным взглядом и через плечо бросала:

– Отдельно не продаём.

Конечно, выдрючивалась она. С наслаждением унижала девчонку, ибо студенты, особенно когда стипендия заканчивалась, часто покупали один гарнир. Впрочем, в то время надо было очень постараться, чтобы помереть с голоду. В любой столовой, в любой самой обшарпанной забегаловке, не говоря уже про рестораны, кафе или специализированные заведения, хлеб (чёрный и белый), горчица, соль, а иногда и перец стояли на каждом столе и пользоваться ими можно было совершенно бесплатно. И частенько студенты тайком от бдительных официанток («Не напасёшься хлеба на вас, дармоедов, резать устали») посыпали кусок солью, намазывали горчицей и утаскивали в общежитие, обеспечивая себе ужин.

За то, что Лида была симпатичная, да ещё всегда готовая постоять за себя, Инна, естественно, возненавидела её. Лида платила ей тем же. И это не прибавляло нам любви Рузевич. Тем более что из-за новенькой я отдалилась от начальницы. Мы вместе бегали по музеям, театрам (в основном по контрамаркам), переживали любовные истории, компаниями ездили на волжские острова, катались на водных лыжах.

В то время семь лет мы жили втроём (папа, мама и я) в одной комнате рабочего общежития станкостроительного завода. Часто месяцами у нас гостила и бабушка. Квартира гостиничного типа на одиннадцать семей. Захламлённый ненужными вещами коридор (велосипеды, старые шкафы, ящики с потрёпанной обувью, колченогие табуретки, лыжи). В кухне – четыре газовые плиты и одиннадцать маленьких расшатанных и облупленных столиков для приготовления еды. Туалет – один на всех. Ни душа, ни ванной (идите в баню, а в бане – очередь на три часа). И тараканы... С ними велась отчаянная и нескончаемая война. Их вроде бы только-только выведут, как тут же – снова целая армия. Непобедимая. Условия для них были прекрасные: крошки, грязь, разбрызганная вода, щели в стенах, в полу и в липких столах. Общежитие – пятиэтажный улей. В одном месте насекомых вывели, в другом – кишат.

В некоторых семьях страшно пили. От этого рождались неполноценные дети. В одной комнате жила одиннадцатилетняя девочка, красоты неписаной, с румяными щеками и двумя толстыми косами ниже пояса. Она была высокая, с вполне сформировавшимся крупным телом. Говорить почти не умела. Распахивала дверь в любую комнату, останавливалась на пороге и, счастливо улыбаясь ярко-красным ртом, спрашивала:

– А я?! – И убегала.

Несколько раз подвыпившие мужики прижимали её к стене коридора, да родители или соседи отбивали ребёнка.

В таких условиях, естественно, вспыхивали войны между хозяйками. Правда, маме как-то удавалось сохранять нейтралитет и почти мирное сосуществование со всеми.

Через военкомат папа много раз пытался улучшить своё жильё, пока не заработал обширный инфаркт. А ведь он был боевым полковником, ветераном Отечественной войны. Четыре ранения. Вся грудь в орденах.

И тогда решили вступить в кооператив. В счёт комнаты, в которой жили сейчас. Плюс доплата.

По всей стране прокатилось поветрие: привлекать к строительству кооперативов будущих жильцов. Хочешь получить квартиру – иди трудись. Разумеется, бесплатно. Пугали: не отработаешь сколько-то часов на разгрузке стройматериалов или уборке щебня – не получишь и квадратного метра подвала. А может, и квартиру не дадут. Ну и что, что заплатил! Деньги, наверное, вернут, да проблема с жильём останется. И.. «на столбе – мочало, начинай сначала». Мама всё это воспринимала всерьёз, сама ходила и меня заставляла ходить на стройку. Папа лежал дома: инфаркты замучили. Пока мы с мамой (и ещё несколько человек) сбрасывали с грузовика доски или передавали друг другу кирпичи, строители сидели, прислонившись к заборчику, грызли семечки и веселились. Я перестала ходить и уговорила маму не появляться на стройке. Правда, тайком от меня она всё-таки продолжала «помогать» рабочим.

И наконец – о счастье! – нам вручили ордер на квартиру. Не на ту, на которую был подписан договор (её кому-то продали за дополнительные деньги), а значительно хуже. К тому же не было ванной, хотя помещение для неё существовало. Украли и газовую плиту. Но мы ликовали.

Была зима. Грузовик два раза ездил с нашими вещами от общежития на новую квартиру. Мы с Лидой стояли на улице и сторожили погрузку-разгрузку. На морозе провели несколько часов. И сильно замёрзли. Крупные вещи перевезли, а мелочёвки не было конца. Машину отпустили, чтобы не платить за третий перегон. А оставшуюся мелочь решили перевозить на взятых у соседей санках (всего-то полтора квартала).

Папа увидел наши позеленевшие лица и заставил выпить по полстакана водки. Оно вроде бы и ничего. Загрузили большие самодельные санки трёхлитровыми банками с маринованными помидорами и огурцами собственного изготовления, сверху – какой-то узел с барахлом, всё перевязали, как могли, и лихо тронулись в путь. Я тащила за верёвку, Лида подталкивала поклажу сзади.

И тут нас стало развозить. Тепло потекло по всему телу, но начали расплываться перед глазами дома, деревья, люди. И нам стало смешно. Веселило всё: то, что тащили по городу санки, то, что мы постоянно поскользнулись и едва удерживались на ногах, то, что всё время почему-то наталкивались на сугробы, вместо того, чтобы их объезжать. А тут ещё и санки опрокинулись. И это крушение настолько нас рассмешило, что ехать дальше стало невозможно. Мы сели в сугроб, поставили на колени крышкой вниз банку с помидорами (доньшко ровно по кругу почему-то выпало) и стали с большим удовольствием уплетать их, рассуждая о том, что стекло нынче делают хлипкое, ну никакой надёжности. И всего-то – банка об лёд хрястнулась. А вообще – и слава Богу, ибо нет лучше закуси, чем маринованные помидоры.

Мимо проходил мужчина. Взглянул на нас и засмеялся. Мы предложили ему угощение. Он не отказался.

– А хотите, специально для вас разобьём маринованные огурцы? – раздухарились мы.

– О нет! А можно всю банку – с собой.

– Да без проблем!

Мужчина помог нам собрать на место раскатившиеся банки, водрузил узел. До нового дома доехали уже без приключений.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Нинка Цаплина по секрету сообщила, что Светова забеременела. Тщательно скрывает, от кого. Но ясно и так – от Пашки Дернова. Светова растолстела, перетянулась. В общем-то и не поймёшь, что скоро родит.

– Что же теперь будет?! Что будет?! – кудахтала Цаплина, бестолково взмахивая руками как крыльями. – Студсовет узнает – из общежития попрут. Она ведь из района. А куда она денется? Да с ребёнком? Домой ехать? Кто её там ждёт? Пьющая мать в дырявой избе... А как же учёба? Столько проблем надо срочно решать!..

Танька Светова все проблемы решила махом: сделала аборт. Уже криминальный. То есть убила почти восьмимесячного ребёнка. Какая-то старуха помогла. Держась за двери, шкафы и стены, пришла к нам в редакцию с прозрачным зелёным лицом. Села на стул и едва прошелестела:

– На несколько дней мне надо исчезнуть. Прийти в себя. И чтоб никто не догадался, что со мной. А то выкинут не только из общежития, но и из института. Аморалку пришьют.

Она на глазах слабела. Силы покидали её.

Да, аморальное поведение – один из козырей, которые и партия с комсомольскими вождями, и администрация охотно вынимают из рукава. Оно, может, и хорошо: как-то сдерживаются распущенность, вседозволенность. Впрочем, этим только утешаться можно. Скорее – в подполье уходят. Но из-за драконовских запретов девчонки часто гибнут. И ведь каждый понимает, что молодость не удержать. На то она и существует, чтоб грешить. Да грех ли это – зов природы!

Инна беспокойно встрепенулась:

– А есть куда исчезнуть?

– Нет. Сможете – помогите.

Ругать её смысла не было. Ребёнка не вернуть. Помочь надо. А как?! Я лихорадочно стала перебирать в памяти, что можно сделать.

Есть!

Недавно мои родственники уехали в гости в другой город. Так, седьмая вода на киселе: родители мужа моей сестры. Вернутся не скоро. Ключи соседям отдали. Просили и меня за стариковским скарбом приглядеть. На какое-то время можно там лежбище устроить. Правда, свободной была не квартира, а комната в коммуналке. Зато – почти через дорогу, недалеко от института. Я велела Таньке Световой ждать в редакции, а сама рванула на разведку. Соседи, разумеется, знали меня. Только поэтому и отдали ключи. Хотя с оглядкой, оговоркой, с большой неохотой.

Со всеми законами конспирации, едва дождавшись темноты и прикрыв лицо шарфом, почти на руках мы перетащили Таньку на новое место жительства. Покормили, запасли еды. Но с каждым часом ей становилось все хуже. Инка – бледная, руки трясутся, огромные чёрные глаза пронзил испуг.

– Без врача не обойтись.

– Есть знакомые?

– Знакомые-то есть. Только не каждого позовёшь. Тут ведь криминал.

По каким-то своим каналам она всё-таки дозвонилась до знакомого врача. Долго уговаривали, объясняли ситуацию. Вот молодец Инка: характер

дерьмовый, а как помочь кому надо – всегда готова! Наверное, это и есть самое главное в человеке. В будни невыносима, а как пожар – из огня вытащит... если сможет... Правда, будни годами тянутся, а пожар у одного человека – раз в жизни. А может и вообще не полыхнуть. Вот незадача: тогда и не дождёшься её благородства. Но готовность к подвигу – завсегда!

Врачиха всё-таки примчалась, взглянула на девчонку и вынесла жёсткий приговор: в больницу, срочно! Пока жива. Много крови потеряно, да и заражение возможно.

– Нет! Ни за что! Сообщат в институт.

Ноченька беспокойной выдалась. Помчались в дежурную аптеку. Сама врач только что окончила институт. Ещё не зачерствела. Всё понимала, сочувствовала. Но страшно боялась: если девчонка помрёт – ей не отмыться. Таньку откачивали всю ночь: кололи антибиотики, даже капельницу ставили. Врачиха шёпотом ругалась, как одесский биндюжник. Матом. В то время мат был экзотикой. Во всяком случае для нас. Было непривычно, но мы понимали, что рисковала прежде всего она. В случае чего, тюрьма её позовёт, не нас. Хотя мы божились, что о ней никто не узнает. Но хоть у каждого врача – своё кладбище, все же душевные муки никто не отменял.

Утром Таньке стало лучше. Но она начала плакать. И плачет, и плачет, и плачет. А слёзы льются, и льются, и льются. Непонятно, откуда столько воды бралось. Уговаривали, умоляли, пугали, даже грозили ей – ничто не помогало. Несколько часов слёзы бесконтрольно текли и текли. Те успокаивающие, которые применяли, не помогали. Врач в раздумье: не навредить бы.

– Всё-таки не обойтись без больницы. Психика – дело тонкое. Не загубить бы девчонку.

Танька услышала эти слова, приподнялась на локте и твёрдо произнесла:

– Реветь больше не буду.

И правда, как отрезала. Больше – ни слезинки.

Следующие три дня врач по нескольку раз забегала делать уколы и ставить капельницы. И строго наказывала: станет хуже – мухой в больницу. Несмотря ни на какие соображения!

Нинка Цаплина на лекции не ходила, дежурила у постели своей подружки. От семинаров, правда, было не отвертеться. Нам тоже было не до работы. Какой-то запас статей в любой редакции есть всегда. Тот самый, который карман не трёт. Так вот, в эти напряжённые дни мы съели его подчистую. Даже стихи Маринина, которые он мне посвятил, тиснули на четвертую полосу. И всё равно огромный риск потерять чужую жизнь и эмоциональный напруг измотали нас до невозможности. От страха за Таньку внутри всё стонало и дрожало.

Соседи видели всю эту суету. Ждали объяснений. Но дипломатично ни о чём не спрашивали. Мы ограничились самой скудной информацией. Болеет – и всё. Конечно, не дураки же они, сами поди сообразили что к чему, да и родственников моих, надо думать, поставили в известность. Но... обошлось.

Господи, слава тебе! Обошлось!

Сильный молодой организм победил. Заражения крови не произошло. Но как мы рисковали! Именно мы-то и были настоящими придурками. Какое право имели мы чужую жизнь на кон ставить? Это сейчас я понимаю, в какую историю влипли. А в то время мы как в ночном океане плыли. Надеялись, что берег рядом, и не подозревали, что его может и вообще не быть. Мощная внутренняя энергия вела. Доплыть надо, и всё тут! Доплыть, чтоб дно почувствовать, и дальше жить.

И Светова доплыла. И мы доплыли. И место в общежитии сохранили. Всевидящее око студсовета и разные добровольные и недобровольные активисты не заметили отсутствие человека. А может, сделали вид, что прозевали. А может, и доложили «куда следует», да там «где следует» – тоже люди и тоже понимают: какое-то время лучше ничего не предпринимать, само рассосётся. И правда, рассосалось. А мы к тому же ещё и газету выпустили. Как обычно. Никто ничего не заподозрил. Или сделал вид, что не заподозрил.

Но что-то с Танькой случилось, Световой. К нам в редакцию она больше не заходила. Никогда. Ни заметки о студенческой жизни, ни собственные стихи она больше не приносила. И если замечала нас в бесконечных коридорах, чтобы не встречаться, сворачивала в переулки, в аудитории. Мы не обижались. Скорее – сочувствовали. Такой стресс пережить не каждому в жизни удаётся. Что-то надломилось в ней. И что-то бесконечно болело у неё, до чего нельзя было дотрагиваться даже в воспоминании.

Институт она закончила. Уехала куда-то по назначению. И для нас след её навсегда потерялся.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

А телега жизни продолжала тащить меня по равнинам и ухабам, радостно греметь майскими соловьями, баловать солнечным теплом и лаской голубого неба, иногда попадала в ямы, встряхивала, наминая бока, а подчас выбрасывала на обочину и обсыпала ледяной крупой..

Прошло пять лет. В профессии журналиста я заматерела. Лихо расправлялась с безграмотными статьями, отточила зубы на фельетонах, обострила чутьё, внутренне подготовилась к штормовым ветрам, бушевавшим в редакции, в институте, в стране. Печаталась уже не только в своей газете.

Писала даже художественные произведения: рассказы, потом и роман осилила. Только с публикацией ничего не получалось. Надо было иметь обширные связи, стать своим человеком в неповоротливой государственной машине, чтоб твоим произведениям позволили выйти в свет. Речь не шла о качестве или об очерёдности твоей работы. Тебя нет, тебя не видят. Как бы ты ни бился головой в редакционные двери, ты вообще не существуешь.

И от Инны всё так же получала зуботычины. Мало сказать, что это задевало меня – я падала духом. Ну представьте, что изо дня в день вам внушают, что вы идиот. Рано или поздно вы поверите в это. Единственно, что спасало меня, помогало держаться на плаву – это настоящие, не дутые интеллектуалы. Это – люди разных профессий, которых объединяла высокая культура, к мнению которых прислушивалась не только я. Они уже давно дали мне понять, что работаю я вполне сносно. Разумеется, в суждениях о тех или иных видах творчества очень много субъективного. И, наверное, только время может всё расставить по местам. Ха! Чехов говорил, что его произведения скоро забудут и пишет он для современников. Однако весь мир до сих пор наслаждается его рассказами и пьесами. Свят-свят, к Чехову я, конечно, не примазываюсь и не надеюсь, что мои произведения будут читать через сто лет (хотя как знать!).

Но сама Инна, кроме деловых бумаг, газетных передовиц или близких к ним статей, никогда ничего не писала. Видно, феноменальная память выпалывает воображение. Может, и память тут ни при чём. Просто не гуляла в ней фантазия. Острый, быстрый ум, прекрасная эрудиция, а фантазии, без которой невозможно художественное произведение, фельетон, юмореска, –

никакой. Конечно, в то время всё-таки главное в газете – передовица. Но ты хоть наизнанку вывернись, а штампов, замыленности, десятилетиями протоптанной в ней дороги не избежать. Может, эта замыленность и убила в ней воображение. Судя по всему, она понимала это. Но смириться не могла. И не могла простить мне то, что у самой не получалось.

Но розовое покрывало второй древнейшей профессии для меня всё-таки потускнело, романтизм испарился. Я и раньше знала, что через газету призвана обслуживать систему, в которой жила вся страна. Но по молодости и глупости надеялась вскрывать правду, искать справедливость, обнажать зло, разоблачать ложь, громить подлецов, хватать за руку карманников. Щ-щас! Никому это не нужно. Нужно стоять в полупоклоне с полотенцем в согнутой руке и на свой вопрос «чего изволите» – ждать, когда ты понадобишься единственной в стране партии и когда она в стремительном взмахе указательного пальца гаркнет тебе коротко и грозно: ФАС!

Эта изнанка журналистики в полной красе открылась после того, как я стала хоть что-то соображать в ней. И очень мне не понравилась. И хоть институтская газета маленькая – не масштаб страны, мира, – но несла она в себе все атрибуты любого агитационно-информационного печатного органа Страны Советов.

Я стала искать выход: что делать? куда направить свои стопы? Уж коли Бог не даёт семьи, детей, если разочаровала меня журналистика, значит, надо искать другую жизненную нишу... Какую? Где? Как в неведении наткнуться на то, что захватит тебя целиком, взвихрит до небес, даст смысл твоему существованию? Должен быть выход! Не денег я искала. Хоть бы душу потешить. Литература? Да! Прекрасный выход! Но проблема публикации зашкаливала. В редакциях замечательные художественные произведения лежали годами, так никем и не читанные. Можно было жизнь прожить, не увидев своего творения опубликованным. К тому же там нагло бесчинствовала цензура. И из твоего текста вырезала самое ценное, красочное и живое. И не каждый автор соглашался на то, чтобы от его плода, который он иногда возвращал годами, оставляли одну кочерыжку.

И выход всё-таки нашёлся. Прекрасный. Нечаянно я обнаружила укрытие, где могла бы временами прятаться от мира, где никто мне не мог ничего разрешать или запрещать, где я делала то, что сама хотела, где зависела только от собственных страстей и возможностей: физических, эмоциональных и интеллектуальных. Худо-бедно кормилась я пока газетой, и она ещё увлекала меня призрачными элементами творчества, но дух мой уже витал... Однако всё по порядку.

Помимо доступных литературных новинок меня всегда сильно занимало изобразительное искусство. Я постоянно бегала на выставки художников. В то время приоткрыли шлюзы для любителей всякого вида искусств, и в нашу страну хлынули произведения лояльных к коммунизму современных зарубежных писателей, художников, музыкантов. Ну хоть что-то! Нырять в столицы в выходные или отпускные дни, я смогла в оригиналах посмотреть Ренато Гуттузо, Фернана Леже, Ороско, Риверо, Родена, Бурделя и многих других живописцев и скульпторов, современных и не очень. А наши запретные художники Фальк, Машков, Кончаловский... Да боже мой, а русский лубок,

а Палех, а персональные выставки Рериха, Серова, Нестерова, Эрзи, Коненкова, Гончаровой!.. Эх, да разве перечислишь всех?! Я могу вывалить мешок имён художников, перед работами которых часами стояла, немая и парализованная могучей силой человеческого гения.

Я презирала открытки или альбомы по искусству, вполне справедливо полагая, что только от оригиналов можно получить истинное наслаждение. И правда, как-то в московский музей имени Пушкина привезли Брута Микеланджело, и, несколько раз бегая из зала в зал, я имела возможность сравнить гипсовую копию с мраморным подлинником итальянского гения, которые стояли в разных местах. Стоит ли говорить – небо и земля! То же и с фотографиями. Живопись на них сильно меняется. И всё же много лет спустя, когда погоня за оригиналами стала невозможна, я по-настоящему оценила те альбомы по искусству, которые мне дарили. Ведь только они могли дать хотя бы приблизительное представление о художнике и его творениях.

Каунас... Волшебный город. Хотя бы потому, что там находится музей гениального музыканта и художника Чюрлениса. А ещё там – музей чертей (не настоящих, конечно, а придуманных и сделанных людьми из шерсти, фарфора, дерева, керамики, кожи, янтаря, металла). А ещё на весь город там песни поют колокола. Да-да! По всей стране колокольный звон вообще запрещали. А тут – музыка. Всем известные песни. Многое тогда разрешалось западным окраинам нашего отечества. Уж и не знаю, что больше повлияло, но я вернулась из Каунаса с таким грузом зарождающихся творческих желаний, что хватило их на всю оставшуюся жизнь.

То лето было жаркое и сухое. Без дождя томились и люди, и звери. Но душный ветер гонял по городу только пыль. Трава и злаки пожухли.

В выставочном зале на набережной Волги проходил вернисаж самодеятельных художников города. Устраивала его методист Ирина Фролова, искусствовед с тонким и очень редким врождённым чувством прекрасного. Как правило, носители этого чувства встречают непонимание даже среди своих коллег. Ни кандидатские, ни докторские диссертации не прибавляют его. С этим чувством надо родиться. Зато насиженные троны и штампованные титулы дают возможность стирать в пыль людей, имевших несчастье (а скорее – величайшее счастье) получить от Бога это тонкое чутьё на истинную красоту. «Капитаны искусства» убирают таких соперников со своего пути, что в конечном счёте не мешает им пользоваться их безошибочным мнением.

Невзирая на должности и заслуги автора, Фролова могла безжалостно определить эстетическую ценность или бросовую бесценность его произведения. По-разному художники воспринимали железобетонный приговор хрупкой молодой женщины: одни обижались, но не показывали этого, другие лезли на стенку. Из-за этой её особенности она огребала кучу проблем на свою голову. Лесть, истерики, деньги, угрозы – ничто не могло изменить её решения. На неё жаловались во все инстанции. Из-за патологической несговорчивости у неё постоянно были неприятности, «титулы» и «должности» видели в ней угрозу своему существованию. Очень часто ей приходилось менять работу. А один заслуженный пенсионер даже... ударил её.

– У меня сто картин, а она ни одну не взяла, – оправдывался он потом.

– Плохо! Художественной ценности не представляют! – с маху заявляла она любому, кого считала бракоделом. И, отвернувшись от автора, цедила неслышно: – Мусор.

Зато, когда открылась выставка самодеятельных художников на набережной (то есть тех, кто не получил профессионального художественного

образования), все ахнули. Она засверкала такими авторами, такие произведения явились зрителю, о каких в области и не подозревали. То, что всё-таки прошло через её сито, не стыдно было бы показать в любой из двух столиц нашей страны (о загранице в то время и речи не шло). Лучшие художники города в немом оцепенении часами стояли перед картинами мастеров, которых полупрезрительно, полупоощрительно называли самодельщиками. Где, через какие каналы, в каких медвежьих углах и потаённых норах, на каких чердаках и в каких подвалах она сумела их отыскать?! Подчас, как Пиромани или Примаченко, новоявленные мастера и не подозревали о том, что их творения представляют какую-то художественную ценность. Писали картины, вышивали, долбили дерево, чтоб украсить кухню или спальню, а в общем-то малограмотные домохозяйки, трактористы или сантехники, ничего не ведая о Праксители, Дюрере или Модильяни, жили своим искусством как воздухом дышали.

С дрожью в коленках я представила пять работ. Барельефы. Резьба по дереву. Пока не листовница. До неё я ещё не дошла. Ирка, пронзительно стрельнув глазами на каждую, отобрала две. И повесила у самого входа. Первый взгляд пришедшего на выставку зрителя упирался в мои работы. Я была счастлива.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

...Стрекоза рвалась на волю. Она билась и билась о стекло, но не понимала, какая преграда стояла между ней и свободой. Ну и чего тебя занесло сюда? Я поймала её за слюдяные крылышки, вынесла из душного выставочного зала и выпустила в тёплый воздух набережной, пропитанный влагой большой реки и запахами уже увядающих цветов. Я стояла на ступеньках и шарила глазами в поисках почему-то сразу растворившейся стрекозы, как услышала за спиной скрипучий и недовольный голос:

– Это ваши работы?

Я оробела. Таким голосом только ругают. Обернулась. Взгляд срисовал какого-то снежного старика: у него были белые голова, костюм и даже туфли. Он тыкал пальцем в раскрытую дверь.

– Да, – призналась я, готовая к казни.

Старик неожиданно шаркнул ножкой, поймал мою руку и церемонно поцеловал. Я недоумённо разглядывала его. Он манерно повёл головой, скрипил рот и тем же скрипучим и недовольным голосом похвастал:

– А здесь, на выставке, самая большая картина – моя.

И вдруг я поняла, как тяжело застенчив этот человек и как мучительно трудно он пытается освободиться от своей скованности.

– Так Пьеха ваша?! – ахнула я.

– Моя, – выдохнул он радостно и освобождённо.

Вот чем хороши различные выставки и собрания по интересам, так это тем, что на них можно встретить таких же ненормальных, сдвинутых по жизненной шкале людей, увлечённых тем же, что давно и безумно интересуется и тебя.

Конечно, плевал старик на мои работы. Ему надо было поговорить о своих.

Я только что оторвалась от большого портрета известной на всю страну певицы Эдиты Пьехи. Он поразил меня. Дивной красотой, изяществом и одухотворённостью дышал её облик. Да и вообще, что-то необъяснимо прекрасное было в этой картине. Как в лучших портретах известных на весь мир

мастеров. Во всяком случае, так мне казалось. И видела я, как вдохновенно, а подчас и задумчиво, в мыслях улетая в несбыточную сказочную даль, стояли люди перед изображением певицы. Обо всём этом я и заговорила со стариком.

Он забыл о застенчивости. Млел от моих слов. Ему очень нужны были эти слова. Видимо, они питали его, заряжали, вдохновляли. Похоже, творчество не только стало самым важным и сладостным чувством в его жизни, но придавало какой-то особый смысл его пребыванию на этом свете.

– А у меня ещё много портретов, – опять похвастался он. И неожиданно предложил: – Хотите взглянуть?

– Ужасно! – Я таращилась на него во все глаза и боялась, что он передумает.

Вдруг он вспомнил о своей застенчивости. Рот опять перекосило, сам напряжился и как-то снова заостенел. Но я уже не обращала внимания на это.

– Я вам свой телефон и адрес дам. Надумаете прийти – позвоните.

Он хлопал себя по карманам в поисках карандаша и хотя бы клочка бумаги. Не нашёл.

– Я и так запомню.

Он продиктовал...

В редакции я была от восторга, рассказывая о творчестве старика. Нинка Цаплина и Танька Светова, оказавшиеся тут же, умолили меня тоже взять их в гости.

– Так и быть, возьму вас с собой. Только статью напишите в газету о талантах старика и эстетическом воспитании студентов.

Мы, то есть редакция, всегда голодные: нам всегда нужен материал для газеты. И упускать возможность получить лишнюю статью – грех. Тем более что девчонки с радостью согласились.

Спустя несколько дней мы звонили в дверь частного каменного домика. Перед домом – крошечный кусочек земли. Впрочем, земли и не видать. Две-три сотки покрывали благоухающие, роскошные, разнообразные розы: алые, густо-красные, белые, малиновые, бордовые, жёлтые с нежным оранжевым ободком на каждом лепестке. Некоторые головки величиной с блюдце словно выплывали вверх и хвастались своей чудной красотой, другие, как мусульманские красавицы, скромно сгибали шеи, пряча лица и всё же лукаво поглядывая на мир.

Он ждал нас. Приедется. Сбрызнулся одеколоном. Девчонки, которых я привела, были хороши собой. Цаплина – блондинка, Светова – с тёмными волосами и ярко выраженным восточным колоритом, но обе – словно милые кошки, очаровательные, пушистые, очень женственные и ласковые. А главное – очень молодые. Александр Константинович, как звали нашего нового знакомого, сразу вдохновился от моих спутниц и попробовал было снова заостенеть, но вскоре забыл о своей застенчивости, и только иногда посреди разговора неестественный взмах руки или судорога в лице выдавали его волнение.

Дом начинался большой прихожей, или, как ещё в России её называют, – сенями. Здесь царил беспорядок: одежда, доски, какие-то ящики, обувь, подрамники. Но пройти было можно. Дальше попадаешь в кухню, откуда дверь ведёт тоже в большую и светлую комнату. Мебели мало, но из-за того, что все стены увешаны с пола да потолка картинами, что в самом центре помещения стоит огромный, судя по всему, самодельно сколоченный мольберт с неоконченным произведением, что почти каждый сантиметр комнаты занят

полотнами, стоящими вплотную друг к другу и прислонёнными к чему угодно, что хоть как-то может их держать, создавалось впечатление скученности и явного дефицита пространства.

Мы принесли старику милые полевые цветы: ромашки, васильки, колокольчики. Но не сразу вручили. Забыли: толпа портретов поразила. Онемев, я мяла в руках стебли, пока хозяин не подошёл и не освободил их из моих рук. Здесь были Сергей Есенин, Барбара Брыльска, Владимир Маяковский, Алла Пугачёва, Аркадий Райкин. На нас глядели поэты, драматические артисты, эстрадные певцы. Каждый со своим характером, в своей цветовой ауре. Справедливости ради надо сказать, что не все портреты были удачными. В некоторых чувствовался какой-то художественный сбой. И всё же показалось, что старик рождён был для того, чтобы вдохнуть в их жизнь своё видение, своё понимание красоты, свою щедрую палитру. Даже изображения ныне живущих людей создавали впечатление, что вышли они из какого-то нездешнего мира, из зеркала, отделяющего жизнь параллельную и нашу, и были окутаны тайной, загадочной дымкой. И в этой тайне слышался лёгкий звон чего-то притягательного и недоступного.

Мы застыли в удивлении. Особенно хороши на портретах были женщины – пластичные, мягкие, певучие.

– Ой, какие у вас женщины! Вы их любите, наверное, – наперебой заахали мы.

От смущения старика опять заколбасило. Но ответил, как и подобало истинному джентльмену:

– Ну как вас не любить! Вон вы какие очаровательные...

– А где вы берёте портреты знаменитостей? Пишете по памяти? Они ведь у вас очень узнаваемы.

– Фотографирую с экрана телевизора. Потом рисую.

Он показал нам тусклую, размытую чёрно-белую фотографию Есенина величиной в две почтовые марки. А со стены русский поэт в красивых тонах созревающего пшеничного поля – как дорогой гость, как наш современник, с едва заметной иронической улыбкой поглядывал на нас и тоже участвовал в беседе.

– Кто же вас живописи научил? – Мы пили чай с печеньем, но оторваться от портретов не могли.

– Да никто. Вышел на пенсию, и... потянуло. Даже не знал, сумею ли. Попробовал... Понравилось. А теперь удивляюсь даже, как жил без живописи.

Мы наперебой забросали его вопросами.

– А вы показывали портреты их ныне здравствующим оригиналам? Наверное, кто-нибудь купил бы своё изображение.

– Даже дарить можно. Лишь бы сохранить такую красоту.

– А музеям вы не предлагали?

– Куда отправятся все эти картины после вашей смерти?

Это уже Нинка Цаплина. Простодушие и бестактность, видимо, всегда где-то рядом. Светова пихнула её локтем в бок.

Александр Константинович в волнении встал из-за стола. Вдруг снова вспомнил о застенчивости и, чтобы преодолеть её, выпятил грудь, расправил плечи и таким петухом прошёлся по узкому пространству комнаты.

– Вообще-то не думал я об этом. Рисовал и рисовал. Хотя – нет, мыслишки приходили. – Запутался он и беззаботно махнул рукой: – Да, наследники определяют место.

От старика мы возвращались молча. В состоянии какого-то анабиоза. Девчонки, у которых энергия, казалось, как из скважины, фонтанировала

бесконечно, тоже притихли. Каждый думал о том, что был свидетелем чуда, которое в жизни человека не так уж и часто случается.

Откуда он взялся, этот старик? Было ему плюс-минус восемьдесят. Кем он был по жизни? Потомком дворян? Крестьянином? Рабочим? Учёным? Дворником? Военным? Судя по церемонной обходительности, в жилах его текла всё-таки голубая кровь. Почему эмоциональные волны постоянно захлёстывают его? Обычно это происходит с молодыми. А в старости человек, как правило, освобождается от застенчивости, становится более уверен в себе, равнодушен и спокоен. Что сделала с ним жизнь? Какие события так исковеркали психику? Уж не пришлось ли ему десятилетиями расплачиваться за благородство своего происхождения? Как он вышел на живопись? Почему именно ему удаётся в картинах добиться того, к чему рвётся каждый художник, но не каждый может достичь той грани, за которой – настоящее искусство? А ведь никаких художественных школ и академий он не заканчивал. Откуда взялась мера истинной красоты, что водила его кистью?

Все эти вопросы возникли у нас, когда мы уже ушли от него. В доме старика нас забрали в плен его портреты, и ни о чём другом думать мы уже не могли.

Прошло какое-то время. Не раз я встречала снежного старика на различных тусовках самодельных художников. Внешним видом, поведением, манерой речи он сильно отличался от остальных, хотя держался скромно и вроде бы незаметно. И всегда радостно вспыхивал, увидев меня. И я тоже с удовольствием общалась с ним...

Я праздновала свой день рождения. Уже много лет на него приходят одни и те же люди. Компания устоявшаяся, со схожими интересами. Праздник в разгаре. Аппетитная красота застолья разоряется на глазах. И я рада этому: хуже нет для хозяйки, если гости плохо едят. Значит, не нравится. Значит, не угодила.

Звонок. Я удивлена: уже никого не жду. Даже Машка, моя подруга с детства, которая всегда и всюду опаздывает, тоже на месте.

Открываю дверь: на пороге – белоснежный старик со свежайшими ярко-красными розами в руках. Такие цветы невозможно купить в магазине или на рынке. Только – самому вырастить и только что срезать в собственном саду.

Александр Константинович, не входя в квартиру, на пороге галантно дрыгнул ножкой, поцеловал мне руку и вручил цветы с поздравительной открыткой внутри букета. Откуда он узнал о дне рождения? Ведь я ему не говорила. И вообще последнее время давно его не видела.

Я тащила его к столу. Друзья выскочили в прихожую и настойчиво и весело тянули его присоединиться к моему празднику. Так ведь опять его заколдобило. Он смутился и застенчиво. И решил, что ему, незваному, случайному знакомому, не место среди молодых. Зря он так. Друзья мои давно уже знали о нём и жаждали поближе познакомиться.

Он всё-таки ушёл. Оказалось – навсегда. Месяца через два пронёсся чёрный слух, что сердце его остановилось.

Мокрый ветер рванул верхушки деревьев. Тяжёлые, крупные капли с веток полетели на землю, на костёр, заляпали очки. Пока протирала их, перед глазами возникли картины того дня.

Я пришла на похороны. С цветами. С яркими розами. Но тягаться с его подарком они, конечно, не могли. В тесной комнате, набитой людьми,

толпа портретов на стенах слилась с его провожающими. И мне показалось, что образы, которые он создал и в окружении которых сейчас находился, не являются картинами. Они живут, поворачивают головы, следят за нами, тихо переговариваются и вместе с нами горько скорбят о художнике.

Я положила цветы на грудь Александра Константиновича и ушла, не дожидаясь окончания тяжкого ритуала.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Цитков пришёл в редакцию чем-то сильно расстроенный. Чем – не говорит. Но от очередного одесского анекдота не удержался:

– «Наум Борисович, и за шо вас таки посадили?» – «Ви себе даже не представляете... На суде выяснилось, шо государство выпускает такие же банкноты, шо и я...»

Не успели мы засмеяться, как он грустно (что совершенно на него не похоже) бросил непонятную фразу:

– Судя по всему, государство и на нас наезжает.

И замолк. Взял гранки, стал вычитывать. Но тут же опять положил их на стол и вышел.

На кого «на нас»? И почему «государство наезжает»?

Позднее выяснилось, что Циткова отстранили от газеты. В чём дело, не знаю. Что там в верхах происходит, мне по барабану.

Надо быть объективной. Хоть и нагадил мне в своё время Цитков (и потом ещё не раз гадил!), всё-таки жаль, что его убрали. Жалко не как страдальца, теряющего вес в институтском истеблишменте («А вдруг идеологически развратит студентов! Воспитает не так, как надо. А вдруг они врагами советской власти станут!»). А на кафедре марксистско-ленинской философии всё-таки оставили! Но этого мало. Спустя полгода ему доверили не только организовать социологическую лабораторию в вузе, но и возглавить её научную работу. Неисповедимы дела твои, Господи!

Более подходящего человека для руководства газетой в институте не было. Умён. Этого не отнять. Таких в институте немного. Его тонкий с горбинкой нос чуял лёгкие дуновения в политике страны и мира. А это так важно было в советской газете, да и вообще – в любой. Подчас темы наших статей (а уж заголовки совсем слово в слово!) опережали отклики на события в мире в столичной газете «Правда», задающей тон всей нашей идеологии. И тогда Цитков тыкал пальцем в листок нашей многотиражки и смеялся, что «Правда» украла у нас или тему статьи, или заголовок.

Он был широко образован, прекрасно знал литературную классику, чувствовал мельчайшие оттенки значений слова. Талантливо умел лавировать между дубами в начальственном лесу, тонко и осторожно, не обижая напрямую, ставить на место любого функционера.

И всё-таки не уберётся.

За эрудицию его уважали. За точный и язвительный язык побаивались. За ум ненавидели.

Бог мой, а как это хорошо, когда рядом с тобой работает умный человек! Многому он научил меня. К различным датам, праздникам он выбивал для нас похвальные грамоты, что было очень престижно, потому что вручали их торжественно, прилюдно, под одобрительные аплодисменты. Да и небольшие подарки, денежные премии (в то время труд гуманитариев оценивался символически) проходили через него. А в газете так легко оступиться...

Часто логикой, здравым смыслом, убеждением он не раз спасал нас с Инкой от «мордобоя» в администрации или парткоме, которые работали и мыслили, разумеется, в связке.

Например. Даём мы в газету малюсенькую заметку студента о том, как у них в группе проходил семинар (даже по техническим, а не по идеологическим наукам). Казалось бы, что здесь может быть криминального? Таких заметок мы уже тискали сотни. Прилетает в редакцию какой-либо функционер (а чаще всего кого-нибудь из нас вызывает к себе) и начинает полоскать: зачем мы рекламируем человека, который чем-то там проштрафился и которого собираются увольнять. Это – о преподавателе, который вёл семинар. И упоминается несчастный «преступник» в заметке всего-то один раз. А мы и не подозреваем, что он преступник. Но всё равно мы – идеологические диверсанты, вставляем палки в колёса институтской власти. Ибо в борьбе за выживание преподаватель будет трясти нашей газетой и доказывать, как он нужен учебному процессу. Вот так. Виноваты. Без вины. А спорить не смейте.

Конечно, защищал нас Цитков не только из-за человеколюбия. Ну, разгонят нас, а с кем ему работать? Мы всё-таки уже ориентировались в проблемах огромного вуза и газеты, знали многих преподавателей и студентов. Были натасканы (даже подозреваю – неплохо натасканы под насмешливо-тираническим руководством Якова Давидовича) в журналистике. Да ещё неизвестно, кто придёт на наше место... По жизни своей я немало видела действительно безнадёжно безграмотных, серых и скучных писак. И как ни парадоксально, имя им – легион.

И всё же... И всё же...

Несколько лет спустя (я уже в социологической лаборатории института работала по студенческой тематике) приехала в Москву на симпозиум и услышала, что в моём городе есть учёный, который очень интересно разрабатывает те же студенческие проблемы. Вот фамилию его не помню... Как его?.. На языке вертится... Сейчас...

– Цитков, – подсказала я.

– Да-да. Верно.

Я засмеялась. Он был моим научным руководителем. Всё руководство его сводилось к тому, что он сажал меня напротив и насмешливо произносил:

– Ну, и какие научные подвиги мы совершили?

– Не мы, а я, – дерзила.

– Не будем мелочиться. Рассказывай, что такого умного наковыряла.

Он аккуратно записывал к себе в блокнот то, что я диктовала, или вообще забирал у меня листки с таблицами, с результатами исследования. А потом публиковал их под своим именем в научных статьях. Мне это не очень нравилось. То есть вообще не нравилось. А кому захочется быть негром на чужой плантации? Такая эксплуататорская практика считалась нормой по всей стране. К тому же наука в тот момент меня не очень интересовала (может быть, из-за плантатора Циткова?). Искусство – вот это да! Собственное изобразительное творчество – именно то, чему стоит жизнь посвятить! Хотя просвистела надо мной уже почти половина жизни. Лучшая половина.

А-а! Никаких тебе сверху начальников! И никакого надзора над тобой! Хотя и это тоже было иллюзией...

Искусство, тем более в самостоятельном исполнении, которое из-за своего невежества презирало большинство академических художников, а чиновников – и тем более, почти не давало никаких средств к существованию. Людям нравились мои работы. Очень. Толпились около них на всевозможных выставках. Но денег не было на их приобретение. А дёшево отдавать я не могла: слишком тяжким для женщины был труд резчика по дереву. Потому и строгала их по полгода. А государству мои работы были не нужны. Проще подарить хорошим людям. От души это было. А деньги... Нужны, конечно. Без них – никуда...

Да плевать на них!

...Творчество. Почему никто не напишет гимн ему? Есть гимн стране, спортивные гимны, корпоративные, посвящённые женщинам, а творчеству – нет. Или я чего-то не знаю? А ведь это – такой мощный вулкан, который крошит и плавит гранит, пробивает небесный свод, который огнём своим сокрушает все преграды и создаёт то, чего ещё не было на земле. И чем выше и сильнее вулкан, чем грандиознее стремительная энергия, рвущаяся из него, тем богаче и удивительнее то, что является нашему миру.

Да-да. И вулкан этот заиграл, загремел, взорвался-прорвался и во мне. Возможно, и небольшой, возможно, и не вулкан вовсе, а так – беспокойный бугорок, но магма его не давала мне жить, тревожила и рвалась наружу.

И даже сейчас, когда ночами, как зубная боль, ноют руки, едва волокутся по земле ноги, когда кровяное давление тяжко молотит виски, меня, не переставая, томит этот не весь использованный груз творчества, вскипает, рвётся наружу, просит выпустить к людям, выплеснуть его в слове, краках, в дереве. Но нет уже сил взломать решётки, сорвать замки и выгнать на волю джинна, который вселился в меня в маленьком литовском городке.

Почему я помимо литературы вдруг стала заниматься резьбой по дереву? И сама не знаю. Вышивание, вязание, плетение, квилт, шитьё – очень достойные виды творчества. И по женским силам. По мере возможности я любила красиво одеваться, но посвятить жизнь тряпкам – не по мне.

И сейчас сказать не могу, почему из всех известных пород выбирала лиственницу, от которой бегут сильные, во цвете лет мужчины (очень твёрдое, очень неоднородное, надрывно тяжёлое в обработке дерево). А у меня рост – полтора метра с вихрами. И вес если не цыплячий, то почти кошачий. Правда, лиственница красива необычайно: текстура полосатая и прихотливо текучая, а цвет – от нежно-жёлтого до красно-коричневого. И живёт столетиями. Видимо, я попала в этот обманчивый союз красоты и вечности и, пока были силы, пока извергался вулкан, выбраться из него не могла и не хотела. И с потом, дикими усилиями (вся работа – ручная), с бессонницей от добровольной каторги вливала в вечное дерево свою энергию, здоровье, своё понимание гармонии и чуда творчества. Какое-то помешательство это было.

В разное время, с большими перерывами, подчас не оставляя свою основную работу, вторую половину жизни я посвятила лиственнице. Что это было? Мне непонятно и сейчас. В каждом произведении из этого дерева – незримое присутствие урагана, торнадо, грозового буйства, цунами, землетрясе-

ния – словом, какой-то новой формы разрушительно-созидательного катаклизма, с которым я обрушивалась на несчастную лиственницу. Тот самый вулкан осторожно и яростно бил, крошил и шлифовал её до тех пор, пока не выковылял плавную, узорчато-волшебную сказку. Тут была и Баба Яга, в ступе-ракете вылетающая из трубы избушки на курьих ножках, и Добрыня Никитич в битве с трёхглавым Змеем-Горынычем, и репка такой величины, что без помощи мышки никак её не вытащить из земли. И вороны чёрной тучей летали над Головой и Русланом, и Черномор взвивался над русской равниной, пытаюсь спастись от богатыря, повисшего на его боробе.

Эти сказки из цельных лиственничных досок – всего одиннадцать работ (барельефы длиной плюс-минус метр, шириной до полуметра и более) – я не могла ни продать, ни подарить. Слишком тяжело они мне достались. Слишком много в них вложено. Мозоли и травмы от них остались навсегда. Неподъёмные доски-сказки хранились в самодельных коробках у меня в кладовке. И вынимала я их только для выставок, которые проходили в залах художественного музея, в вестибюлях театров, на концертных площадках, на ярмарках моего города и в других городах нашего отечества (Москве, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Смоленске).

Что будет с моими барельефами, когда меня не станет? Эта мысль гвоздём засела в голове и последние несколько лет постоянно не давала мне покоя. Трудную песню мою разрубят на дрова и сожгут? Или те, кто будет рядом в мой последний час: полицейские, врачи и санитары, а может, и соседи, – повесят мою сказку у себя на дачном заборе? А «вечная» лиственница не переносит резкую перемену погоды. От солнца, дождя и мороза она быстро трескается и крошится.

А родственники далеко, на другом конце страны. Успеют ли они вовремя приехать за наследством? Да захотят ли? У них ведь свои дела, своя жизнь, свои настроения и предпочтения.

А друзья? Немного их осталось... Да и лет им немало. Им бы от своих проблем избавиться...

А что будет с прозой? Даже опубликованной? Сохранят ли племянники хоть что-то, что напоминало бы им о творчестве далёкой, но родной тётки?

Конечно, ничего нет вечного. Как знак этого, буддийские монахи создают огромные ковры из цветного песка. Чтобы случайно не сдуть мелкий лёгкий песок, не смазать изображение, внимательно и осторожно работают месяцами, годами. А потом мановением руки или ноги в несколько секунд или минут разрушают прекрасный цветной узор.

Да речь-то уж не о вечности. После исчезновения человека обычно остаются дети, внуки, правнуки и дальше – потомки. И в них переселяется дух этого человека, его гены, характер, какие-то особенности. У меня же – никого. Так и не удалось создать семью. Пусть хоть моя беспокойная энергетика полетает немного над землёй. Хотелось бы, чтобы и без меня мои изделия как можно дольше радовали кого-то.

Мысли грустные. А в общем-то нормальные. По возрасту...

Но это сейчас... А тогда...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

А тогда я служила журналистике. Хоть и разочаровалась в ней, деваться было некуда. Чем-то надо было кормиться.

Круг, в котором я теперь вращалась, вполне устраивал меня: по интеллекту, образу жизни, поведению, часто – по взглядам. И очень радовали студенты, молодые, полные надежд, радостно вспыхивающие от любого пустяка, где-то очень умненькие, где-то наивные до милой глупости и очень-очень доброжелательные. Суровые экстремисты и любвеобильные романтики в одном флаконе. Их всё интересовало. И этим они были интересны мне.

Редактором стала Инна. Низ четвёртой полосы украшает её фамилия. Но редактор – это не только фанфары. Это ответственность. Собственно, фанфар почти не было, разве что преподаватели чуть ниже склоняли выи перед новым редактором, а студентам вообще до лампочки, чья фамилия в конце четвёртой полосы. Зато голову Инки «наверху» мылили почти каждый день. Всё-таки Цитков хорошо прикрывал нас собой. Сейчас же защитную стену разрушили. С парткома или административных заседаний она приходила дрожащая, часто в слезах. В огромных глазах – неподдельный испуг, что именно сегодня её заберут в подвалы КГБ и надо успеть собрать узелок для отсидки. Конечно, подвалы – страшилка, которой она сама себя пугала. Но выгнать с работы могли шутя, придравшись к любому пустяку. Ведь над ней тоже висела пятая графа в паспорте. И, похоже, тучи уже громыхали, и молнии жгучими стрелами полосовали небо над ней.

Вот и сегодня с заседания парткома института Инна пришла в слезах. Сопли, слюни, перекошенный рот. В прекрасных тёмно-карих глазах – мировая скорбь.

Не выношу, когда кто-то рядом плачет. Сердце рвётся пополам. Подлетаю к ней. Расспрашиваю. Молчит. Снова торможу. Мычит что-то непонятное, но чувствую, говорить не хочет. Может, и не надо было мне её раскачивать. Впрочем, уже раскачала. Уж и не рада, ибо она взвыла:

– В парткоме ругают, что под газетой ставлю свою фамилию.

– Ну и чёрт с ней, с фамилией.

Она взорвалась:

– Как «чёрт с ней, с фамилией»? Это моя газета! Я за неё живот кладу! Ночей не сплю, обдумываю! Я её редактирую! Я отвечаю за каждое слово! Я её делаю от начала до конца!

Надо же. А я и Лида будто уборщицами работаем. Впрочем, действительно она живёт газетой. Даже когда был Цитков, он просматривал уже готовые материалы. Ну иногда подкинет пару-тройку злободневных тем, придумает несколько заголовков. А заполнять газету статьями, заметками, фотографиями – это целиком наша задача. К тому же надо суметь заказать их, а потом – вовремя «выбить» из «добровольных» корреспондентов (а у них – семинары, лекции, курсовые, свидания, конференции, диссертации... да чего только нет!), а потом привести в приличный удобочитаемый вид, а фото – ещё и отретушировать, ибо типография начнёт капризничать, а то и совсем выкинет иллюстрацию, и в газете будет дыра, которую срочно надо будет чем-то заполнять. А чем заполнять, когда институт в одном конце города (а только там можно добыть материалы), а капризная типография – в другом. А сроки поджимают. И все торопят. И все орут на тебя. И ты, как во сне, убегаешь от стаи волков, задыхаешься, сердце трепыхается, пот в три ручья – вот-вот догонят, а сил уже нет. И вдруг словно просыпа-

ешься: слава Богу, готова газета, вечер – в твоём распоряжении. И можно вздохнуть освобождённо.

Вот в таком полуисторическом состоянии мы делали свою работу. Может, в других редакциях всё проходило гораздо спокойнее. Но у нас должна быть лучшая газета. И ляпов быть не должно, и опечатки – боже сохрани! И статьи – самые злободневные, и иллюстрации – чёткие, показательные и к месту. Конечно, были у нас и ляпы, и опечатки, и глупость подчас высывала из строчек своё постыдное мурло. Без них невозможно. Ни одна балерина не обходится без падений на сцене. Но всего этого у нас было намного меньше, чем в других многотиражках. Особенно глупости. Её выпальвали безжалостно. И карали за неё сурово.

– Успокойся. Какую же подпись они предлагают?

– «Редколле-ги-я».

– Ну и пусть. Есть квас, да не про нас, – легкомысленно пошутила я.

Постоянно лезу под горячую руку... Вот и результат...

Инка с ненавистью взглянула на меня и прошипела:

– Сама в редакторы метишь?! Ждешь не дождёшься, когда меня скорынут!

Получила! Знать надо, кому, что, когда и как говорить. Тоже мне, шутница!

Вот уж и мысли никогда не было подсиживать её. Я же знала, каким густым перцем посыпан её хлеб. Да и вообще в голову такое не приходило. Мы же в одной упряжке! Мы же почти друзья! Как можно подсиживать человека, с которым ты бок о бок делаешь одно непростое дело, с которым общаешься двенадцать часов в сутки, делишь хулу и похвалу за свои дела?! Мы же едины во взглядах на культуру, на политику, нравственные принципы! Как она может говорить такое! И почему ей ничего не стоит размахнуться и жакнуть по зубам металлической битой? Видно, поэтому и друзья её разбегались, как тараканы при включённом свете.

Она решила не сдаваться. Она торкалась во все инстанции, писала во все организации, её рвали на клочки на всех заседаниях-совещаниях. В редакцию она возвращалась зарёванная, трясущаяся и позеленевшая. Дошло до того, что когтями, зубами, всеми оставшимися силёнками она пыталась удержаться в газете на любых условиях. Но дыбом вставшее цунами уже было не остановить.

Похоже, в институте началась охота на ведьм. Или в стране? Команда шла явно сверху. Ибо без верха никто не смел проявлять инициативу: по шапке так врежут, ни ушей, ни мозгов не соберёшь.

Я видела много амёб. Людей ни хороших, ни плохих; ни умных, ни глупых – никаких. Фактически любая этническая группа из них и состоит. Их намного больше, чем умных и талантливых людей. А такие, как Цитков и Рузевич, – вообще редкость. И как бы я к ним ни относилась, несмотря на все издержки моего характера и особенности этих неординарных личностей, меня всегда тянуло к ним. И всегда казалось, что их надо использовать по максимуму на благо отечеству и себе (есть чему поучиться, ну хоть ума чуть больше станет!).

Понятно, характер у Инки не мёд. И при всей своей трусости и генетической осторожности она, надо думать, всё-таки не раз демонстрировала его и своим непосредственным начальникам. Но ведь действительно она – журналист от Бога. Действительно, «её» газета, хоть и не союзного масштаба, была лучшей многотиражкой в городе. И при чём здесь характер или национальность, если дело делается хорошо?

Её «ушли». Жестоко, беспощадно. По-моему, даже с записью в трудовой книжке, запрещающей ей заниматься журналистикой. Во всяком случае слух прошёл. А спрашивать у неё напрямую я побоялась. Лида тоже тенью скользила по редакции. Со слезами, с кровью сердца, с истериками Инна покидала институт. После неоднократных оплеух я держалась настороженно, в стороне. Перестала расспрашивать её, откровенно сочувствовать. Да и не позволила бы она. Просто срывала бы на мне своё настроение. А тем временем жизнь её рушилась. И это было несправедливо. Она преданно служила газете, институту, а её с мясом отодрали от любимого дела, да ещё вдогонку добили запретом вообще быть журналистом. Я спрашивала у Циткова, зачем это делается. Он уходил от ответа.

Инна ушла на завод. Много лет подбирала научную литературу по нефти и газопереработке. С её феноменальной памятью в курс дела вошла быстро. А вот с людьми общего языка не находила. И это ещё мягко сказано. Её травили, оскорбляли, откровенно издевались. Не все, наверное. И всё же жизнь её делали невыносимой. Этакая девочка для битья. Надо думать, она не оставалась в долгу. Язычок у неё – будь здоров. И никто не хотел понимать её и прощать. Хотя бы за ум, за огромные знания. Хотя бы за увечья.

Года через два я встретила её на улице. Я очень обрадовалась. Заулыбалась. Раскинула руки, готовая обнять её. С каменным лицом, подпрыгивая из-за укороченной ноги, она прошла мимо, якобы не замечая, словно вменяю это до невозможности. Ну за что такое? Должна же она понимать, что в её бедах моей вины нет!

Я загляделась на рыжие языки на дне костра и вспомнила ту памятную встречу в автобусе.

Кто-то окликнул меня. Я пошарила взглядом и увидела Инну. Она сидела у окна. Махнула рукой и ткнула пальцем на свободное место рядом. Прошло лет сорок после случайной встречи на улице. Когда она демонстративно прошла, как мимо забора, «не заметив меня». Мы постарели, огузели. Много людей и событий промелькнуло мимо. Может быть, мы стали мудрее. А может, вообще поглупели. Но мы были рады друг другу.

Торопливо и жадно выслушивали повествования о том, чем заполнены были эти годы. Обменялись телефонами. И расстались друзьями.

Вскоре она позвонила. Как и прежде, стали ходить друг к другу. Стали вместе чаёвничать, приглашать на праздники.

Она жила одна. Совсем одна. Друзей – никого. Было несколько знакомых, которые ценили её интеллигентность, её ум и неугасающую память, скопившую огромный багаж разнообразных знаний. Но, насколько я поняла, дружеской близости не было ни с кем. Были, правда, родственники, затерявшиеся на огромных просторах страны. Но рядом всё-таки – никого. И я, со своим шумом, звоном, с многочисленными друзьями и знакомыми, похоже, оказалась соломинкой, вовремя подвернувшейся под руку. И оттолкнуть её у меня духу не хватило. Хотя знала, что в любой момент она может остро и крепко куснуть меня. И всё же надеялась, что время прошло, душевные бури поутихли, взгляд на мир стал мягче и светлее. Да и её подчинённой я уже не была.

Опять она искала работу. Из-за своего характера и злого языка она снова и снова сталкивалась с хамством, грубостью. А жизнь пенсионерки, намертво законопаченной в квартире, была ей невыносима.

Однажды мы сидели у меня на диване, пили чай и вспоминали те молодые редакционные годы. Я откусила шоколадную вафлю, сделала глоток из чашки и благодушно произнесла:

– Ты не жалеешь, что тогда бузить начала? До сих пор занималась бы газетой. Многих проблем избежала бы.

И тут что-то произошло. Уголок рта пополз вниз, обнажая крупные зубы. Глаза округлились и полыхнули ненавистью. И... Вот оно... Случилось то, чего я ждала и боялась: куснула-таки. И не просто куснула, а вырвала мяса клочок.

– Это из-за тебя мне пришлось уйти! Это ты жаловалась на меня! Это ты мечтала стать редактором! Это ты всегда подсиживала меня!

Я онемела. Что это? Неужели время не образумило её? Неужели в ней намертво засело, что в бедах её – моя вина? Откуда она взяла?! Да мне в голову не приходило строить карьеру на чьих-то костях! Есть люди, которые с юности рвутся к власти. Меня же это никогда не интересовало. Не власть мне была нужна – духа взлёт.

...А ведь я очень ценила её достоинства. Она многому научила меня. И слава ей за это. Лышу себя надеждой, что и я была чем-то полезна ей. Да, видно, какой-то дьявол жил в ней и всё время поддерживал огонь ненависти и зла. Во всяком случае, в мой адрес...

...Может, на лбу моём сияет какой-то изъян, червоточина, что позволяет ей так думать? Конечно, я не была ангелом. Но печати Каина – точно нет. Я не плела интриг, начальникам не шептала на ушко гадости про неё. Тут совесть моя чиста...

...Даже сейчас, когда вспоминаю эти её металлические слова – словно медведь страшной когтистой лапой скребёт внутри...

...Я не стала изображать, как глубоко (и уже не первый раз) пронзили меня её слова. С застывшим лицом просто сменила тему разговора. Но видеть её больше не захотела. Вскоре нашла предлог и общение свела на нет. Она звонила, и не раз. Какое-то время звонила и я, поздравляла её с праздниками, с днём рождения. Я помнила, что почти некому её поздравить...

Давно уже не звоню. Хотя знаю: нехорошо это. Всё равно что человека в лесу бросить. И чувство вины не проходит. И груз этот гнетёт меня.

Я часто её вспоминаю. И понимаю: несчастный она человек. Но мне тоже невмочь.

Право, сил – никаких...

И я не позвоню больше...

Наверное...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

К моему большому удивлению, после увольнения Инны поручить газетой дали мне. Некому было больше. Всех рулевых разогнали. Разумеется, внизу четвёртой полосы стояла подпись: «Редколлегия». Правда, я не была полноценным редактором. Всего лишь – исполняющей обязанности, и. о.

Первым делом после всех этих революций ко мне подошёл дядечка с немигающим взглядом и вызвал в коридор (в редакции было много студентов). Мы встали у окна, и он осторожно, без всякого нажима стал спрашивать о ребятах, которые остались за дверью комнаты. Я восторженно всплеснула руками:

– Ой, знаете, ребяташки замечательные! Умненькие, талантливые! К нам дураки не ходят.

Он взглянул на меня как на идиотку. И терпеливо, ровным голосом уточнил:

– Как раз умные меня и интересуют. Что вы можете сказать об их взглядах. С кем дружат, чем помимо учёбы занимаются. В каких организациях состоят.

Я всё поняла. Меня в стукачи вербовали. Это была повсеместная практика в стране: начальник должен стучать на подчинённых.

– О, конечно! У нас в редакции большая организация действует.

У дядечки даже уши напряглись, он весь подобрался и приготовился внимать.

– Факультет общественных профессий называется, отделение журналистики. Многие сюда приходят. Помимо технических наук ребятаки ещё и литературой интересуются. Так сказать, гуманитарным направлением.

Я преданно заглянула ему в лицо.

– Через полчаса занятия. Приходите. Они рассказы интересные пишут, стихи. Уже не говоря о том, что активно занимаются журналистикой. Получите удовольствие.

Он понял, что я придуриваюсь. Смерил меня взглядом и попрощался. А я догадалась: недолго мне рулить газетой. И аббревиатура «и.о.» никогда не исчезнет с моей должности.

И правда. Не прошло и месяца, как к нам прислали мужичка, какого-то заплесневелого, прокуренного до печёнок, худого и морщинистого. Неизвестно, где он ошивался до нас, но к редакторской работе был абсолютно непригоден. Он даже не понимал, с чем её едят. Но передовицы, хоть скучные и занудные (да всё равно их никто не читал!), писал «правильные». С точки зрения партии и правительства. Вычищая его «литературное творчество», я подчёркивала карандашом сталкивающиеся слова, нелепицы стиля, грамматические ошибки и молча возвращала назад. Я помнила, как меня в похожих случаях унижала Инка. («Бездарно! Глупо! Безграмотно! Безобразно! Никуда не годится!»). И очень хотелось поступить с ним так же. Очень хотелось сказать ему: «Ну и какого лешего ты, дружок, не за своё дело взялся? Ведь ты начальник, ты меня учить должен, а не наоборот». Нельзя было и сравнивать этого мужичка с умным, насмешливым, широко образованным Цитковым. Нельзя было сравнивать и с Инкой, хоть и ядовитой, но тоже очень грамотной и образованной, до самозабвения любящей своё дело. Но в государстве сплошь и рядом стояли безграмотные, но преданные системе заплесневелые мужички, которые и привели страну к гибели. Свирепо, не скрывая раздражения, я молча просто возвращала ему подчёркнутые тексты – и всё. Ведь мне помощник был нужен, а не младенец в журналистике. Некогда мне было нянчиться с ним. Да и вряд ли когда-нибудь он стал бы полноценным редактором. Ведь было ему уже далеко за пятьдесят. Сформировался. Время учёбы прошло. Интеллект его был невысок. Ничему я не могла от него научиться. Скучно мне было с ним.

Фактически со мной поступали так же, как с Цитковым и Рузевич. Не доверяла мне система. А нечего придуриваться перед серьёзными дядечками. Жить, правда, было спокойнее. Впрочем, давно я уже собиралась менять журналистские лыжи на что-то другое. У меня был свой внутренний мир. Я искала в нём гармонию красоты, цвета и формы. Но всё равно – низкий, размашистый поклон за то, что оставили в газете, а не выгнали с волчьим билетом.

Ха! А если бы выгнали, что с газетой бы стало?! Лида ведь тоже ещё не в форме была. Да и вообще на горизонте ничто не указывало, что форму эту она когда-нибудь наберёт...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

А это настолько было всем всё равно, что, когда я запросилась во вновь открываемую социологическую лабораторию, почти никто и не возражал. Почему меня брали туда – объяснялось легко: возглавлял её, то бишь научным руководителем, помимо доцентства на кафедре философии, был Цитков Яков Давидович. Разумеется, в его глазах я не была семи пядей во лбу. Но чем брать кота в мешке с улицы (кто его знает, как потом отзовется?), лучше иметь под боком человека, все достоинства и недостатки которого у тебя на ладони. Хоть знаешь, что ждать от него.

В то время социология в нашей стране – это особая графа. Уже ясно было, что капиталисты со своей частной собственностью гигантскими шагами обгоняют нас в экономике. И очень сильно помогают им в этом социологические исследования. А ну-ка, и мы займёмся тем же! Авось и проклятых обгоним! Но государственным предприятиям, тяжеловесным, ленивым и консервативным, социология была не нужна. Она беспокоила и только мешала жить. И всё же, хотя бы формально, по стране стали возникать социологические лаборатории. Вот и у нас создавалась.

Пока то да сё, шли согласования и раздумья по поводу моей персоны, в редакции вспыхнула весть, что продаются туристические путёвки в Польшу. Ехать на десять дней летом в студенческие каникулы, когда и мы не работаем. Но заявки подавать сейчас, весной.

Мы с Лидой загорелись.

О-о! Польша! Вот это да! Соцстрана, правда. Курица не птица, Польша не заграница. Всё равно здорово! Тем более что мои далёкие предки оттуда. По папиной линии. Хоть бы глазком взглянуть на историческую родину. Полная самых наиприятнейших надежд, я рванула в партком на разведку. Эта расчудесная организация решала пущать или не пущать кого-либо куда-либо. Всепронизывающим рентгеном она бдительно просвечивала каждого: предаст не предаст свою страну, сбежит не сбежит к капиталистам, променяв родные макароны на европейскую колбасу.

В просторном помещении было двое: спиной ко мне стоял первый секретарь – крупный, ещё не старый мужчина с бычьей шеей и партийно-короткой причёской (тот, который гонял меня за то, что носила брюки), и его заместитель Анатолий Ерошкин – молодой парень, тоже здоровенный, с типичной внешностью комсомольского вождя (если надо, показушно рубаху рванёт, чтобы не только предугадать желание начальства, но и тут же исполнить его).

– Владимир Геннадиевич, – с разгону обратилась я к Бычьей Шее, – не будете против, если мы с Лидой летом махнём в Польшу.

Первый не торопясь повернулся, обшарил меня взглядом, наслаждался самоуверенным ожиданием утвердительного ответа (мы ведь, журналисты, почти из того же ягодного лукошка, что и вы) и лениво молвил:

– Ну и чем вас так тянет заграница? Свою страну ещё не знаете, а туда же, на Польшу заглядываетесь...

Сам он уже успел побывать во многих странах мира.

– Как не знаем?! – И забила как из пулемёта: – Я на Севере была, в Крыму, на Украине, на Кавказе, на Урале. Обшарила все Прибалтийские республики. Сама в Ташкенте родилась.

Тут и зам. спохватился, Анатолий Ерошкин: как это без него обходятся? Кукарекнул в той же обвинительной тональности:

– А на Дальнем Востоке?

Я споткнулась. И заёрничала:

– А вот на Дальнем не была. Только на Ближнем.

– Вот и езжайте на Дальний.

Поговорили.

Пошутили.

По той же самоуверенности я решила, что отказа не было.

И ушла.

А тут и главный день настал. Просеивание желающих.

После некоторого ожидания в коридоре перед дверью вызывают в судилище. Достоин или не достоин посетить Польшу. В общем-то понятно, по какому признаку казнят и милуют. И всё же цыгане, покупая лошадь, в зубы ей заглядывают. А нам – куда?

Пьёшь? Куришь? Хулиганишь? А что? Запросто можешь пройти отбор. А вот если готов метнуться к врагам социализма... Здесь сгноим! И чёлка на лбу косяя... Дома сиди! Пока причёсываться не научишься...

Вошла в комнату, полную судей. Поздоровалась. И услышала о себе такое...

Оказывается, я запросто могу продаться любому, кто ненавидит нашу страну. Почему? Да потому, что... бегство из газеты в социологию... это... это – безобразный вызов всем нам (обвинитель выразительным жестом обвёл рукой присутствующих в комнате и почему-то ошарашенных проходящим других судей). Ну и что, что ваш переход согласован с парткомом и администрацией института! Ответственности у вас никакой. И сознательности – тоже. И понимания важности работы в газете – тоже. Как при чём тут Польша?! А разве достойны такие люди общаться с представителями хоть и социалистического, но всё же не нашего лагеря? (Вот это да! Вот это новость! Уж это – явный перебор.) И вообще, разговор окончен... Не созрели вы для поездки в заграницу.

И я ушла дозревать. Потерявшая ориентир. Шибанутая холодным паровозным рылом системы. Я ничего не понимала. Театр абсурда какой-то... Дурдом...

Я хорошо знала обвинителя. Это был доцент кафедры истории партии Николай Иванович Доронин, мягкий, даже деликатный человек. Он и меня прекрасно знал. И никаких конфликтов у нас с ним никогда не возникало. Что же случилось? И где я ухитрилась ему дорогу перебежать? На какую мозоль и когда наступила?

Голова у меня шла кругом. И обида... так захлестнула меня! Тем более что Лида оказалась зрелой для Польши. А я – нет! Проработавшая шесть лет в газете... И никаких нареканий. И никаких взысканий... Одни благодарности, грамоты, мелкие презенты к праздникам... Правда, это – скорее всего заслуга Циткова, выбивавшего для нас хоть какие-то поощрения за адскую и, надеюсь, всё же неплохую работу.

Прошли летние каникулы. Лида съездила в разэтакую Польшу. Много рассказывала о путешествии. Я слушала её стиснув зубы. Обида не прошла, конечно. Затаилась внутри. Но всё разрушающей ярости уже не было.

Я всё-таки ушла из редакции, стала социологом.

По своей новой работе как-то заглянула в партком. Народу там – тьма. Но ни первого секретаря, ни его зама не было. Навстречу мне шагнул Николай Иванович Доронин и громко, так, что слышали все, сказал:

– Извините меня, пожалуйста, что я не пустил вас в туристическую поездку. Недоразумение вышло. Анатолий Ерошкин решил, что вас тормознул первый секретарь. И велел любым способом задержать. Первый, когда

узнал об этом, сказал: «Кого же ещё отправлять за границу, если не журналистов?»

Я не растаяла от этих слов. Мало того, во мне опять неудержимо плеснула ярость. Ну что за рабская страна? Вместо того, чтобы возразить и как-то отстоять перед тупым парнем человека, которого ты хорошо знаешь, который по всей логике не может быть преступником, ты публично унижал, топтал меня, нёс околесицу, за которую человека заносят в чёрные списки, выбрасывают из нормальной жизни. Или сам боялся в чёрные списки попасть? Так время-то уже другим было. Семидесятые годы были...

Я не простила его. Хотя понимала: мой случай – пустяк. Ветра дуновение, по сравнению с тем, что переживали люди от действительного наезда этого паровоза. Я ответила громко и резко:

– Из-за таких, как вы, ГУЛАГи как нарывы вспухали по всей стране.

И он проглотил это. Молча вышел.

Наверное, все присутствующие в комнате тогда осудили меня. И, наверное, были правы. Человек публично извинился. Какого рожна ещё?! Да и мог ли он, доцент кафедры истории партии, послушаться заместителя секретаря парткома?! Хоть и придурка. И в семидесятые годы с людьми круто расправлялись. Нет, не расстреливали, но судьбу могли поломать. После оттепели шестидесятых государство снова стало утюжить своих граждан. И я до сих пор ругаю себя за резкость. Что поделаешь? Не сдержалась... Вскипела...

Тетрадей осталось ещё очень много. Долго и нудно было бросать в костёр по листочку. Это сколько же надо здесь пробыть, чтобы спалить их все?! Я снова накидала их скопом в разгоревшееся пламя. Огонь спрятался под грудой бумаги, а потом неожиданно вырвался на свободу и весело запрыгал над кострищем.

За спиной послышались шорох и какое-то пыхтение. Я обернулась. Ко мне направлялась средних размеров собака, худая, тонконогая, с короткой рыжеватой шерстью. Настроена она была насторожённо-воинственно, потому что с соседнего участка из щели между хилым забором и землёй ко мне выкатывались толстые, добродушно-весёлые и такие же золотистые короткохвостые щенки. Один, другой, третий... Братцы! Да сколько же вас? Семь штук!

– Орда золотая! – ахнула я.

Два самых сильных и шустрых щенка уже обгоняли мамашу, приближаясь ко мне. Она грозно рыкнула. Щенки тормознули и смешно шлёпнулись на толстые зады. Мать сделала ко мне ещё шаг, чтобы её резвые детки оказались хотя бы вровень с ней, и на всякий случай загавкала.

– Ладно-ладно. Напугала. Ты же пришла, чтоб я вас накормила. Вежливой надо быть.

Она перестала гавкать и слушала выговор, чуть склонив голову набок.

– Где же я столько еды возьму? Есть у меня бутерброд, но разве хватит всем? – Причитала я, понимая, что семейство бесхозное и грядущая зима вряд ли хоть кого-то оставит в живых. – Куда ты нарожала столько?

Мамаше не понравился последний вопрос, и она укоризненно зарычала. Шустрые детки воспользовались близостью к ней и жадно стали хватать оттянутые соски. Но истощённая бескормицей и целой армией щенков, она грубо откинула их мордой и опять взглянула на меня, уже с мольбой. А

я не могла шевельнуться, опасаясь кого-либо задавить, ибо атакована была другими малышами. Они прыгали на кеды, путались в шнурках, развязывая их, лезли на колени, срывались, падали на спину, повизгивая от удовольствия и дрыгая короткими лапами, твякали тоненькими голосами.

– Что же мне с вами делать? – горестно вопрошала я, из щенячьей кучи-малы выбираясь к сумке.

Бутерброд вызвал большой интерес у мамыши. Она даже забыла, что я могу быть врагом её и её орды. Она опять сделала шаг ко мне и шумно облизнулась. Я решила так: если будет жива мать, выживут и щенки. И весь бутерброд полетел в её сторону. Ам! Будто никогда его и не было. Но запах колбасы дошёл и до детёнышей. Они заметались, заскулили, запрыгали, но было поздно.

Благодарности от собаки я не дождалась, зато возникло некоторое доверие. Она встала передо мной на расстояние шага и вполне дружелюбно взглянула на руки, где только что был бутерброд. А чтоб я не сомневалась, за что заслужила дружбу, кивнула мордой на сумку.

– Нету больше! – чуть не плакала я.

Она не поверила.

– Дай! Дай! – требовала она.

Ничейное семейство ещё долго крутилось вокруг, надеясь на подачку. Наконец мамаша поняла, что нового угощения не будет, и увела свою орду на другие участки.

Быстро темнело. Небесная хмарь сгущалась и грозила всей холодной осенней мощью вот-вот обрушиться на землю.

Мне надоело убивать свою молодость. Я устала.

Не все тетради сгорели. Но я ушла. «Дождь доделает остальное», – успокаивала себя, ковыляя по скользкой глинистой дороге. Внезапно нога подвернулась и поехала. Я не удержалась и с размаху шлёпнулась на землю, кое-где покрытую битым кирпичом. Случайно приземлилась на кусок доски, выпавшей из соседнего забора. Вокруг никого не было. И я не торопилась вставать.

– Ну, теперь подведена черта, – громко сказала себе. – Дневников нет. А сказка моя спасена.

Я подула на разбитую коленку, покривилась от боли и... засмеялась.

Недавно наш художественный музей приобрёл мою лиственницу (сама не навязывалась из-за того же комплекса неполноценности, который сберегла до старости). Денег, как всегда, у культуры нет. Предложили подарить. И даже без денег – это для меня большая честь. Потому что художников по стране – сотни тысяч, миллионы. И нет автора, который не мечтал бы застолбить себя в музее. Только не больно-то берут.

Надо же, мои работы рядом с шедеврами Коненкова, Левитана, Фальконе, Айвазовского, Матвеева... Да боже мой! Это один из лучших музеев страны!

Ура! Сказка моя в надёжном месте! И Садко, играющий на гусях в подводном царстве; и Илья Муромец, преодолевающий ветер от дикого свиста Тугарина (даже огромное дерево к земле согнулось, вот-вот с корнями вырвет); и Алёнушка, присевшая перед Козлёночком Иванушкой и не подозревающая, что за ней следит колдунья-ворона. И аленький цветочек со страшным чудищем и самоотверженной Машей. И Китеж-град на дне

озера в зависимости от освещения то исчезает, то вновь появляется среди сказочных рыбок и водорослей... Все одиннадцать работ!

Да. Это большая радость.

Правда, есть ещё одна проблема (ну, без проблем вообще никуда!). Осталось пристроить пять Венер на пенсии и одного Аполлона, тоже на пенсии. Скульптурки не более 30 сантиметров. Из липы. И все они – «ню». Люди моего поколения при виде их смущённо прячут глазки, молодёжь хохочет: боги-то изображены не в цветущей молодости, и старость их не грустью и болезнями дышит (да и вообще, могут ли античные боги когда-либо потерять здоровье и красоту?). Я пошутила над старостью, а значит – и над собой. Просто изобразила пять обнажённых старух и одного старика. Где-то что-то усилила, где-то уменьшила. Получилось смешно и очень – моё. Никогда никому не подражала. И почему-то дороги мне эти скульптурки. Хотелось бы сохранить. В музеи, естественно, не предлагала. Скорее всего, как увижу жадный и восхищённый взгляд – подарю. Но различать их нельзя. Они хороши толпой. Худые, толстые, пузатые, мосластые, курносые, длинноносые. Одна даже в шляпе. Словом, есть на что посмотреть... Сделала я их уже на излёте. Можно сказать, последний деревянный вздох.

Всё. Уже не могу заниматься резьбой. А лиственницу осилить – тем более: устраивать в доме громы и молнии, землетрясения и цунами – не по годам. К восьмидесяти подкатило. В общем-то могу, конечно. Навыки остались. И очень хочется. Но сразу начинаю болеть. Сильно. Догадываюсь: экспериментировать не стоит...

А творческий ручеёк всё-таки ну не бьёт, конечно, как прежде, – едва журчит, но – живой. И на том спасибо: до сих пор печатаюсь в хорошем литературно-художественном журнале. Да и книгу рассказов издала. За свои денежки. Правда, квартиру на меньшую поменяла. Настало время, когда не цензура, а денежки решают всё.

И роман наконец-то издала. В областном министерстве культуры помогли...

Жизнь полна событий. Всяких – и хороших, и не очень. Но главное: в мои годы события все ещё происходят...

...Случайному прохожему, если бы он появился, предстало бы странное зрелище: сидит в грязи полоумная бабка и, несмотря на разбитую коленку, мокрую листву и ползучий осенний холод, счастливо смеётся.

Я торопливо поднялась и потопала к остановке маршрутки. И хоть в земле были руки, джинсы, а подвернувшаяся нога упрямылась и отказывалась идти, внутри меня играл оркестр: безутешно стонали скрипки, настойчивым бормотанием перекрывали их победные барабаны, прорывалась грустная и нежная мелодия флейт.

Лёгким шорохом этой музыке начал вторить дождь...



**Михаил
КАРИШНЕВ-ЛУБОЦКИЙ**

СЛОВО О ДРУГЕ

Ровно сорок лет тому назад в саратовской «Заре молодёжи» появилось объявление о том, что такого-то числа в такое-то время в Доме учёных начнёт свою работу литературная студия «Молодые голоса». В назначенный день и в назначенный час в знаменитое и любимое многими саратовцами учреждение на улице имени Н. А. Некрасова пришли десятки людей. Молодых лиц было много, что в настоящее время большая редкость. Среди пришедших были: два инженера крупного саратовского предприятия Михаил Муллин и Николай Куракин, артист театра имени Карла Маркса Юрий Жук, талантливая поэтесса Наталья Уманская (позже ставшая Медведевой), журналист Пётр Африкантов, студенты Садай Шакерли и Александр Амусин, а также автор этих строк, в ту пору работавший директором клуба юных техников. Забегая немного вперёд, скажу: все эти люди и некоторые другие пришедшие в студию стали авторами интересных произведений, большинство со временем были приняты в разные Всероссийские союзы писателей. В литстудии очень быстро организовались дружеские компании. В одну такую компанию входили Муллин, Куракин, Африкантов, Амусин и я. Очень близкими товарищами нам были Уманская-Медведева, Жук, Шакерли.

Но сейчас я хочу рассказать, пусть очень кратко, о своём друге Александре Амусине, который празднует в этом году двойной юбилей: 60 лет со дня рождения и 40 лет с начала активной литературной, журналистской и издательской деятельности.

Саша Амусин сначала проявил себя как поэт, автор любопытных, преимущественно пейзажных стихов. Родившийся в селе, выросший на просторах родной Долины Фёдоровского района, он очень тонко умел уже тогда передавать прелесть природы своей малой родины. Позже он напишет поэтические циклы о войне и послевоенной жизни села. Эти его стихи, так же, как

-
- Михаил Александрович Лубоцкий (литературный псевдоним – Михаил Карিশнев-Лубоцкий) родился в 1948 году в г. Чапаевск Куйбышевской области. Окончил филологический факультет Саратовского государственного педагогического института. Автор книг «Волшебные сказки», «Приключения маленькой волшебницы», «Чародей из Гнэльфбурга», «День рождения домового», «Искатели злключений», «Обманное колечко» и др. Публиковался в журналах «Мурзилка», «Детская роман-газета», «Странник», «Волга–XXI век», в «Литературной газете» и других изданиях. Лауреат премии журнала «Мурзилка», Всесоюзного конкурса на лучшую пьесу для детей, Всероссийского литературного конкурса на лучшую книгу для детей «Добрая лира», премий имени П.П. Ершова и А.П. Чехова. Заслуженный учитель РФ. Член Союза писателей Москвы. Ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей. Живёт в Саратове.

и стихи «пейзажные», я высоко ценю: в них есть настоящая искренность, «живая жизнь», а не выполнение «заказа на предложенную тему».

Позже Амусин напишет ряд прозаических произведений, много публицистических статей. Он проведёт большую исследовательскую работу по изучению периодов жизни великого учёного Николая Ивановича Вавилова и обстоятельств его трагической гибели в саратовской тюрьме. Амусин потратил на сбор материалов о Вавилове многие годы. Он в этот период работал в саратовском журнале «Степные просторы», и, когда я звонил ему в редакцию (мобильников тогда и в помине не было) и просил пригласить к телефону Амусина, мне вежливо и спокойно отвечали: «Амусин в тюрьме» или, как вариант, «Амусин на кладбище». И я так же спокойно реагировал в ответ: «Спасибо» – и клал трубку на аппарат.

Очень большую роль Амусин сыграет в поддержке саратовских писателей, внесёт свой вклад в книгоиздание в регионе и в дело укрепления положительного имиджа Саратовской области. Занимаясь на протяжении ряда лет бизнесом, он без всяких просьб с чьей-либо стороны издал на свои деньги первые книги М. Каришнева-Лубоцкого, Николая Байбузы, Михаила Мулина. Затем он учредит общественную организацию «Ассоциация Саратовских Писателей» (АСП) и на деньги спонсоров и меценатов, а также частично и на свои средства издаст солидный фолиант с моими сказочными повестями «Искатели злоключений». Вскоре книгу переиздадут с этими же иллюстрациями в крупнейшем московском издательстве «АСТ» сразу в двух престижных сериях «Внеклассное чтение» и «Любимое чтение». Тиражи разойдутся по книжным магазинам не только России, но и русскоязычной литературы в США, Германии, Израиля, Испании, Украины, Казахстана и других стран. Ни мне, ни иллюстратору книги Орловой, ни тем более Амусину евро, гильдены, шекели и тому подобные юани не достанутся. А пишу я это только ради одного: привожу конкретный пример пусть очень скромного, но положительного вклада Амусина в укрепление имиджа России как культурного государства.

Поиски спонсоров и меценатов стоили Амусину большого напряжения душевных и физических сил. Тогда он понял: нужно создать попечительский совет АСП. И ему это удалось сделать! В попечительский совет АСП вошли уважаемые представители саратовской интеллигенции и саратовского бизнеса, возглавила совет Наталья Алексеевна Ипатова. Благодаря поддержке попечительского совета нам удалось подготовить и издать два солидных тома хрестоматий с произведениями авторов Саратовского края, несколько книг поэзии, прозы и книг для детей. В Москве в Международном Содружестве Писательских Союзов (МСПС), который был правопреемником СП СССР и который возглавлял С. В. Михалков, заметили активную деятельность АСП и включили АСП в состав МСПС, а Александра Амусина ввели в состав исполкома МСПС. Этот факт укрепил имидж Саратовской области. АСП приняла участие в крупнейших международных книжных форумах, таких, например, как фестиваль «Библиобраз-2007», который проходил в Московском Манеже и в котором приняли участие делегации многих стран.

Александр Амусин, Наталья Ипатова и многие члены АСП активно участвовали в проведении многочисленных мероприятий, направленных на поддержку чтения и развитие литературного творчества. Встречи с юными читателями в библиотеках и школах Саратова и районов области, участие в различных конкурсах в качестве членов жюри и в таких мероприятиях, как «Дни славянской письменности», «Неделя детской книги», «Библионочь», фестиваль «Радостное чтение» и т. д.

Потом времена немного изменились, и АСП свою активность слегка поубавила, предоставив право показать себя с лучшей стороны региональному отделению Союза писателей России.

А мы продолжили заниматься литературным творчеством. Александр Амусин написал за последние годы несколько книг прозы и поэзии, эти книги напечатали московские издательства, автор получил ещё несколько литературных премий.

9 июля, в день рождения Александра Амусина, наш давний общий друг Михаил Муллин посвятил ему доброе, несколько шуточное стихотворение. Посвящение это написано, конечно, не для отдельной поэтической публикации, а для застольного прочтения в тесном кругу. Но я хочу процитировать это «датское» (приуроченное к дате) стихотворение, так как в этих шутках, согласно существующему выражению, есть изрядная доля правды. Да и характер юбиляра передан верно, а благородные дела отображены.

*Блится солнце днём, а вечер станет лунным –
Луне и солнцу не блистать грешно.
Им ведомо: девятого июля
Светило третье над землёй взошло!*

*И гордый внук славян, и дикие тунгусы,
И финны ведают, как и надменный швед,
Что в оный день родился сам Амусин –
По Божьей милости мыслитель и поэт.*

*Как Пушкин бы сказал (как дважды два – четыре):
Амусин будет славен, знаменит
Да и любим, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.*

*Но... как же им не быть, я предскажу без риска,
Коль юбиляр их щедро издавал?
Им точно быть, раз Александр Борисыч,
На зависть спонсорам, поэтов создавал.*

*Ты не себе – другим печатал книжки.
К чужим талантам благосклонен был.
И кажется, за то тебе Всевышний
Своею волей молодость продлил.*

*И если посмотреть без верхоглядства,
Никак не может не заметить взгляд:
Твои года – ну да, твоё богатство,
Но и литературу богатыя.*

*Живи ж, чтобы восторги не стихали!
И виждь, и внимли, и твори, поэт!
И богатей потомками, стихами
И огромной кучей новых лет!*

Поздравляю от своего имени и от имени наших друзей Александра Амусина с юбилеями! Здоровья и счастья тебе и твоим близким!



**Александр
АМУСИН**

ОТ ЯСЕНЯ ДО ОСЕНИ

Две деревни –
 в селе моём.
В первой –
 праздник из дома в дом!
Солнце держит, как рюмку, вяз,
А под небом – загулом пляс.

Во дворах – то гармонь, то смех!
Льётся песня дождём на всех:
«Что ж ты робкий такой, родной?
Ох, нарушу я твой покой...»

В танцах вьюжат и стар, и мал!
Запыхавшись, плетень упал!
Но народ как в метель вошёл:
«Эй, гармонь!
 Ещё!
 Хорошо!»

Облаками стирая пот,
Гармонист уже небо жжёт...
И, врезаясь в степной ковыль,
Ветер кружит платки и пыль...
Да влюблённые – за рекой –
Шепчут: «Милый, зачем... родной...»

-
- Александр Борисович Амусин – журналист, писатель, поэт. Родился в 1959 году в селе Долина Фёдоровского района Саратовской области. Окончил агрономический факультет Саратовского сельскохозяйственного института им. Н.И. Вавилова и отделение журналистики на факультете общественных профессий. Работал агрономом, научным сотрудником, редактором журнала «Степные просторы», газеты «Земское обозрение». Возглавлял редакционно-издательский центр «Аэлита», газету «Орбита», РОФПМ «Комсомольская правда». Публиковался в российских журналах («Волга–XXI век», «Курс», «Юность», «Москва», «Московский вестник», «Смена», «Поэзия», «Наш современник»), зарубежных («Обзор» (США), «Русский стиль», «Согласование времён» (Германия) и других. Автор книг «Жажда дождя» (1999), «Долина» (2000), «Этюды времени» (2007) и др. Отдельные произведения переведены на английский, немецкий, мордовский языки. Обладатель почётного звания «Золотое Перо Руси», награждён орденами «Г.Р. Державин», «В.В. Маяковский», «С.А. Есенин», медалями «Патриот России», «За трудовую доблесть» и др. Лауреат международных и всероссийских литературных конкурсов.

Две деревни –
 в селе моём.
В первой – праздник
 из дома в дом!
А в другой –
 за погостом стынь...
Обнимает кресты польнь.

Угрюмый ветер просится в ладонь,
Под ноги пылью бросилась дорога,
Над новым домом – месяц молодой
Застыл, как виноватый, у порога.
За голой степью – высохший ручей,
Овраг, что речкой деда называли.
Стерня, щетинясь, смотрит из полей
На горизонт, размытый чёрной гарью.
Вновь над селом – такая тишина,
Что старый пёс закрыл глаза от боли...
Который год, как кончилась война,
А мы солдат
 по-прежнему хороним...

ВЕНЧАЛЬНАЯ

Под ракетами да под топодем
Иной – шёпотом, другой – гоголем,
Что века назад, про любовь гудят,
Да глаза в глаза –
 как в сердца глядят.

А по рекам ширь – глубока вода,
А по небу плыть – да на облаках.
А над полем песнь – не послушаться,
Да над лесом клин
 с криком кружится...

А над церковью –
 да набат густой,
То один ведёт, то несёт другой,
Что века назад – за фатой слеза,
Да венец к венцу –
 да к рукам сердца!

А по сёлам пляс – по дорогам гуд...
Молодых везут – старикам на суд.
Песнь венчальная, обручальная,
Да слова любви все печальные.

Под калиною иль под яблоней
 Столы сдвинуты – яства ядрены!
 Как века назад – до утра гульба,
 Со слезой листва...
 Песни, пляс – гурьба!

А на небе звёзд –
 что в судьбе надежд,
 А над полем гроз –
 что в любви одежд...
 По реке плывёт веноч свадебный –
 Может, сброшенный,
 может,
 краденый...

Ох, луга мои, луга –
 То цветы, то сено!
 Разметали берега
 Под небесной пеной.
 Крошат радугу,
 Что хлеб,
 Кареглазым пчёлам,
 Ткут вечерней трелью плед
 Для дороги чёрной.
 На полянчину ладонь
 Ягоды рассыпав,
 Манят тропкой золотой,
 Донником расшитой.
 По росе плывут ладьи –
 Хмель да медуница.
 И сильнее нет любви,
 Что
 в лугах
 таится!

И у дождя бывает жажда,
 Когда, безумный от любви,
 Он тело рвёт, чтоб каплей каждой
 Любовь любимой донести!

И у дождя бывает жажда,
 Когда, безумный от любви,
 Он тело рвёт, чтоб каплей каждой
 Войти в любимую,
 спасти!

И у дождя бывает жажда,
 Когда, безумный от любви,
 Он тело рвёт, чтоб каплей каждой
 Себя в любимой обрести...

А я люблю! И в том мой приговор,
Что каждый день и каждый вечер
Я захожу в знакомый двор,
И тень ложится мне на плечи.
Тень дум твоих, надежд, мечты,
Тень сонных окон, гулкой двери...
Здесь ты живёшь, здесь ходишь ты,
Здесь веришь ты.
Здесь я не верю.
Здесь над сиренью молодой
Склонился тополь, что-то шепчет.
Спешит сестрёнка за водой,
Накинув шаль твою на плечи...
И так годами торим путь,
Как будто нет иного счастья:
Дождаться,
 встретиться,
 кивнуть,
Кивнуть друг другу –
 и расстаться...

От пятницы до пятницы
Ты ходишь в синем платье,
Глядишь в окошко светлое,
Гадаешь на него.
Зовут подружки: «Глупая,
Так жизнь пройдёт – старухой,
Слова легки и ветрены,
Не стоят ничего.
Другие – много искренней,
Красивее, неистовой,
И перестань зря веровать,
Ты ждёшь, да не того».
От вторника до вторника
Печальна твоя горенка –
Пустая, одинокая,
В ней холод и темно.
А в среду сердце мается,
То злится, то раскается,
Тоскою обжигается.
И страшно оттого,
Что кто-то утром пятничным
Войдёт в наряде праздничном –
А в доме никого...

От ясеня до осени –
Две капли тишины,
Две тайны нежной просини
Апрельской глубины.
От осени до ясеня –
Сожжённая стерня,
Полоска неба грязного,
Два высохших зерна.
А дальше – там, за осенью,
Где белая трава,
Лежат в январской просини
Из ясеня дрова...

И, умирая, люди не уходят.
И, обрывая фразы, говорят.
И в очень малом – многое находят.
И, скованные холодом, – горят.

Не всё, что понятно взрослым,
Понятно детям.
Не всё, что понятно детям,
Понятно взрослым.
Но если ребёнка вижу,
Взявшего за руку взрослого,
Значит, мы стали ближе –
На ладошку уменьшилось сложного.

Написал письмо,
Достаю конверт...
И в словах – тепло,
Да меня в них нет.
И к чему – весь свет,
Главпочтамт, вокзал...
Достаю билет –
Я не всё сказал!..

Редакция журнала «Волга–XXI век»
поздравляет Александра Борисовича Амусина
с юбилеем!



**Фёдор
ОШЕВНЁВ**

ВЕРУЮЩИЙ БАТЮШКА

Плох тот диакон, который не мечтает стать священником, хотя упоминать и даже думать об этом среди церковников считается греховным. Мол, подобное самообольщение отнимает время, отпущенное Господом для спасения души.

Однако сын протоиерея одного из соборов южного российского города Владислав Кураков в глубине сердца мечтал. Собственно, будучи потомком духовного лица, он попросту не мыслил себе иной жизненной дороги. И ещё характерно, что с раннего детства мальчик отличался глубокой рассудительностью.

В первый раз в первый класс в семьдесят восьмом году он пришёл, ведомый за руку не только матерью, но и отцом, тогда ещё совсем молодым батюшкой, облачённым в рясу. И, разумеется, уже потому обратил на себя особое внимание – как своей учительницы, так и директора школы.

Миновал месяц, и однажды учительница задержала Владика после занятий.

– Вот ты говоришь, что Бог есть, а наши космонавты, сколько ни летали, никогда его не видели, – авторитетно заявила она. – И почему?

– А для Бога космический корабль – это только малю-ушенький из многих-многих коридорчик. Потому они Всевышнего из него и не видят. И никогда не увидят, если ещё и не веруют, – был неожиданный ответ.

Учительница сразу не нашлась, как возразить, и сухо произнесла:

– Иди...

С ровесниками мальчик держался несколько обособленно, полагая, что среди них он по-своему избранный. Но, когда тре-

-
- Фёдор Михайлович Ошевнёв родился в 1955 году в городе Усмань Липецкой области. Окончил химический факультет Воронежского технологического института в 1978-м и факультет прозы Литературного института им. А.М. Горького в 1990-м. Четверть века отдал госслужбе в армии и милиции. Участник боевых действий. Ныне майор внутренней службы в отставке. Прозаик, публицист, журналист. Автор более тысячи журналистских материалов. Автор двенадцати книг и более четырёхсот литературных публикаций в отечественной и зарубежной периодике. Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» имени Н. С. Лескова – за лучшие публикации в журнале «Приокские зори» (Тула) за 2018 год. Лауреат Международного литературного конкурса «Есенинцы» – в номинации «Господи, я верую!..» Дипломант Международного литературного Тургеневского конкурса «Бежин луг» – в номинации «За глубокое и искреннее отражение окружающего мира». Член Союза журналистов России с 1990 года и Союза российских писателей с 2014 года. Живёт в Ростове-на-Дону.

бовалось постоять за себя, стоял, и до конца. Лишь изначально обязательно крестился. И одноклассники быстро усвоили: если уж он это сделал, быть битве серьёзной...

После школы – учёба в Ставропольской духовной семинарии. А перед самым поступлением в неё – так было угодно свыше – Владислав потерял мать. Она ещё с детства страдала сердечной недостаточностью. И за год так и не смогла оправиться от обширного инфаркта, случившегося, когда сыну исполнилось шестнадцать.

В двадцать один год Кураков был рукоположен в диаконы. И во славу Господа начал путь служителя алтаря в старинном храме – небольшом и уютном, окрашенном в голубые тона, с шатровой звонницей и протяжённым притвором, отделанным настенными росписями. Сам храм когда-то возвели на краю основанного задолго до революции кладбища. В середине тридцатых его полностью похоронили под масштабными производственными строениями. С тех пор об уничтоженном погосте напоминало лишь несколько давних могил, волею случая оказавшихся внутри церковного двора.

Прошло немало лет, пока к ним неожиданно прибавилась ещё одна.

Тогда по заданию настоятеля углубляли подвал под храмом (там новые шкафы по высоте не помещались) и случайно пробрили внутреннюю каменную кладку, оказавшуюся перегородкой. За ней открылась потайная комната, на глаз три на три метра. Посреди неё лежали два скелета с простреленными черепами и в полуистлевшей казачьей форме. С погонами сотника и подъесаула – голубые просветы на серебряном поле, – указывающими на принадлежность к войску Донскому. Убиенных перезахоронили в одной могиле и отпели.

Случай этот произвёл на Куракова весьма гнетущее впечатление: насколько же сугубо бесчеловечным надо быть, чтобы вершить казнь в святилище, под сенью креста! А семьи погибших явно остались в полном неведении относительно их ужасной судьбы.

Однако сравнительно молодой ещё на тот момент диакон в углу тайника углядел обрывки плотного картона. Это оказались остатки паспарту – специальной картонной рамки под снимок. Куски его за без малого век сильно выцвели, приобретя коричневатый оттенок. Аккуратно склеив полосками скотча фото и вооружившись лупой, Владислав разглядел на нём семейный портрет. Сидящий закинув нога на ногу моложавый мужчина в казачьей повседневной форме имел ярко выраженные надбровья, крупный подбородок и широкие усы стиля «шеvron». Рядом, с ребёнком полутора-двух лет на руках, стояла приглядная женщина, с овальным лицом, прямым пробором на идеально гладких волосах и косой, уложенной на затылке корзиночкой. Одета в светлые юбку и блузку с богатой отделкой.

На обороте снимка трудно прочитывалась чернильная надпись: «Дорогому супругу и батеньке Платону Акимычу от жены Настасьи и сына Дмитрия. Станица Новойдарская 1914 года 16 ноября». Здесь же имелось мастичное клеймо мастера, заключенное в прямоугольник: «Фото В. Квасова».

Пытаясь установить личность хотя бы одного из казнённых, Кураков с благословения настоятеля обратился в епархиальный отдел по работе с казачеством. Сотрудники его связались с Новойдарской, и вскоре Владислав выехал туда на автобусе. Атаман тамошнего казачьего общества – дородный мужчина с погонами есаула – привёл диакона к старейшему из жителей станицы. Владислав предъявил иссохшему древнему деду улучшенный фотошопом снимок.

Долгожитель нацепил очки, подслеповато прищурился.

– Да это же... Это Дмитрий Забазнов, друг детства мой, и с родителями, перед тем как отцу его на империалистическую отправляться. Говорили, приехал он, кажись, в шестнадцатом в отпуск. Уже в чине подъесаула, с двумя «георгиями». А потом без следа сгинул. Ну, я о ту пору мал был, сам его не помню. Вот фотография у тётки Настасьи точь-в-точь такая же под образами в рамочке висела. Упокоились они давно – и мать дружка моего, и он сам. С Отечественной-то с больными лёгкими вернулся. Всё кашлял, кровью харкал, потом исходил и едва за полста лет перевалил. Еле успел послевоенную дочку в техникуме выучить. Она сама, как на пенсию вышла, сразу к сыну в область и перебралась...

Дед взглянул ещё раз на снимок, совсем по-детски шмыгнув носом.

– Чую, свидимся мы скоро, вышло и моё времечко. Эх! Как и не жил...

Спустя несколько дней Кураков принимал в храме гостей: интересную пожилую женщину с причёской а-ля Маргарет Тэтчер и розовощёкого полнеющего мужчину лет тридцати.

Возложив на казачью могилу охапку редких чёрных калл, таинственных и элегантных, потомки подъесаула отстояли панихиду, поставили заупокойные свечи, пожертвовали храму круглую сумму. И всё душевно благодарили дякона за разгадку тайны их рода и обретение могилы предка.

А имя павшего за Россию его сослуживца так и осталось неизвестным...

Кому-то из диаконов счастливится подняться рангом выше и стать священником чуть ли не на следующий день после первого рукоположения, а кому-то предстоит надолго задержаться на уровне низшего духовного сана. На всё воля Божия. Ну и людская тоже.

Когда-то, в самом начале приснопамятной перестройки, несколько прихожан обратились к отцу Владислава: а не согласится ли батюшка баллотироваться депутатом в районный орган местного самоуправления, так сказать, самовыдвиженцем? Паства же, мол, и поддержит, и разрекламирует. Тогда протоиерей – скажем так, не очень продуманно – письменно испросил разрешения на это чуждое действие у каждого из постоянных членов Святейшего Синода.

Официального ответа ни от кого из них он не получил, но этот вопрос на заседании Синода разбирался, и в итоге священника едва не лишили сана (с перевесом в его пользу лишь в два голоса). Посчитали, что гордыня обуяла, раз в мирские дела вязаться восхотел. А чтобы впредь всяк сверчок знал свой шесток, покарали, услав в далёкий райцентр, в маломощный и скудный приход.

«Сын за отца не отвечает», – сказал ещё до войны на совещании передовых комбайнёров товарищ Сталин, и эту знаменитую фразу немедленно и широко растиражировали советские газеты. Но последовавшие репрессии, увы, её не подтвердили: ответ за родителя держать приходилось практически всегда. А священнослужителям – пусть даже и высокого сана – ничто общечеловеческое не чуждо. Вот потому-то, когда не единожды за многие лета на епархиальном уровне обсуждался вопрос рукоположения диакона Владислава, кто-то обязательно вспоминал: «Это ведь у него отца за малым не расстригли?»

И – общее резюме: «Пока подождём...»

К слову, хотя всякое сравнение и хромает, однако подобное поведение служителей культа отчасти походило на детскую склонность переносить личную неприязнь к какому-то учителю на его предмет.

«Всякая власть от Бога». Знаменитейшие слова апостола Павла. Библейская аксиома. Так что неукоснительно исполнявшему свои, согласно сану,

обязанности диакону оставалось только смиряться и терпеливо ждать... ждать... ждать...

«Летят года неуловимо, куда-то быстро вдаль спешат, торопят нас неудержимо законы Божии познать...» Отец Владислав даже и не помнил, где и когда прочёл он эти бесхитростные строки, глубоко врезавшиеся в память. А года действительно летели... И вот уже минуло более двадцати лет церковной службы, близилась дата серебряной свадьбы – «окольцевался» Кураков, ещё будучи семинаристом, – и дочь, окончив вуз, невестилась, а младшенькие, мальчишки-близнецы, доросли до старшеклассников. Постаревший же отец теперь часто прихварывал. Склонный к полноте служитель подобрел, широкоскулое лицо его совсем округлилось, а вдоль высокого лба обозначились короткие морщины. Появились и вертикальные складки над основанием крупного, с маленькой горбинкой носа. Симптомы зарождающейся аритмии сердца: у матери Владислава они после инфаркта были выражены особенно сильно.

К этому времени засидевшийся в диаконах человек устал безропотно ожидать рукоположения, и его матовые глаза минорно взирали на белый свет. Нет, бунтовать он вовсе не собирался. Он просто устал...

И вдруг – исполнение давней, ещё детской мечты, с которой человек с дошкольных лет следовал по жизни, произошло не во сне, а наяву!

Хотя, конечно, «вдруг» – сказано неточно: этому предшествовала беседа с архиереем, объявившим Куракову об избрании его для хиротонии, затем «ставленническая исповедь» у духовника, в заключение которой отец Владислав смиренно просил о даровании ему непорочного священства в последующее говение...

Августовским воскресным днём на литургии святого Иоанна Златоуста церемония рукоположения, внушительная и торжественная, наконец содеялась.

«Аксиус!» (с греческого: достоин) – произнёс в завершение её архиерей, а преклонивший колени теперь уже бывший диакон ощутил прикосновение благословляющей его десницы и под торжественное пение хора, трижды повторившего это восклицание, получил из рук владыки атрибуты служения священника: епитрахиль¹, пояс, фелонь², наперсный крест и Служебник³, отныне став иереем. Трепетно и с непередаваемыми словами чувствами поцеловал он каждый из этих символических предметов и невольно прослезился. Свершилось!

По окончании таинства не обошлось, конечно, без традиционного в таких случаях основательного застолья.

Впрочем, всё это было вчера. А сегодня утром новоявленный батюшка – пока ещё в гражданском облачении – сошёл с маршрутки и без четверти десять шагнул на столь знакомый церковный двор. Перед центральным входом в храм привычно осенил себя крестом и прошествовал в отведённую ему келью, располагавшуюся в отдельно стоящем здании хозяйственных построек.

Там вновь перекрестился: теперь на иконы, двумя рядами висевшие на дальней стене довольно просторной комнаты на три небольших окна, облачился в песочный подрясник и чёрные туфли и взглянул на часы: близи-

¹ Епитрахиль – длинная раздвоенная лента, огибающая шею священника и соединёнными концами спускающаяся на грудь.

² Фелонь – длинное широкое одеяние священника без рукавов, с отверстием для головы, вырезами спереди для рук, украшенное крестами (крестчатая риза). Своим видом напоминает ту багряницу, в которую был облачён надругавшимися над ним воинами страждущий Спаситель.

³ Служебник – книга, содержащая основные богослужебные тексты, произносимые священником; неперенный атрибут для совершения литургии.

лось время приёма прихожан и других лиц. Попутно отец Владислав отметил: хотя отныне обязанности его стали иными, чего-то особенного, подспудно ожидаемого им в первый день своей службы Господу в новой ипостаси вовсе не происходило.

Собственно говоря, а чего именно следовало бы ожидать?

Ранее Куракову в подобных приёмах напрямую участвовать не приходилось: не диаконовский это ранг. Вот молча слушать, как первый его настоятель ведёт беседы с людьми, мудрости набираться да стараться таковую перенимать – это, конечно, куда легче. А тут – за всех и вся в ответе сам. Потому и волновался иерей: а вдруг да с каким необычным вопросом обратится кто-либо? Впрочем, на крайний случай всегда можно посоветоваться с опытным батюшкой – именно он сегодня по графику был дежурным священником в храме и вёл богослужения.

Но никаких сюрпризов нынешний день пока не обещал. Прихожане испрашивали благословения на рождение отрока (ребёнка) или на сдачу вступительных экзаменов в вуз, кто-то желал освятить квартиру, другой – икону, договаривались по времени о крестинах младенца, а пожилая супружеская пара наконец-то надумала венчаться. Однако вот и трагический случай: «Батюшка, у меня сын двадцатилетний разбился на машине, сейчас в реанимации в тяжелейшем состоянии. Умоляю: научите, что делать дальше?»

И каждому надлежало разъяснить, дать совет, успокоить...

Когда все просители наконец разошлись, отец Владислав вышел на церковный двор проветриться и обозреть, всё ли на храмовой территории в надлежащем порядке. Вскоре ноги привели его в маленький садик, в глубине которого располагались пять сохранившихся вековых могил и казачья, недавняя.

На одном из старых захоронений высился исполненный в неординарном, масонском стиле гранитный памятник в виде толстого ствола дерева с двумя отпиленными по бокам суками. Венчался он четырёхконечным, из того же вечного камня, крестом. На срезах суков выбиты надписи: «Спаси, Господи, душу раба Твоего» и «Мир праху твоему», а в центре ствола – вырубленная ниша под лампадку, со стеклянной, в металлической рамке дверкой. Под нишей же красовалась ритуальная и опять-таки сработанная из гранита табличка, внешне походившая на старинную грамоту со слегка заворачивающимися краями. Текст на ней гласил: «Здесь покоится прах раба Божьяго коллежскаго асессора И. А. Кафтановскаго, скончавшагося 25 апреля 1890 на 51 году».

– Здравствуйте, батюшка...

Отец Владислав оглянулся: перед ним стоял маленький тощенький мужчина неопределённого возраста: то ли тридцать, то ли за сорок. Смущало сильно морщинистое и осунувшееся, плохо выбритое лицо. Но седина, даже на висках, вовсе не проглядывала. Серая рубаха, похоже, специально наполовину расстёгнута, чтобы на хилой, но выпяченной груди хорошо был виден простенький нательный крестик. Очередной прихожанин? И следом мелькнула мысль: вот именно таких невзрачных мужичков на Руси издавна прозывали фуфлыгами.

– Здравствуй.

– Можно ли к вам обратиться?

– Обращайся, пожалуйста.

– Помогите, батюшка, чем можете, материально. Жена очень больная, после сильного инфаркта почти не ходит, только, пардон, до горшка. На лекарства бы...

Обычно священники денег прихожанам не дают, а советуют молиться, и Бог, мол, тебе поможет. Но сегодня иерей без раздумий решил сделать исключение: ведь послезавтра исполнялось двадцать пять лет со дня кончины его матери, слишком рано ушедшей в лучший мир от той же самой сердечной болезни, которой хворала жена просителя.

Отец Владислав молча достал бумажник и вынул из него единственную тысячную, оставив лишь три или четыре медно-стальных десятирублёвика – чисто на проезд. Нет, дома-то ещё деньги наличествовали. Но именно на эту имеющуюся при себе «штуку» Кураков сегодня вечером рассчитывал приобрести колбасы-ветчины-сыра-селёдки на поминки.

«Ладно, как-нибудь обойдёмся. На благое дело ведь. Такой же страдальце, как и матушка была. А продукты... Что ж, в конце концов ещё завтра день будет, успеем закупиться», – подумал он.

– Спаси Господи, батюшка, за вашу доброту и помощь, – жадно цапнул крупную купюру тощенький. – Благословите на покупку лекарств.

– Бог благословит, – отвечив иерей и даже обещание-то не стал брать, что не на предосудительные дела благоподаяние употребится.

Проситель быстренько упрятал деньги во внутренний карман пиджака, для надёжности ещё и застегнув его на булавку. И вдруг, сверх всякого чаяния, произнёс, указуя на гранитное «суковатое» надгробие:

– Батюшка, а ведь здесь мой родственник лежит.

– Откуда ведомо?

– У меня прабабка почти век протянула, и – чудное дело – всё на своих ногах; уверяла, что это дед её был. Только не родной, а двоюродный, родному-то он почти в отцы годился. Совсем пацаном меня сюда в церковь приводила и могилку предъявляла. Я это «дерево недеревянное», – кивнул тощенький на монумент, – по его кошмарности враз запомнил... – И неожиданно подытожил: – А прабабка до чего набожна была – прямо страсть!

– Уважения достойно, – заключил отец Владислав, изумившись: надо же, насколько тесен оказался мир поднебесный! Насчёт «недеревянного дерева» и «кошмарности» он выговаривать не стал, памятуя, что горбатого могила исправит.

Удовлетворённый проситель для приличия потоптался ещё с полминуты.

– Ну, я пойду?

– Иди с миром...

Тощенький скорым шагом удалился. А священник вновь воззрился на столь необычной формы памятник.

«Видать, не из бедных покойный-то был, коль ему на этакую вычурность расстарались, – подумалось иерею. – Интересно, коллежский ассессор – это высокий считался чин? Надо бы в Интернете глянуть... Полвека жизни... Немного, однако, он намерил. Удалось ли детей переженить? А, собственно, были они у него? Одному Господу нынче ведомо... И сколь нагрешить успел и успел ли исповедаться?.. Эх, жизнь наша скоротечная! Зато гранит второй век незыблем стоит. Но тоже от всеобщего кладбищенского порушения лишь чудом уцелел...»

Кураков повернулся к соседствующей казачьей могиле: на деревянном кресте её теперь была установлена пластиковая, с окантовкой, серебристая табличка с чёрным текстом: «Подъесаул войска Донского Забазнов Платон Акимович. 1889–19??» – и ниже: «Сотник войска Донского. Фамилия неизвестна».

«Обидно: так второй офицер безымянным и лежит, – оформилась у отца Владислава новая мысль. – Тут атаман ничем не помог: видать, этот уби-

енный из другой станицы был родом. А из какой – опять только Господу известно. Но хотя бы останки теперь в земле покоятся, родственники же подьесаула уход за последним пристанищем воинов блюдут. Вот совсем недавно опять каллы на могилу возлагали, панихиду заказывали».

Тут к размышляющему о телесной бренности и долговечности монументов подошла пожилая свечница, которая лет десять уж как работала в церкви.

– Батюшка, извините, у вас спросить можно?

– Спрашивай.

– Вот к вам сейчас мужчина такой мелковатый подходил, он денег просил?

– Да.

– И вы дали?

– Да.

– Ох, не на доброе дело он их у вас выцганил!

– «Не судите, да не судимы будете». Он для больной жены, на лекарства.

– Батюшка, да он сроду никогда женат не был! Я ж его как облупленного знаю! По соседству живёт. Бездельник и горький пьяница, креста на нём нет!

– Так имелся ведь.

– Значит, для блезиру нацепил. Он в церковь-то и носу никогда не кажет! А тут – сподобился. Видать, узнал откуда-то про ваше рукоположение и момент выигрышный подгадал. В свою пользу. Ну а когда со двора-то поспешал, увидел меня у ворот, приостановился да и заявляет: мол, батюшка-то новый ваш – и дальше с издёвкой в голосе – сильно верующий оказался. Я ему: «Кстись, охальник, а каким же ему ещё быть?» А этот алкоголик ухмыляется и ответно: «Да я в том плане, что всякому встречному-поперечному сразу-то верить не след». И помчался – небось до ближайшего гастронома, побыстрее зенки залить.

– Что ж... Бог ему судья, – только и вымолвил священник, разом ощутивший душевную смуту: ведь на чём удалось сыграть грешнику! На святом, на памяти о самом близком и родном человеке!

...Спустя двое суток, аккурат в день поминовения матери, свечница с утра вновь подошла к отцу Владиславу.

– Батюшка, можно обратиться?

– Пожалуйста.

– Помните, у вас позавчера мой сосед неблагополучный денег выпросил?

– Помню, конечно, – поморщился иерей: придумала же баба опять на больную мозоль наступить! И к чему?

– Ну так вот, не пошли они ему на пользу. Он в тот же день какой-то дряни палёной опился и к ночи помер. Сегодня похороны.

– Да-а-а, – поразился отец Владислав. – Надо же, насколько быстро его Божий гнев настиг. Господь ведь всё видит и никогда не бывает поруган.

Про себя же он подумал, что поскольку не признающих Бога и Он не может спасти, а в их числе и опочившего, то пусть останется это на Его воле. Другое дело, что дающий не во благо грех берущего разделяет. Посему помолиться за новопреставленного, в гибели которого, сам того не желая, оказался повинен, в любом случае необходимо. И хотя не дано понять, за что именно столь тяжко наказан, а с этим трагичным уроком как-то и дальше по жизни идти надобно.



**Елена
КОМАРОВА**

ИНОЕ ЗРЕНИЕ

Деревья – связь между мирами.
Берёзы, тополя, ольха...
Они колышутся над нами,
Не зная злобы и греха.

Уйти – как в небе раствориться.
Уйти – как перейти границу,
Поставить точку на судьбе.

Туда не долетают птицы,
И бытие туда стремится,
Опоры не найдя в себе.

Говорил мне: «Моя незабудка»
И осенние астры дарил.
Полз туман, непроглядный и жуткий.
Мы расстались с тобой на минутку.
Ты был первым, который забыл.
Только я ничего не забуду.
По уставшему снегу бреду.
Как нежданное, робкое чудо,
Превращается астра в звезду.

Дорога, петляя, заводит туда,
Где близкое станет далёким.
Разлуки, свидания – всё ерунда,
Уж легче прожить одиноким.

Встречают не те, провожают не те,
Не вовремя сказано слово.
Очаг разожжённый – на старом холсте,
Да нету ключа золотого.

-
- Елена Евгеньевна Комарова родилась и живёт в Саратове. Окончила филологический факультет СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Работала журналистом. Публиковалась в межвузовских научных сборниках, в литературно-художественном журнале «Волга–XXI век».

И вертится под ветром мельница,
И льётся времени вода.
Дни и недели перемелются
Под гнётом слова «никогда».

Из мира роковых случайностей,
Из ночи призрачных теней
Пробиться хочется к реальности
Сквозь представление о ней.

Пасьянс сошёлся, и войти
Должны мы, зримо и незримо,
В наш странный мир, где все пути,
Как в притче, неисповедимы.

Она попросит закурить
И станет щёлкать зажигалкой.
Её никак нельзя любить
С такой судьбой смешной и жалкой.

Её сутулый силуэт
В оконных стёклах отразится,
И ей давно не двадцать лет,
Да и на что она годится?

Меж луж по узким островкам
Бредёт, зонта не раскрывая.
Она открыта всем ветрам,
И дождь грехи с неё смывает.

Любовь, ты вовсе не слепа.
Тебе дано иное зренье.
Ты правишь музами, пока
Тобою правит вдохновенье.

Оно пронизывает дни,
Нездешним светом наполняя.
Любовь – поэзии сродни,
И музыке – сестра родная.



**Дмитрий
ВОРОНИН**

ЗАРУСЬКА

За уютным столиком летнего кафе на старой могиловской улице сидели два пенсионера и тихо беседовали.

– А помнишь, Паша, девчужку такую смешную, что прибилась к нам в тумане за сутки перед тем, как мы на тутошной окраине окопались? Мамаля у неё где-то в отступлении при бомбёжке потерялась, а папаша вроде как тоже воевал. Сама ростошка маленького, худенькая, и косички в разные стороны, а в них ленточки то ли синие, то ли зелёные, не помню уже, вплетены.

– Красные, Семён, красные.

– Может, и красные. Нос задран и весь в веснушках, да и имя такое странное, на Маруську схожее.

– Заруська.

– Во-во, Заруська, она самая, – засмеялся Семён. – Заруська-беларуська. Мы её ещё всё пытали, какой она национальности. А она всё хохлилась да так удивлённо выговаривала: «Ну что ж вы глупые-то такие! Беларуська я, кто ж ещё?» А мы смеялись: «Так, вроде, нет таких имён среди белорусов». А она в ответ с возмущением: «Ну как так нет, если вот она – я, Заруська!» «А может, всё же Дуська? Спутала ты...» «Сами вы Дуськи, – обижалась. – Ну как спутала, коли мамка так звала, и тятка. Совсем уж вы глупые!»

– Да, было дело... – улыбнулся Павел.

– А ведь ей сколько было-то тогда, лет тринадцать-четырнадцать? Интересно, какая она теперь, Заруська эта?

– Какая? – посуровел взглядом Павел. – А такая же. Ничуть не изменилась.

-
- Дмитрий Павлович Воронин родился в 1961 году в г. Клайпеда (Литовская ССР). Сельский учитель. Автор трёх сборников рассказов. Участник сорока альманахов и прозаических сборников в России, Украине, Беларуси, Германии. Публиковался в журналах: «Алтай», «Балтика», «Белая Вежа», «Берега», «Бийский Вестник», «Великороссъ», «Вертикаль 21 век», «Гостинный двор», «Двина», «Дон» (Ростов-на-Дону), «Дон новый», «Крым», «Лик», «Литературный Омск», «Луч», «Молодая гвардия», «Наше поколение», «Наш современник», «Нева», «Нижний Новгород», «Новая Немига литературная», «Огни Кузбасса», «Отчий край», «Петровский мост», «Подъём», «Приокские зори», «Простор», «Русское эхо», «Север» и др. Лауреат премии им. Александра Куприна, лауреат международных конкурсов и фестивалей «Славянская Лира» (Беларусь), «Славянские традиции» (Крым), «Русский Stil», (Германия), «Гоголь-фэнтези» (Украина), литературного конкурса «За далью – даль», посвящённого А. Твардовскому, и других. Член Союза писателей России. Член Конгресса литераторов Украины. Член редколлегии литературных журналов «Балтика» (Калининград), «Великороссъ» (Москва). Живёт в п. Тишино Калининградской области.

– Это как?

– А вот так. Слушай, – закурил папиросу старик. – Как немец-то на Могилёв двинул, тебя, вроде, в тот же день подранило, так?

– Да, – согласно кивнул Семён, – в правое плечо. Очнулся в госпитале дня через три.

– Свезло тебе. Днём-другим позже – всё, захлопнулась бы калиточка. И мышь не проскочила бы. Взял в кольцо нас немец, плотно взял.

– Знаю, – погрустнел товарищ. – Как сам выбрался-то?

– А вот об том и речь, – примял первую папиросу старый солдат и закурил вторую. – Сколько раз на прорыв пытались чуть ли не всей дивизией, и всё без пользы, только смертей полнёхонько. И тогда приказ вышел: прорываться малыми группами. Нас ротный собрал, кто остался – человек двадцать, да с другой роты столько же, – ну и двинули в ночь. А утром, когда до очередного леса десять шагов осталось, на нас немцы и выкатили. А может, мы на них сдуру нарвались, без разведки ведь шли, всё на глазок да на авось. В общем, плохо дело приключилось. Немцев-то ни так уж и много, но ведь у каждого автомат, да ещё с танком впереди. А у нас что? Окромя винтовок да гранат «эрпэгэшных», и нет ничего. Так, с гранатой ещё до танка добежать надо, а кто ж позволит-то? В миг на гашетку – и всё, алес капут. Залегли в поле в траву, ждём. А чего? Смерти, наверное. И тут глядь: Заруська наша встала в полный рост и к немцам пошла. Не побежала, нет, а так спокойно пошла... Идёт и руку вверх подняла.

– Сдаваться, что ль? – ахнул Семён.

– Да слушай ты, – рассердился Павел. – Какой сдаваться! Одну руку подняла, вторую, полусогнув, на пояс держит. Идёт так и ладонью помахивает из стороны в сторону, ну вроде то ли приветствует немцев, то ли оставливает. Немцы и остановились. Ждут, смотрят на неё удивлённо. Им, видать, как и нам, непонятно стало, что происходит. Заруська-то издала ребёнка ребёнком. Вот так она почти в полной тишине до них и дошла. Мы молчим – не понимаем, они молчат – не понимают, и только мотор у танка работает. И вот когда до него пара-тройка метров осталась, Заруська руки опустила и тут же правую снова подняла, но уже с гранатой.

– Как так? – поразился Семён.

– А так! Сами обаддели, – нервно затушил папиросу Павел и тут же достал новую. – В этот-то момент наш ротный да как заорёт таким голосом, вроде как удивлённым и упреждающим, мол, что ты, зачем: «Зару-у-ська-а!» И тут же взрыв, да такой – башню от танка напрочь, словно косою по траве на утренней зорьке. Немцев вокруг всех разметало, как осеннюю листву ветром. Куда уж она умудрилась попасть той гранатой, совсем уж непонятно, чтобы вот так, как былинку, башню смело.

– Да быть такого не может, чтобы гранатой махину такую снести! – присвистнул Семён.

– Конечно, не может. А вот снесло. У нас у всех от невидали такой глаза на лоб повылазили да волосы дыбом встали, – закурил всё ж третью папиросу Павел. – И вот тут-то началось, тут-то с нами что-то и вышло. Поднялись мы с земли как один, без всякой команды да с какими-то дикими, пожалуй, звериными криками – и вперёд. Кто орёт: «За Заруську!», кто: «За Русь!», кто: «За Белоруску!», кто: «За Беларусь!». В миг до немцев доскочили, а они как чумные, будто из ваты, без всякой воли оказались. Смяли мы их и ушли...

Павел замолчал.

– А как же Заруська? – осторожно прервал затянувшееся молчание однополчанина Семён.

– Погибла, конечно, – тяжело вздохнул Павел. – Взрыв-то какой был, мы ведь её так и не нашли. Но имя-то, имя – За-Русь-ка! Как оно на нас – у-ух! И сегодня мурашки по телу. Вышли мы из окружения и, пока нас особисты проверяли, всё про танк да про девчонку нашу героическую говорили. Каждый день к ней разговорами возвращались. И про то, как она к нам неожиданно прибилась, и про то, как ушла от нас. Ведь ничегошеньки не нашли, даже ленточек тех самых красных: такой плотный туман вдруг после нашей атаки всё кругом окутал. И про имя её необычное всё догадки строили: а как полностью-то? Никто же не спросил у неё, как по метрике величать. Рассуждали: а что если б просто Маруськой девчонку звали, встали бы мы, совладали с немцем? И ещё один факт – хошь верь, хошь нет: узнавал я после войны судьбу тех, кто тогда со мной из окружения вышел. Так вот, ни один не погиб, все домой целыми вернулись, будто для всех нас Заруська ангелом-хранителем оказалась, а может, и вся Русь вместе с ней.



**Мария
ЗАТОНСКАЯ**

ЧТО ВО МНЕ МОЕГО

ОДНАЖДЫ

Однажды меня коснулось искусство –
бабушка солировала в Доме культуры.
Светились-звенели стеклянные люстры,
ангелочки с гипсовой шевелюрой
с колонн свисали,
бабушка пела «Аве Мария», и это «Аве»
стекало водой в голубое моё.

Маленькая девочка
расправляла ладони и плавала:
«Мама, я здесь!
Чуть-чуть ещё, и – домой».
Она ныряла-выныривала из синевы.
Воды всё больше – насколько хватает глаз.

«Плыви, Мария, – бабушка пела, – плыви».
И я тогда захлебнулась!
И – началась.

Всё вокруг продолжается из меня,
из моих глаз ширятся улицы, а на них
дома вырастают, и каждый выдох
собой порождает воздух.
Но капля на ветке об этом не знает –
случайно падает на лобовое.
Смотрю на воду, пока (когда)
на меня смотрит вода.

-
- Мария Романовна Затонская родилась в 1991 году в г. Сарове Нижегородской области. Обладатель Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2017). Дипломант и лауреат Международного литературного фестиваля-конкурса «Русский Гюфман» (2018, 2019). Участник XVIII Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (2018); участник XVIII семинара молодых писателей Союза писателей Москвы (2018); участник ежегодного Всероссийского совещания молодых литераторов Союза писателей России (2019). Публиковалась в журналах «Белая скала», «Арион», «Нева», «Кольцо А», на литературном портале Textura.

Что во мне моего и есть ли моё вообще. Мама
учила выбирать одежду из натуральных тканей,
папа – прощать людей

за то, что они болваны.

Дедушка твердил про добро и духовную силу,
бабушка в ванной мне руки мыла;
о том о сём бубнил из комнаты «Электрон».
У меня – горы, камушки, шкатулка из малахита,
пропущенные через какое-то личное сито,
сменившие очертания и размер, –
зато это только моё теперь.

Хрустальные глаза звёзд над синими деревьями,
троится оконная рама вагона,
через моё лицо стелется линия горизонта,
снег длится,

ночь длится,

жизнь длится.

Человеческий силуэт, мелькающий в соснах,
размером с отражение моего носа.

Белые хлопья

летят сквозь раскладной столик.

Ложка звенит в стакане.

Люди сопят в вагоне.

Гудок рассекает время.

Сонная проводница подходит ко мне не спеша:

«Всё, – говорит, – выходите,

ваша».

Н.

Мы тут говорим про Есенина или
про Хлебникова, листочки с фамилиями
развешиваем так и сяк,
любujemyся, как висят.

А у Любочки умирает брат.

И вот эта весна, что скребётся ветками

набухающими в окно,

и земля влажная во дворе – про одно

кричат, надрываются, а я рот свой не разожму,

и всё это дружащее – не подчиню уму.

Только думаю: хорошо, что с тобой – хорошо,

что рука бежит, сцепившись с карандашом,

а тебе, тебе – ещё далеко до распада,

и этому я сейчас

особенно рада.



**Вячеслав
АРХАНГЕЛЬСКИЙ**

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ О БЛИЗКИХ ЛЮДЯХ

(Продолжение.
Начало в № 1–2 2019)

О МАМЕ

К самому родному, близкому и святому лишний раз все прикасаться грешно. Но наступает момент, когда ты созреваешь, доходишь до кондиции и понимаешь: «Пора. Или сейчас, или никогда!» Вот и теперь, окинув мысленным взором те темы и планы, что намечал для себя, пришёл к выводу: надо написать, прежде всего, о маме – женщине, подарившей мне жизнь, чья кровь бурлит во мне. А потом уже и о других родных.

Хочется, пока есть силы и возможности, попытаться хотя бы телеграфно, тезисно запечатлеть наиболее яркие моменты, оставшиеся в памяти. Пока они не стёрлись, не забылись, не потеряли свою остроту и свежесть. Да и торопиться надо: время неумолимо утекает, и необходимо успеть описать всё, что ещё помню, что должен сделать, ибо больше некому. Итак, в путь! И Бог мне в помощь!

1

Морозное солнечное утро. Я, маленький, ослабленный после тяжелейшей скарлатины, возвращаюсь из больницы. Мама подстелила на дно деревянных салазок свой старый пуховый платок; на мне валеночки, какая-то неказистая шубейка, сшитая бабусей вручную, на голове – сначала бумазейный платок, завязанный вокруг шеи, а сверху шаль поновее – это опять бабуся побеспокоилась.

-
- Вячеслав Николаевич Архангельский родился в 1951 году в г. Мелекесе (ныне Димитровград) Ульяновской области. Окончил отделение истории искусств Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Искусствовед. Был предпринимателем. Курировал малый и средний бизнес в администрации Екатеринбурга. Кандидат экономических наук. Публиковался в журнале «Урал», «Волга–XXI век».

И вот я лежу на салазках в сплетённом из ивовых прутьев кузовке. Спину и бока защищает серо-зелёная корзинка, а ноги мои упираются в приступок, но только пониже, чем боковые стенки, – этакий мини-возок, кошёвка. Полозья у салазок загнутые, как у коньков-снегурок, только они деревянные. Спереди привязана обычная бельевая верёвка, за которую мама – моя лошадка! – тянет салазки, весело скользящие по искрящемуся снежному насту.

Я то смотрю вверх, на светло-голубое небо, усеянное белым пухом мелких облаков (оно такое высокое, что даже голова кружится), то смотрю по сторонам на большие сугробы ярко-белого свежевыпавшего снега.

Мы пробираемся к дому по узкой, едва протоптанной тропинке, полого поднимающейся на пригорок, где уже видны ярко блеснувшие на солнце три окошка нашего деревянного, обитого посеревшей доской домика. А за ним тёмно-зелёной стеной стоят сосны – там начинается лес.

Милая моя мама, только тогда я и осознал себя впервые так ясно и пронзительно, что миг этот стал для меня как бы явлением на свет божий. А было мне в ту пору (а это февраль 1953 года) всего полтора годочка от роду.

Правда, до этого смутно в чёрной темноте моей младенческой памяти мелькнул один просвет. Солнечно, тепло (судя по всему – лето), и я весело приседаю в такт звучащему откуда-то сверху присловью – «опа-опа-опаньки». Я стою в перевёрнутой сиденьем к полу деревянной табуретке и держусь ручонками за поперечины, соединяющие массивные квадратные ножки.

Если судить по маминим рассказам, то ходить я начал в одиннадцать месяцев, значит, этот эпизод был немного раньше, то есть в тот момент я был, наверное, десятимесячным карапузом.

А ещё раньше, когда мне исполнилось полгода (об этом свидетельствует подпись на обороте фотографии), у меня осталось в памяти ощущение холода и незащищённости, когда меня голенького сфотографировали в первый раз в жизни. Я лежу на животике, голова немного вбок, как будто повернулся на чей-то зов, а взгляд довольно осмысленный...

Вот и добрался я до своих первоисточков – новый человек появился на свет!

2

Моя мама, Зоя Петровна, в девичестве Емелина, была самой младшей в большой многодетной семье – только в живых осталось семь душ, а сколько ещё померло в младенчестве, во время гражданской войны, затем в голодные двадцатые годы. Росла она бойкой, задиристой девчонкой и не давала спуска никому, от неё доставалось даже старшей сестре Насте, а та была взрослее на целых пять лет. Говорят, колотила её по спине своими кулачками, если появлялся повод и если она незаслуженно обижала. Но при этом сама никогда не плакала, не жаловалась и редко что просила. Иногда только, если отец собирался в город на базар, тихонечко скажет: «Тятя, привези мне ленточку в косичку или «петушка». Так назывался леденец на палочке. Вот и все запросы.

А игрушки находила сама – из тряпочек и соломы мастерила себе кукол, а потом кормила их «кашей» – землёй, перемешанной с водой, поила с ложечки, пеленала и баюкала, нянчилась с ними, ну а если они «капризничали» – наказывала, слегка отшлёпав, приговаривая при этом: «Не бедокурь, не шали, скаженная», или ещё что-нибудь подобное.

Словарный запас у неё даже в детстве был богатый, не говоря уже о взрослом возрасте. Я слышал от мамы такие слова и выражения, каких

не встретишь ни у Даля, ни в словаре говоров Поволжья. Вспомнить и передать их сейчас на бумаге не могу, прежде всего потому, что в её лексиконе, как в тигле, слилось и переплавилось несколько языков, говоров и наречий. Это и мордва, и чуваша, и татары. Их выражения, переделанные на русский лад, то и дело слышались от мамы, особенно в критические моменты. «У-уу, дулудуй!» – ругала она кота, когда тот стягивал что-нибудь съестное со стола, этим же словом она награждала сестрино мужа, когда он в очередной раз поддатый приходил к нам.

В селе Новая Майна в начале тридцатых годов прошлого века работала только школа-четырёхлетка – вот её мама и окончила. А потом помогала матери по хозяйству: поила скотину, пасла кур, полола грядки.

Она осталась дома одна, когда грянула война, и все пятеро старших братьев один за другим ушли воевать, а сестра Настя уже работала в городе на стройке маляром-штукатуром. Живности на дворе у Емелиных практически не осталось, а для кого, если столько основных едоков были уже в дальней стороне.

В 1943 году, в четырнадцать лет, и Зоя подалась с подружками в близлежащий город Мелекесс, поступила в ФЗУ (фабрично-заводское училище). Жила в большой комнате общежития вместе с ещё шестью девушками, обучалась на ленточницу – была такая профессия в заготовительном цеху льнопрядильной фабрики. Быстро освоила все её основные премудрости и стала работать по-взрослому. Кормили в военные годы фэззушников скудно: картошка с подсолнечным маслом, варёная свёкла, капуста да полбуханки чёрного хлеба составляли весь дневной паёк. Но на фотографии, датированный сорок четвёртым годом, она – девушка, пышущая здоровьем, задорная, круглолицая, с весёлыми глазами, в цветастой кофточке, – и не подумаешь, что идёт война, что удручает полуголодное существование. Всё ей было нипочём! И на танцы с подружками ходила, и кино смотрела – хотя в фанерном чемоданчике под кроватью было только одно платье да юбка с ситцевой кофтой.

С той самой поры варёную свёклу она терпеть не могла, и эта её привычка передалась и мне. А ещё от мамы унаследовал мигрень – страшные головные боли, если понервничаешь, не поешь вовремя да к тому же не выспишься. Сочетание этих трёх причин всегда давали такой приступ острой головной боли, что возникала жуткая тошнота, и в итоге всё приводило к сильной рвоте. Этим я страдал все свои молодые годы, правда, с возрастом эти приступы становились реже, а затем и вовсе прекратились, как отрезало.

Чистоплотность и врождённое чувство гармонии, безупречный вкус в восприятии красоты у меня тоже от мамы.

Помню, когда я на втором курсе университета приехал погостить домой, мама заинтересовалась огромным, толстенным томом «Всеобщей истории искусств», где были иллюстрации образцов древнегреческого и древнеримского искусства. Она внимательно рассматривала классические скульптуры богинь и героев, барельефы со сценами из мифов и трагедий и совершенно просто, своими словами, коротко, но ёмко и точно выделяла самую суть произведения. Я тогда поразился: насколько у меня талантливая и тонко чувствующая мама. Там, где искусствоведы тратили на описание скульптуры несколько страниц убогистого текста, ей хватало двух-трёх фраз, чтобы уловить самую суть. Этому невозможно научить – с этим надо родиться. И я – плоть от плоти своей матери – тоже специально не изучал историю искусств, но тем не менее сдал вступительный экзамен по этой дисциплине, окончил университет и получил диплом искусствоведа.

3

По утрам в воскресенье я просыпался от запаха чибриков – так мама называла пончики из дрожжевого теста, обжаренные в топлёном масле. На столе в кухне стояло большое блюдо, на котором золотистой духмяной горкой высились истекающие маслом чибрики – любимое воскресное лакомство всех детей нашей семьи, особенно с холодненьким, только что из погреба молочком. А когда дело было в деревне у бабушки Прасковьи, то уже с топлёным молоком с вкусными пенками. Отец же мой любил простоквашу из этого молока, по вкусу напоминающую ряженку. Бабушка была большая мастерица по этой части, да и чибрики научила она печь свою младшую дочь Зою отменные – им не нужна никакая начинка, сами по себе они таяли во рту, а рука сама тянулась за очередным горячим пончиком с хрустящей золотистой корочкой... По радио звучит бодрая, давно знакомая всем мелодия-заставка к передаче: «С добрым утром, с добрым утром! И с хорошим днём!» Её слушают и мама, пока стряпает на кухне, и бабуся, сидящая за вязанием в своей комнатке.

Только сейчас я понимаю, что именно тогда, в такие вот моменты в нашей семье царили настоящая, неподдельная радость и ощущение полного счастья и довольства, казалось, что большего уже и пожелать невозможно – никаких у тебя, пацана шести лет, нет особых забот и обязанностей, а только полная свобода, с которой даже не знаешь, что и делать.

Конечно, были и проблемы. Помню, как мама боролась с цыпками на моих руках, когда кожа краснела, трескалась и потом сильно чесалась и шелушилась. Она их смазывала тем же топлёным маслом, а иногда и густой домашней сметаной. У нас в доме тогда, кроме аспирина и стрептоцида, других лекарств и не водилось. Правда, было ещё одно средство, приобретаемое в аптеке, – ненавистно-противный, вызывающий тошноту от одного только своего запаха рыбий жир. Его прописывали в те годы, по-моему, всем детям страны поголовно, чтобы росли здоровыми и упитанными. А я тогда отличался крайней худобой, наверное, ещё и потому, что меня измучили острицы, и мама заставляла пить отвар цитварного семени, чтобы изгнать паразитов; по утрам меняла мне сатиновые чёрные трусики на свежие, простирывала с содой и хозяйственным мылом старые, а после высыхания тщательно проглаживала их калёным утюгом и так-таки избавила меня от этой напасти...

Зимние мои простуды мама лечила всегда народными средствами: подышать над дымящейся картошкой в мундире, хорошо пропотеть, попить горячего чаю с малиновым вареньем, и, если уж температура подсакивала, тогда только давала таблетку или порошок аспирина. К зубному и детскому врачам я тоже ходил только с мамой. Когда на приёме меня заставляли снять рубашку, чтобы прослушать, мама шутила: «Ну, подставляйте мешок! Сейчас кости посыплутся...» До такой степени я был худой – кожа да кости.

Я помню её, по большей части, неунывающей и весёлой, пока не начиналась мигрень, и тогда на голову вокруг лба она повязывала ситцевый, смоченный в воде платок – так было легче переносить боль. А когда становилось совсем невмоготу, в сердцах могла и воскликнуть: «Отрубить бы эту башку – может, легче станет».

Она происходила по материнской линии из рода казаков и всегда отличалась бойким и решительным нравом, и я не помню случая, чтобы она кого-то боялась или чего-то испугалась.

А когда в праздники приходили к нам гости – вся её многочисленная и горластая родова: четыре брата с жёнами и детьми, – вот тогда у нас

в доме становилось по-настоящему весело. Мои дядя – все фронтовики, могли крепко выпить, а их жёны были большие охотницы после рюмки-другой и попеть, и поплясать. Но всех сильней и звонче выделялся мамин высокий и чистый голос, когда она запевала: «Хасбулат удалой, бедна сакля твоя...» или вместе с мужиками подхватывала нашу любимую: «Уж при лужке, при лужке, при зелёном поле, при знакомом табуне конь гулял по воле». У меня всегда при этом мурашки бежали по спине – до того она задевала за живое, да так, что сжималось сердечко моё от сладкой боли, и я мысленно весь был там, внутри этой песни: при том табуне скакунов, на ярко-зелёном просторном степном поле, рядом с вольным воронным конём... Мама после таких певческих праздников с гордостью говорила: «У меня рюмка даром не пропадёт!» Выпьет она немного, зато споёт больше и лучше самых признанных певунов в родне... Из других песен чаще всего пели: «Скакал казак через долину», «Любо, братцы, любо...» и «Ой, то не вечер, то не вечер...»

Это сейчас появилась откуда ни возьмись куча каких-то ряженых казаков или людей, посчитавших себя таковыми. Как, а главное, чем они смогли подтвердить своё казачье происхождение? Слышал я и такую байку про чистокровного еврея, взявшего русскую фамилию и записавшегося в казаки. Воистину чудны Твои дела, Господи!

Крутые норомом, но справедливые и честные были мои предки с материнской стороны: жили, рожали детей, работали, а когда надо было – воевали, да так, что пощады врагу не давали. Никто и никогда из мужчин нашей семьи от службы не увиливал. Вот и я, когда пришёл срок, честно отдал свой долг, как и все мои три младших брата. И если, не приведи Бог, придётся воевать – биться мы будем с любым, даже самым сильным врагом насмерть, пока будут силы. И не было в истории нашего рода ни одного случая, чтобы мы все – потомки славных казаков Мироновых, Королёвых, Емелиных и Каргиных – когда-либо опозорили честь своей семьи. И хотя у меня три дочери и только один сын, женщины в моей семье, пожалуй, будут покруче многих мужиков – умеют постоять за себя. Может быть, поэтому им так трудно устроить свою личную жизнь – мужички нынче пошли не те: многие не служили в армии, другие – просто пьяницы или наркоманы, третьи – маменькины сынки, типа «мама, подтяни мне штанишки»; четвёртые – рохли и подкаблучники, а пятые – и не мужики вовсе, а гомики... Получается, что порядочной, честной девушке, к тому же образованной и умной, как посмотришь, и выбрать себе супруга не из кого. В общем, измельчал мужской род, испоганился.

4

Самоотверженность и решительность – это тоже мама. Был случай, когда мой младший братишка Колька, трёхлетний карапуз, соскользнул с сырого скользкого берега и бултыхнулся прямо в неширокую, но довольно глубоководную речку Литейку, названную народом так потому, что протекала рядом с литейным заводом. Так вот, пузырьком надулись его сатиновые трусики, несчастного начало уже сносить вниз по течению, и тут мама, бросив на землю отцовскую спецовку, которую она полоскала после стирки, сразу, как была, с подоткнутым подолом юбки, бросилась в воду и успела-таки ухватить Кольку за эти его чёрные сатиновые трусы. А тот даже испугаться не успел – только недоуменно вертел головой и нелепо взмахивал обеими руками, постепенно погружаясь. Мама подтянула его к себе, подняла на руки, прижала к груди и, нащупав дно и встав на ноги, осторожно дви-

нулась к берегу. Всё случилось настолько быстро, что я, ловивший в этот момент синтепок на самодельную удочку, даже не успел ничего осознать и опомнился, только когда мама была уже на берегу и отжимала мокрый подол юбки...

А как лихо утихомиривала она своих не в меру разбушевавшихся родственников, принявших лишку «на грудь». Доставалось всем: и бравым, лихим её братьям, и их горластым жёнам, пытавшимся прилюдно выяснять свои семейные отношения. Сколько помню, особенно этим отличались дядя Ваня с тётей Тасей.

Дядя Вася – знатный плотник и работник, постоянно подхалтуривал, как у нас говорили, «ходил на шабашку», помогал по дворам и избам то подправить крыльцо, то починить крышу, и частенько ему вместо оплаты наливали чарку-другую самогонки или браги. А когда работа была особенно хлопотной и затратной, выставляли поллитровку «Особой московской», с зелёной этикеткой и тёмно-красной сургучной головкой. Приходил домой «на бровях», где его ожидали четверо голодных и сопливых гавриков, а их мать – тётя Тася, высокая, симпатичная женщина – где-то гуляла. Работала она то ли завскладом, то ли кладовщицей на продовольственной базе, всегда в окружении грузчиков – мужиков сильных и грубоватых в обращении. Так что к ней, бывало, подкатывали наиболее шустрые из них, рассуждая примерно так: «Баба – она как кусок мыла, с одного раза не смылится, и ничего, кроме удовольствия, ей не будет...» Что там случалось на самом деле – об этом история умалчивает, только доставалось ей под горячую руку от мужа – ревновал страшно. И так жутко было видеть всё это со стороны! А я однажды видел, как дядя Ваня, взяв в руки вожжи или толстую пеньковую верёвку, гонялся за своей непутёвой женой по всему посёлку, что прозывался у нас поэтично Берёзовой Рощей.

Так вот, когда, прилично выпив, будучи у нас в гостях, они принимались при всех и нас, детях, выяснять, кто из них виноватее, мама не выдерживала и начинала решительно растаскивать их, сцепившихся. Битками-колотками своих маленьких, но крепких кулачков отгоняла разъярённо матерящегося брата, а потом буквально вытягивала из комнаты сноху – раскрасневшуюся, с растрёпанными рыжими волосами, и, обхватив по-борцовски двумя руками поперёк туловища, валила её на кровать, успокойся, мол, охлынь... При всём этом мамин голос перекрывал все выкрики ссорящихся, она командовала: «Ваня, уйди! Тася, замолчи!» – и они всегда, даже будучи в пьяном дурмане, слышали её и подчинялись. Нас, детей, выгоняли из дому на улицу: поиграйте, мол. А мне хотелось посмотреть цветные картинки из журналов «Огонёк» или «Вокруг света», которые отец накануне принёс из фабричной библиотеки...

И, наверное, по этой причине у меня долгое время сохранялась стойкая аллергия к разного рода застолям и праздникам – они выбивали меня из обычного жизненного ритма, внося ощущение непостоянства, ненадёжности, я просто не находил себе места в родном доме, тишину и покой которого разрушало присутствие чужих людей.

Шебутной, когда выпьет, становилась и мамина сестра Настя, то и дело менявшая мужей и сожителей. А может быть, они от неё уходили сами, потому что она не могла иметь детей. Тётка жутко переживала и завидовала своей сестре – у мамы нас было четверо «архаровцев». Очень мама не любила их таких – буйных, ссорящихся, пугающих детей своими пьяными криками и визгами. Собственно, только за нас она и переживала и, как могла, побыстрее улаживала все конфликты.

5

У мамы было только одно выходное платье – светло-оранжевое, шерстяное. И особенно мне нравилась вышивка полукругом от плеча до плеча – пронзительно голубые на светло-оранжевом поле васильки (до сих пор мои любимые цветы, и только теперь я понял, почему...)

Даже сейчас, будучи шестидесятисемилетним пожившим мужиком, я чувствую, как бурлит во мне мамина бунтарская, удалая кровь – потому так часто бываю не сдержан в выражениях и резок в своих оценках, сразу лезу что-то доказывать, отстаивать, не соглашаюсь, спорю, и остановить меня можно только ещё большей силой интеллекта и доводов. Но я никогда не сдаюсь до конца – будучи внешне побеждённым, я продолжаю мысленный поединок, приводя новые факты в подтверждение своей правоты.

Когда мне было года три-четыре, мама взяла меня с собой в женскую баню. Отец в это время куда-то уезжал, кажется, на курорт, лечить свою застарелую язву желудка. Обычно по субботам мы ходили с ним в нашу старую, но ещё крепкую баньку из красного кирпича, построенную в позапрошлом веке на задах «директорского» двухэтажного дома, где раньше жили инженеры и управляющие льнопрядильной мануфактурой. Баня была знатная, с выложенным метлахской плиткой полом, каменными широкими скамьями, облицованными кафелем, с парилкой и дощатым трёхступенчатым полком и жарко натопленной печкой, в раскрытое поддувало которой плескали из жестяной шайки кипятки, когда хотели «поддать пару». Но парилка находилась в мужской половине, а в женской были только души и краны с горячей и холодной водой.

Помню, как мама намылила меня, поставила под души, и там я оказался рядом с молодой ещё тёткой на уровне её круглого живота, а сверху на меня свисали два холмика груди с розовыми торчащими сосками – всё это начало меня как-то волновать... Тётка, или молодая женщина, это заметила и сказала маме весело, но строго: «А твоему пацану уже нельзя больше в женской бане мыться».

Мама наскоро окатила меня из тазика водой и вывела в предбанник, где тут же натянула синие сатиновые трусы и наказала сидеть смиренно, пока она вымоется.

Вот так впервые о себе заявило моё мужское естество, или начало. С тех пор я ходил в баню только с отцом.

О ТЁТЕ НАСТЕ И ДЯДЕ ЛЁШЕ

(Коротыш и Лёшенька)

1

Эта парочка сошлась, когда им обоим было уже под сорок лет, а судьба их изрядно потрепала и побросала по разным городам и весям.

Тётя Настя – мамина старшая сестра – с началом войны уехала попытать счастья в город. Устроилась на стройку подсобной рабочей и все четыре года там «отмантурила», как мама говорила, малярила-штукатурила, ремонтируя больницы и просторные классы школ, переданных под госпитали для раненых бойцов.

Первого её мужа, дядю Володю, я не помню, но сохранилась одна фотография, где он, в куртке-вельветке с блестящим замком-молнией, широчен-

ных брюках с подвёрнутыми снизу манжетами, держит на руках меня – девятимесячного птенчика, в белой пуховой шапочке и стёганой, сшитой бабушей вручную фуфаячке, завёрнутого по пояс в серое байковое, с двумя белыми полосками, одеяльце; глазки у меня прикрыты – похоже, я сплю. А рядом, прислонившись к шершавому стволу липы, стоит тётя Настя – стройная, в лакированных туфлях на высоком каблуке, в белой кружевной блузке, строгом костюме – чёрный жакет с длинной юбкой, а на голове – стильная, по моде начала пятидесятых годов, тёмная фетровая шляпка.

Свои дети у них так и не родились. Дядя Володя – красавец-мужик, конечно, сильно переживал, тем более что ему, отвоевавшему всю войну, трижды раненному, хотелось иметь своего пацана, такого же шкодного, как я, да Бог не дал.

Вскоре они завербовались на Сахалин – решили заработать денег, а потом полечить тётю Настю. Уехали. Проработали на острове года-два или три, а затем их совместная жизнь кончилась – «дала трещину по ватерлинии», их семейный корабль дал течь, а следом и вовсе пошёл ко дну. Дядя Володя ушёл к другой и, как говорят, был счастлив, народив долгожданных детей. А тётя Настя принялась за выпивку, тем более что работа маляра тому весьма способствовала: то и дело подворачивалась халтурка, а с полочки выпить со всей бригадой – это неписанный закон.

Помыкалась она одна год-другой – одиноко и тоскливо в дальней стороне, на самом краю нашей русской земли – и вернулась в Мелекесс. Потом не один раз пыталась наладить отношения с другими мужиками, но всё как-то не срасталось. Одного из них, расконвоированного зэка, я помню: как выпьет, пытается её «учить жизни» – поколачивать, другими словами. Но тут вмешалась моя мама, да так «наехала» на разрисованного синими наколками тюремщика, что тот быстренько убрался подобру-поздорову, словно его никогда и не было, видно, привык там, на зоне, признавать только силу, а мама – отчаянная натура – никогда и никому спуска не давала.

К тому времени, когда тётя Настя решила вернуться в родное село Новая Майна, её мать, бабушка Прасковья, с десятков лет жила одна, на пенсию в двадцать шесть рублей – всё, что начислило ей государство за тридцать лет непосильной категории на колхозных полях. Тогда почти все крестьяне работали «за палочки» – трудодни, которые в тетрадке проставлял бригадир. Ей шёл уже восьмидесятый год, а она одна управлялась по обветшавшему дому и с небольшим, но всё же хозяйством – куры, коза, огород.

Ещё одной причиной приезда «блудной дочери» стало то, что в селе появилась работа: построили ковроткацкую фабрику. И тётя Настя устроилась в красильный цех – видно, самой судьбой ей было предназначено работать с красками. А когда у нас в доме начинался ремонт, помогала с побелкой стен к октябрьским праздникам, а летом – с покраской полов. Тогда вся семья переселялась на несколько ночей в большой сарай, где было темно, душно и над ухом постоянно и назойливо зудели ненасытные и злые комары, и мы все не высыпались на жёстких матрасах, постеленных прямо на доски. Зато наш дом к осени сверкал свежей краской, чистыми, побеленными с добавлением синьки стенами и потолком, светлыми, выкрашенными белилами оконными рамами в обрамлении накрахмаленных занавесок.

Так вот, именно там, в красильном цеху коврового комбината, она и познакомилась с Лёшенькой – так всё время потом и называла Алексея Дугина – высокого лысого мужика, широкого в кости, с размашистой походкой и длинными руками. А тётя Настя, росточком даже пониже мамы, приходилась ему по грудь. Дядя Лёша в то время только что ушёл от своей

жены и скитался по углам в домах знакомых и родственников. Что стало причиной тому, я не знаю, но скорее всего это его крутой нрав и постоянные пьянки. Собственно, на этой почве они сначала и сошлись.

Стали жить в её родительском доме, у которого уже начала проваливаться посеревшая от времени соломенная крыша, крыльцо покосилось, окна смотрели в землю, завалинка под ними рассыпалась, а зимой от этого углы и стены изнутри промерзали. Потому и решили строить рядом новый дом.

Вот тогда я каждый год на лето стал приезжать к ним и, как мог, помогал в строительстве. Таскал в ведрах шлак и воду, вместе с тётей Настей волочил тяжеленные носилки с песком, перемешивал совковой лопатой цемент с песком и шлаком, готовя раствор, который потом тоже в ведрах поднимал дядя Лёша наверх и выливал внутрь подготовленной из досок опалубки. К концу дня мы, уставшие, вечерали «чем Бог послал»: то яичницей на подсолнечном масле, то жареной картошкой с зелёным лучком и малосольными огурцами, ели свежеспеченный бабушкой, немного отдающий кисловатым духом хлеб. Иногда с устатку пили самое дешёвое «плодово-выгодное» (так в народе метко окрестили плодово-ягодное) вино, которое в то время стоило в магазине не больше рубля за поллитровку. Там впервые я испытал чувство опьянения, вернее, какого-то дурмана, связывающего речь и движения, ударяющего в голову и ноги, делая их ослабленными. Поначалу это состояние было для меня интересным, новым, ну а потом уже переставало радовать, тем более что голова у меня наутро болела – давило на виски и что-то постукивало изнутри у темечка...

2

Алексей Дугин родом из Ленинграда, его родная сестра, постарше его, так и прожила там всю жизнь. Однажды, будучи в командировке, я даже побывал у неё в гостях – в большой, с высокими потолками комнате старинного доходного дома, недалеко от Мариинского театра, а тогда, ещё при Союзе, Кировского.

По молодости Лёшенька связался с блатной компанией. Сначала подламывали тёмными ночами киоски и ларьки, тащили всё, что попадалось под руку: вино, водку, консервы, папиросы. Потом, обнаглев и поднаторев, решили ни много ни мало грабануть универмаг. Лёшка – самый молодой в шайке – стоял на стрёме, но, как только сторож поднял шум, вскорости примчались менты. Корешей-то он предупредить успел – смылись они, а его повязали...

Шёл первый послевоенный, сорок шестой год, законы были суровыми, и получил Лёша Дугин, по кличке Дуга, от районного народного суда червонец, да и то только потому, что всё взял на себя. Если бы выдал подельников, как объяснили ему бывалые урки-сокамерники, то ему припаяли другую, более тяжкую статью, по которой за организацию преступной группы с целью ограбления могли и расстрелять.

И пошёл он мыкаться по этапам. Где только не побывал: в знаменитых централах и пересылках, в сибирских и колымских лагерях, а один сезон отработал с напарником даже на заброшенном острове Курильской гряды.

Из того, что дядя Лёша рассказывал, намахнув стакан-другой, мне запомнилось несколько историй. Так, на пересылке где-то в Сибири встретил питерского рабочего-большевика, участника революции, которому дали десять лет и «по рогам» (поражение в правах) только за то, что на закрытом партсобрании тот высказал предположение, что товарищ Сталин в каком-то вопросе не до конца прав, и надо бы для пользы дела ему под-

сказать, как можно поправить ситуацию. На следующий день он был уже в Крестах, и его двое суток, не давая ни спать, ни есть, допрашивали, сменяя друг друга, молодые розовощёкие бугаи «энкавэдэшники». Срок он получил в тридцать восьмом, а когда в сорок восьмом он закончился, ему из Москвы на бумаге с гербом и красной круглой печатью пришло постановление: «Распишитесь, вам сидеть ещё год, до особого распоряжения...» Как раз Лёшка Дугин и стал тому свидетелем.

Уже на Колыме он не раз пересекался с политическими – один бедолага тянул срок только за то, что случайно в заводском клубе уронил с поста-мента бюст «вождя всех народов». Они мельком увиделись с ним где-то под Магаданом, там Лешёнку одно время пристроили к хозяйству, и возил он воду на буром медведе, запряжённом в тягловое ярмо. Они несколько раз за день делали ходки до ближайшей речки. Мишка был учёный, всю свою жизнь с малолетства провёл за «колючкой» и другого порядка, тем более вольного, не знал. И как только начинали звонко бить стальным прутком по подвешенному к дереву рельсу – сразу останавливался, даже посреди дороги, вставал на задние лапы и начинал реветь – требовал свою заслуженную пайку на обед, и ничто не могло заставить его тащить тяжёлую бочку дальше. «Закон – тайга, медведь – хозяин, черпак – норма» – эта эковская поговорка к нему уже никак не могла быть отнесена.

3

Коротыш – именно так любя называл мою тётку Настю её непутёвый спутник по жизни – дядя Лёша, или Лешенька – так она в свою очередь всё время обращалась к нему. Ещё, наверное, и потому, что был он лет на пять-шесть моложе. А Коротыш – по той причине, что росту в тёте Насте было не больше полутора метров. Уже в возрасте, её зачастую принимали за девочку-подростка. Своей комплекцией и своим взбалмошным поведением она напоминала их – «молодых да ранних». Правда, если только смотреть на неё со спины или издали. При ближайшем же рассмотрении можно было увидеть лицо пожившей женщины, с сурово-скорбным выражением, но с гладкой, на удивление, загорелой кожей – даже морщины не поместили его своими бороздками. Всегда бодрая и бойкая, она никогда не унывала.

Детей им Бог не дал, и потому жили они, особенно ни о чём не думая. Бутылочку-другую вина каждодневно осваивали легко. Причём алкоголь на каждого из этой парочки действовал по-разному. Как говаривала мама о них: «Парочка – баран да ярочка». Если дядя Лёша, выпив свою норму, становился мягким и слезливым, то тётя Настя, наоборот, вела себя буйно, спорила со всеми по каждому самому пустячному поводу, громко вскрикивая, размахивая при этом руками, излишне суетилась, не находя себе места. Доходило иногда до того, что мама на руках выносила её из большой комнаты, где шло застолье, в нашу маленькую, где силой укладывала на мою кровать. Успокаивала, по-сестрински жалела.

Причин так себя вести находилось много. Ни нормальной семьи, ни порядочного мужа у неё никогда не было. Она, безусловно, крепко завидовала своей сестре, у которой четверо пацанов, работающий и непьющий муж, прибранный уютный дом.

Как же их так обоих потрепала эта беспутная житуха?! У дяди Лёши от первого брака вроде бы были дети, но что с ними стало – не знаю, ибо он никогда об этом не вспоминал, никаких разговоров не вёл. У тётки Насти детей просто не могло быть по каким-то женским причинам: то ли засту-

дилась, то ли неудачный аборт при первой беременности – я этого не знаю и могу только предполагать.

Когда они продали построенный и с моей помощью дом в деревне, переехали в город, купив всего лишь полдома не в самом удачном районе, рядом с железной дорогой. Попировали первое время, а потом безденежье заставило искать работу. И что же им уготовила судьба? Место для обоих нашлось только на мясокомбинате, новые цеха которого построили в пригороде. И он, и она стали подсобными рабочими. Чем ещё могут заниматься люди, не имеющие никакой квалификации, можно только гадать. Но работа явно была самая грязная и тяжёлая. Мама говорила, что дядя Лёша помогал забивать скот, а тётя Настя затираала следы этих жутких действий.

Так они доработали до пенсии, но пожить вместе на воле им пришлось совсем недолго. Вскоре от рака желудка умер дядя Лёша – Лёшенька. Сколько его помню, постоянно носил в кармане пиджака флакончик с пищевой содой, которой то и дело приглушал жгучую боль и изжогу.

Те полдома, где они прожили последние годы, попали под снос, и тёте Насте выделили однокомнатную квартиру в престижном для нашего местечка районе – соцгородке (то есть – социалистическом), построенном в лесу для работников института атомных реакторов. Мы с отцом ездили из нашего старого города туда за продуктами, и этот посёлок ещё раньше в народе называли «военным» – этот институт охраняли солдаты с автоматами.

Снабжали соцгородок по первому разряду. В те не очень сытые годы там можно было купить разные вкусности и деликатесы, да и просто хорошие продукты, за которыми мы по воскресеньям ездили туда с мамой и отцом на единственном тогда, битком набитом автобусе.

Так вот и закончилась их совместная жизнь: Лёшеньки не стало, а его Коротыш жила одна, пропивая свою пенсию. Мама постоянно её проводывала, ругала за неприбранность в доме, пьянство – но всё без толку. Когда я, побывав в гостях в родном городе, увидел всё воочию, то предложил маме и тёте Насте съехаться и жить вместе, тем более что к тому времени папа уже умер и мама жила так же одиноко – в отдельной квартире.

Совету они вняли – поменяли две однокомнатные на «двушку», да ещё и с доплатой.

Пожили они какое-то время совместно. Мама тётю Настю всё воспитывала, а та никак не поддавалась, не могла отступить от старых привычек – тайком выпивала.

После того, как не стало мамы, прожила тётка ещё с пяток лет и тихо скончалась, завещав свою долю в квартире нам, четверым её племянникам. Похоронили тётю Настю на сельском кладбище, в родной ей Новой Майне, рядом с могилой Лёшеньки.



КОГДА ПОЭТЫ, РАСПРИ ПОЗАБЫВ¹...



Диана Кан

С главным редактором
журнала «Аргамак»
Николаем Алешковым
беседует поэтесса Диана Кан

– Свой десятилетний юбилей отмечает литературный журнал «Аргамак», издаваемый в Татарстане на русском языке. Не скрою, это приятный повод поговорить с главным редактором – известным поэтом Николаем Алешковым: подвести некоторые итоги, проанализировать события и обстоятельства, так или иначе связанные с журналом, да и с самим литературным процессом в России-матушке.

Для меня оказалось большой честью стать членом редколлегии этого замечательного издания, о котором я слышала и слышу много самых уважительных отзывов от коллег-писателей и – куда как важнее – от читателей. Многие говорят, что «Аргамак» едва ли не лучший среди региональных журналов России. Почивать на лаврах, пусть даже и заслуженных, да ещё и в юбилей, негоже, но озвучить факт наличия лавров не грех. В 2010 году журнал был признан лучшей книгой года в своей республике, а в 2013-м он стал серебряным призёром на Международном литературном конкурсе в Берлине. Моё знакомство с «Аргамак» началось с выпуска его первого номера, затем оно переросло в творческое содружество, ставшее особым знаком причастности к общему делу. Как всё начиналось, с чем встречает своё десятилетие «Аргамак»? С этого вопроса, Николай Петрович, и хочется начать нашу беседу.

– Благодарю вас за добрые слова, Диана Елисеевна! Ваше творчество в современной России стало заслуженно признанным, вы – ученица великого Юрия Куз-



Николай Алешков

¹ Переиначенная строка Пушкина из послания Мицкевичу.

нецова. Это особая честь для журнала. Спасибо и за то, что вы стали одним из самых верных моих помощников из членов редколлегии. Смею полагать, что наши взгляды на литературный процесс в России во многом совпадают. Не беда, если не во всём.

Редакторское поприще мне знакомо ещё по газетной работе. В 1998 году мне удавалось выпускать ежемесячную литературную «толстушку» (24 полосы третьего формата) со знаковым для того времени названием «Звезда полей».

«Аргмак», по сути дела, – продолжение того самого проекта, начатого со «Звезды полей». В смутную эпоху наступившего раздора, парада суверенитетов, уничтожения уникального и мощного сообщества под названием «Союз писателей СССР» это была попытка наряду с другими отчаянными коллегами объединить талантливых литераторов, живущих не только рядом с тобой, но и на огромных пространствах от Калининграда до Владивостока, сохранив тем самым читательское пространство хотя бы под обложкой одного из журналов. Сегодня мне не стыдно за каждый из тридцати «Аргмаков», выпущенных на издательский ипподром. Согласитесь, это держит на плаву. Исхожу из того, что литературных журналов ныне (и столичных, и региональных) издаётся немало, а свой я смею числить в первой десятке...

Мы живём в эпоху парадоксов. Критики пишут о литературном безвременье. Россия якобы перестала быть самой читающей страной, а литература перестала быть государственным делом. Власть полюбила спорт, но оказалась равнодушной к современной словесности. Футболисты становятся миллиардерами, а поэты уходят из жизни нищими и незамеченными. Преференции получают только те литераторы, которые ездят по международным книжным ярмаркам за государственный (то есть, за наш с вами) счёт. Они же по странному стечению обстоятельств нередко оказываются в оппозиции к власти.

Да, новые отношения в обществе диктуют новые условия. Но может ли в этих условиях выжить подлинная литература, исторически ставшая в нашем Отечестве едва ли не самым приоритетным видом искусств? Тимур Зульфикаров, которого называют дервишем современной восточной поэзии, на вопрос, как должна относиться литература к рынку, ответил однажды в «Литературной газете» исчерпывающе: примерно так же, как порядочная женщина должна относиться к публичному дому. Россия же вопреки всему упрямо продолжает являть на свет всё новых и новых стихотворцев и романистов. Самых разных. Зачем-то ей это надо. «Россия пишет стихи и прозу, как никогда ещё не писала!» – в этих строках поэта Станислава Золотцева есть что-то сакральное, а написал он их перед своей кончиной в 2008 году...

Журналу «Аргмак» повезло на настоящего правителя-государственника. Им оказался первый президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Именно он десять лет назад принял решение о выпуске русского литературного журнала в нашей республике. Он сделал это, болея, в том числе, за свою родную – татарскую – литературу, которая может существовать и развиваться в России только наравне с русской. Шаймиев осознаёт, что не менее сорока процентов населения Татарстана – русские, а все сто процентов общаются между собой на государственном и общенациональном русском языке, и все жители Татарстана платят налоги, а вместе мы уже не население, а народ. Также, к счастью, считает и Рустам Нургалиевич Минниханов, нынешний президент республики, пару лет назад заступившийся за «Аргмак». Тогда журнал не в первый уже раз хотели закрыть некоторые ретивые чиновники, чей кругозор более узок, чем

у республиканских лидеров. Правда, ныне журнал выходит только два раза в год, а не четыре, как было при Шаймиеве, но мы смеем надеяться, что это дело поправимое.

А неплодотворным я считаю поведение властей, остающихся равнодушными к литературному процессу вообще и к судьбе литературных журналов в частности. Литературное пространство огромной страны разорвано на куски, творческие союзы (ныне их не менее десятка), низведены до уровня общественных организаций. Чиновники и депутаты перестали считать литературное дело профессией. До сих пор нет закона о статусе писателя, художника, музыканта. Творческий стаж не учитывается при оформлении пенсии. Эти проблемы общеизвестны уже четверть века, а воз и ныне там. Вопрос «почему» остаётся без ответа. А надо-то, может быть, всего ничего. Если бы Владимир Владимирович Путин хоть однажды официально заявил, что литературу необходимо ввести в число национальных проектов, поскольку (повторюсь) это дело государственной важности, все губернаторы и лидеры национальных республик стали бы открывать региональные издательства и оказывать поддержку журналам.

– Читатели знают, что «Аргамак» финансируется из республиканского бюджета, как и татарские журналы. Литература была и остаётся основным рычагом воздействия на умы. Не музыка, не пение, не танцы. Идеология – это в первую очередь литература. Не мешает ли бюджетное финансирование говорить правду? Должен ли редактор во имя спасения журнала находить с властью компромисс?

– Вы не заметили, Диана Елисеевна, что споры о свободе слова, о независимости СМИ, бушевавшие в начале нулевых, как-то поприотихли? Назовите мне хоть одно некоммерческое издание, независимое от источников финансирования? Я, например, не знаю таких. Да и что такое ныне идеология, в чём она? Идеологию, как нечто вредное, в тех же нулевых отменил Виталий Коротич в журнале «Огонёк», ставшем рупором новоявленных демократов. Образовалась пустота, которую речистые политологи пытаются заполнить теледебатами о необходимости национальной идеи, как будто никогда ранее этой идеи у России не существовало. Уместно это или нет, но я выскажусь на данную тему своим восьмистишием:

*За свободу слова все мы сдуру
Бились, закусивши удила.
Но за толерантностью цензура
К нам неукоснительно пришла.
И теперь цензура вне закона,
Будь хоть патриот, хоть либерал.
Правила обком из Вашингтона
Через интернет надиктовал.*

Ныне за попытку освободиться от этого диктата нас пытаются задавить санкциями. Но мы, слава Богу, сопротивляемся. Пора обществу возвращаться к собственным, а не навязываемым чужим ценностям. Недурно бы и писателю проникнуться этой мыслью.

А теперь попытаюсь продолжить рассуждения о своих взаимоотношениях с властью нашей республики. Вы, конечно, понимаете: отвечать на добро взаимностью и «прогибаться» – это разные вещи. Особая приближённость к власти опасна для писателя. Меня иногда называют личностью поперечной. Я никогда не был в КПСС, не состою ни в одной из нынешних партий, не стремлюсь в депутаты или в госслужащие, но считаю себя граждани-

ном Татарстана, в котором родился и вырос. И как гражданин совершенно искренне уважаю Минтимера Шариповича Шаймиева за всё, что он сделал и делает в нашей республике, оставаясь после своего президентского срока государственным советником. Благодаря его огромному авторитету, благодаря его усилиям создан фонд «Возрождение», осуществивший комплексный проект «Древний город Болгар и остров-град Свияжск». Целью проекта стало сохранение и восстановление двух национальных святынь: родины ислама на нашей земле и оплота православия, установленного на Волге в непростую эпоху завоевания Казани Иоанном Грозным. Ныне государственный музей-заповедник «Болгар», а также Успенский собор острова-града Свияжск включены комитетом ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Тысячи и тысячи туристов ежегодно посещают и Болгар, и остров. А главное – великое дело, затеянное и осуществлённое Шаймиевым, стало символом межнационального согласия в Татарстане. Разве мы могли остаться в стороне? «Аргмак» из номера в номер рассказывал об этом, выражая чаяния всего народа Татарстана.

В начале нынешнего года стало известно, что Шаймиев выступил с новой инициативой – в области преподавания языков. Суть предложения: начиная с детского сада обучать ребёнка родному татарскому, государственному русскому и международному английскому одновременно. Оцените, сколько проблем это сразу снимает! И этических, и этнических. Особенно для молодёжи. Журналу «Аргмак» это очень интересно. Будем следить за процессом. Вижу в этом, если хотите, свой долг. Во всём остальном никакого диктата (что печатать, что не печатать) не испытываю.

– *«Аргмак» выходит в республике Татарстан, где региональный аспект дифференциации авторов по принципу «свои-чужие» осложнён ещё и национальной составляющей. То есть баланс сохранять надо в вашем случае с ювелирной точностью. Как вам даётся эта система географических сдержек и творческих противовесов?*

– Сдержки и противовесы оказываются ненужными, если следовать золотому правилу: публиковать качественные художественные тексты. О «неместечковости» «Аргмака» я уже сказал в начале беседы. Скажу и о том, что наши коллеги, пишущие на родном татарском языке, – такие же авторы «Аргмака», как и пишущие на родном русском. По-другому в многонациональной России никогда не было и, надеюсь, не будет. Национальные литературы – богатство России. Школа художественного перевода на русский язык всегда была общим достоянием. Ныне и она, к сожалению, разваливается, но «Аргмак», как и другие литературные журналы, публиковал и будет публиковать достойные по качеству переводы наших татарских (а при случае – чувашских, марийских, мордовских, удмуртских) писателей. Повторюсь, я вырос в Татарстане. И всегда помню гениальную есенинскую строку: «Затерялась Русь в мордве и чуди». Это – про нас. Русский мир настоян на тысячелетней ассимиляции.

– *Николай Петрович, в нашей беседе нельзя обойти вниманием и тот факт, что нынешний юбилей как бы двойной: 10 лет «Аргмаку» и 20 лет Татарстанскому отделению Союза российских писателей, председателем которого опять-таки являетесь вы. Связка журнала и регионального отделения СРП оказалась нерасторжимой. Если республиканский медиахолдинг «Татмедиа» зарегистрирован как учредитель журнала «Аргмак. Татарстан», то ТО СРП является его издателем. А я, как вы знаете, была и остаюсь в составе другого творческого союза – Союза писателей России. Вы (это общеизвестно) публикуете и тех, и других. Да и мы с вами*

дружим, несмотря на некоторые разногласия между нашими двумя самыми крупными писательскими сообществами.

– Диана Елисеевна, тут впору и посмеяться, и погоревать, вспомнив поговорку: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат». Как известно, в 1991 году единый и неделимый Союз писателей СССР разделился не на два, а на три литературных сообщества. Третье, на мой взгляд, было самым разумным в той ситуации. Оно обрело аббревиатуру МСПС (Международное сообщество писательских союзов). мудро поступил, основав его, Сергей Владимирович Михалков, известный не только как автор трёх российских гимнов, но и как автор прекрасных детских стихов и как крупный общественный деятель. Сегодня с идеей МСПС (по сути дела, и с завещанием Михалкова) расправляется федеральное агентство «Росимущество», изъяв через суды из общеписательской собственности сначала городок «Переделкино», а совсем недавно и знаменитый Дом Ростовых на улице Поварской, принадлежавший в советском прошлом Союзу писателей. Это ли не пример того, что писатели мешают нынешним государственным мужам – уж больно дороги по цене подмосковные уголья и столичные особняки, чтобы их писателям оставлять...

Вернёмся к Союзу писателей России и Союзу российских писателей. Их разделение было как раз идеологическим: на якобы патриотов и на якобы либералов. Одни остались с Юрием Васильевичем Бондаревым, другие пошли за Евгением Александровичем Евтушенко. В 1994 году Союз писателей России возглавил Валерий Николаевич Ганичев. В 1999 году у меня и моих челнинских друзей – выпускников Литературного института Валерия Новикова и Владимира Кирилёва возникла необходимость государственной регистрации регионального отделения одного из этих союзов. И, приехав в Москву, я первым делом пришёл в приёмную В. Н. Ганичева. Валерия Николаевича на месте не оказалось. Меня попросили оставить подробное заявление и ждать ответа.

Мы ждали месяц – не дождалось. Вновь оказавшись в Москве, я встретил С. В. Василенко, с которой был знаком по Литинституту. Светлана Владимировна к тому времени стала первым секретарём правления Союза российских писателей. Остаётся на этом боевом посту и по сей день. Нам, челнинцам, задумавшим коммерческий издательский проект «На стыке тысячелетий. Деловая элита республики Татарстан», юридическая крыша к тому времени стала крайне необходима. Разрешение на регистрацию отделения было получено сразу, документы оформили без проволочек.

Минуло с тех пор 20 лет. О своём выборе не пожалели ни челнинцы, ни я, избранный и не раз переизбранный председателем отделения. Коммерческий проект удался, на заработанные деньги в лихие нулевые мы выжили сами, а некоторым друзьям-коллегам помогли издать книги, точнее, сами их издали. Первой оказалась посмертная книга талантливого поэта из города Нижнекамска Владимира Лёушкина «Птицы падают в небо». Вслед за ней последовали скромные, но необходимые в лихую безденежную пору сборники стихов Виля Мустафина («Стихи о стихах» и «Сонетные вариации»), Николая Перовского («Звезда упала»), Николая Беляева («След ласточки»), Романа Солнцева («Письмо на родину») – все четверо были тогда ещё живы.

Ныне Татарстанское отделение Союза российских писателей – вторая по численности писательская организация на территории республики. В ней 62 человека. Большинству из них именно наша организация позволила наиболее полно реализовать свой потенциал, поскольку вступить в Союз писа-

телей республики Татарстан удаётся далеко не всем. Назову для примера трёх казанских поэтов – Эдуарда Учарова, Филиппа Пираева, Галину Булатову. Их творчество остаётся в русле пушкинской традиции («...чувства добрые я лирой пробуждал») и служит «смягчению нравов», в чём видел одну из целей художественного творчества Василий Розанов. Эта казанская троица известна и другими благими делами. Они вернули из забвения имена нескольких земляков-казанцев: поэта-романтика предпушкинской эпохи Гавриила Каменева (ежегодно проводят конкурс «Хижицы» его имени), а также нашего современника Ивана Данилова, бескорыстно издав их книги. Они придумали и организовали ни на что другое не похожее кафе «КаЛитКа», где по воскресеньям встречаются большей частью поэты, а также художники, музыканты, артисты. Мало сказать, что кафе, где угощают чаем и кофе, стало популярным – оно становится любимым. «Содержит» кафе Эдуард Учаров на правах сотрудника Центральной городской библиотеки Казани, где оно и существует не первый год. По нашим рекомендациям все трое были приняты в Союз российских писателей, получили государственные стипендии и выпустили свои сборники, о которых шли дружеские дискуссии в той же «КаЛитКе».

Под началом ТО СРП действует несколько литературных объединений. Самые крупные: в Казани «Примус» (имени нашего покойного наставника Виля Салаховича Мустафина; руководитель – поэт Филипп Пираев) и в Набережных Челнах при ДК «КАМАЗ» литобъединение «Лебедь» (руководитель – Ольга Кузьмичёва-Дробышевская). Помимо Набережных Челнов и Казани открыты представительства и ячейки в некоторых других городах и посёлках республики.

Более подробный рассказ о нашей деятельности занял бы в интервью слишком много места, но я надеюсь, что он будет продолжен в других материалах этого номера. Да и я в течение минувших лет не раз писал об этом. А сейчас заострить внимание хочется на двух вещах. Во-первых, благодаря содействию правления Союза российских писателей и лично Светланы Владимировны Василенко наше отделение стало получать ежегодно по четыре государственных стипендии от Министерства культуры Российской Федерации на издание новых книг. Две стипендии по номинации «Мастер» и ещё две по номинации «Молодой автор», с возрастным ограничением до 35 лет (чаще всего ещё не член СРП, но кандидат в него). Таких стипендий получено около двадцати, значит, выпущено столько же книг – самых первых или очередных. Кандидатов на стипендии избирает общее собрание по рекомендации бюро ТО СРП, состоящее из семи человек.

А разногласия между двумя писательскими союзами я считаю пустыми и глупыми. Неприятие друг друга осталось у московской верхушки. А в провинции происходит нечто обратное. Нищенствуют и те, и другие, они же чаще всего вместе, сообща делают наше «бесполезное» дело, ибо тяга к нему неистребима. За примерами далеко ходить не надо. Вы, Диана, уже опередили меня, сказав, что «Аргмак» публикует и тех, и этих (был бы текст хорош). Так же поступают другие издания российской провинции, с которыми «Аргмак» дружит, а не конфликтует. Я с удовольствием назову альманахи Союза российских писателей «Лёд и пламень» и «Паровоз» (Москва), «Под часами» (Смоленск), ваш журнал «Гостинный двор» (Оренбург), пензенскую «Суру», йошкар-олинскую «Литеру», саратовскую «Волгу–XXI век», красноярский «День и ночь», иркутскую «Сибирь», калининградские «Берега», воронежский «Подъём» (один из старейших). Возобновились тёплые отношения со знаменитым московским журналом «Молодая

гвардия», ибо его главный редактор Валерий Хатюшин в молодости «правил перо» вместе со мной в легендарном литературном объединении «Орфей» (Набережные Челны, семидесятые годы прошлого столетия).

В том же Оренбурге совместно устраиваете фестивали, конкурсы, семинары молодых вы, Диана Кан (СПР), и Виталий Молчанов (СПП), в Екатеринбурге тем же самым занимаются Александр Кердан (СПР) и Арсен Титов (СПП). О чём это говорит? В низах появилась тяга к объединению. Рано или поздно верхи должны это услышать. Возможно, и государство тогда обратит внимание на писателей.

– *Николай Петрович, каков ваш взгляд на будущее развитие художественной литературы в России и как редактора, и как активно публикующегося поэта – оптимистический или пессимистический?*

– От прогнозов воздержусь, ибо не только Россия, но и весь мир замер в тревожных предчувствиях. До светлых дней, когда кроме частных появятся государственные или общественные издательства, поддерживаемые бюджетом, когда возобновятся на былом уровне книготорговля и библиотечное дело, когда писатели будут получать за свой труд достойное вознаграждение, я, пожалуй, не доживу – мне уже 74. Но хочется надеяться, что это случится. Я даже наивно верю, что мои стихи когда-нибудь будут переиздаваться достойными тиражами, так как помню тиражи двух своих первых тоненьких книжек: 8000 экземпляров и 15000 экземпляров (сравните с нынешними 1000 или 500). Что любопытно, обе книжки были раскуплены в течение месяца (первая выпущена в 1983 году, вторая – через пять лет). То есть спрос на них был без моего личного участия – хорошо работала отлаженная система. Не сомневаюсь, что есть спрос на наши книги и сейчас. Только продавать их должны не сами поэты, а профессионалы торгового дела, неравнодушные к литературе.

*Стихи, ей-богу, удаются
И душу радуют мою.
Стихи всё реже издаются,
Стихи совсем не продаются,
Поэтам деньги не даются.
Как соловей – за «так» пою.
Да! Божий дар всего дороже,
И я внимать ему готов.
Лишь об одном молю: «О, Боже,
Избавь поэта от долгов».*

Проблема не в нас. В России сегодня отсутствует организация литературного дела. В Советском Союзе она была. И писатель был социально защищён. Не только за книги, за каждую публикацию (даже в районной газете) платились гонорары. При отделениях Союза писателей работали бюро пропаганды художественной литературы, заключавшие договоры с профсоюзами. По путёвкам бюро мы выступали на предприятиях, на стройках, в рабочих общежитиях, в сельских клубах, и каждый получал за выступление по 18 надёжных советских рублей. Оттого и книги не залёживались. Я был принят в СП СССР в 1984 году. На следующий год мне была предоставлена творческая командировка на Дальний Восток. Оказалось, что в Хабаровском крае, на берегу Амура есть село Елабуга с крупным рыболовецким совхозом, а в 18 километрах от Елабуги есть село Челны. Таким образом, я встретил там своих земляков, переселившихся сюда из Нижнего Прикамья ещё в эпоху сталинских реформ, и написал о них очерк. Для государства

такое сотрудничество было само собой разумеющимся. И вдобавок – моё литературное поколение помнит, что Союз писателей СССР был не только творческой, но и мощной хозяйственной структурой, существовавшей отнюдь не на подачи государства – если они и были, то смею предположить, что не превышали нынешних. Не пора ли вспомнить об этом?

– У каждого литературного журнала есть собственные принципы, исходящие из вкусов редактора и редколлекции. По-моему, заметны они и у журнала «Аргамак». Что скажете по этому поводу?

– У моего друга – поэта Юрия Кучумова есть такие строки: «Я не за красных, не за белых, я просто рядом тут живу». Я с ним согласен в самом широком смысле. На мой взгляд, хватит ориентироваться на коммунизм, социализм, тем более на не оправдавший себя демократический централизм – глобализм американского пошиба. Пора строить российское общество здравого смысла, иначе пропадём.

Извините, что чуть отвлёкся. Я уже не раз писал о предпочтениях журнала «Аргамак». В гражданском смысле они исходят из интересов Отечества. А при отборе материалов главное – качество художественного текста и неприятие дурного вкуса. Меня почему-то считают замшелым традиционалистом. А я всегда с надеждой читаю экспериментальные стихи и прозу – вдруг мелькнёт что-то подлинное. Дурным вкусом же считаю, когда книгу стихов называют, например, «Вишнёвый сайт», потому что ничего, кроме издёвки над классикой, в этом названии не вижу. Как и в самих стихах, в которых, кроме цинизма и жажды самоутверждения, тоже ничего не вижу. От разбора конкретных произведений тех или иных авторов нашего журнала давайте воздержимся. Всё, что опубликовано в «Аргамак», читайте, делайте выводы.

– Не сомневаюсь, Николай Петрович, что читать вам как редактору приходится очень много. Не только авторов-аргамаковцев, но и коллег-современников, без этого не обойтись. Каковы ваши предпочтения в текущем литературном процессе? Какие имена вызывают надежды?

– Из журналов – знакомлюсь со всеми, которые перечислил выше. Предпочтительнее других – «Наш современник», подписчиком которого являюсь более сорока лет. Почти все любимые авторы, на коих в той или иной степени складывались мои вкусы и моё мировоззрение – Рубцов, Шукшин, Юрий Кузнецов, Астафьев, Белов, Распутин, Кожин, Селезнёв, – оттуда. «НС» открывает и авторов, за которыми, на мой взгляд, будущее русской литературы. Это прозаики Михаил Тарковский, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов – люди вашего поколения, Диана Елисеевна. Это, конечно, и вы сами как автор и лауреат того же журнала, в подтверждение чему в нашем юбилейном номере публикуется отклик на ваши стихи Эдуарда Анашкина, напечатанный ранее как раз в «Нашем современнике». Назову и поэта из Смоленска Владимира Макаренко, своего коллегу по сопредседательству в региональном отделении Союза российских писателей. Огромный интерес у меня не только как у читателя, но и как у редактора вызывают новые русские реалисты: иркутянин Андрей Антипин, москвичка Елена Тулушева. Это уже поколение, следующее за вами. В числе этого поколения ваша ученица Карина Сейдаметова, возглавляющая теперь в «НС» отдел поэзии, и поэтесса Елизавета Мартынова, главный редактор журнала «Волга–XXI век», – обе они уже публиковались в нашем «Аргамак», и сотрудничество с ними, я надеюсь, будет продолжаться.

Конечно, не могу не назвать поэтов своего, теперь уже уходящего – военного и послевоенного – поколения. Некоторые из нас – ровесники Вели-

кой Победы, это мои одногодки Владимир Скиф (Иркутск) и Хайдар Бедретдинов (Москва), дождавшиеся с фронта своих отцов, а также Разиль Валеев (Казань), родившийся в 1947 году, и тот же Валерий Хатюшин, отпраздновавший осенью прошлого года семидесятилетие. Ребята чуть постарше нас – это Николай Рачков (Ленинградская область) и Геннадий Морозов (г. Касимов Рязанской области) – своих отцов не дождались, вслед за Юрием Кузнецовым познали безотцовщину. «В пятидесятых рождены» (так называется одна из книг покойного и всеми любимого Коли Дмитриева) и, слава Богу, ныне здравствующие Евгений Семичев (Самарская область), Юрий Перминов (Новосибирск), Александр Нестругин (Воронеж). Таков мой личный список близких по духу участников современного литературного процесса в России. По художественному уровню он не уступает прикормленным «амбивалентным» авторам, а, на мой взгляд, превосходит их.

Дальнейшее развитие отечественной словесности невозможно без сохранения традиции. Моё поколение ещё помнит, что оно выросло на хорошо удобренной почве. Почти у каждого из нас были бескорыстные наставники. Для меня лично это Николай Беляев и Рустем Кутуй, а также голосовавшие за меня в 1984 году при приёме в Союз писателей татарские классики Хасан Туфан и Гариф Ахунов. В числе моих друзей и верных помощников при выпуске «Звезды полей», а затем и «Аргамак» были и остаются в сердце и в памяти казанец Виль Мустафин и его ровесник, поэт из города Орла Николай Перовский. Их объединяла помимо поэзии и похожая судьба. Оба они – сыновья «врагов народа». Их отцы были репрессированы и расстреляны. Помимо мастерства и ремесла тот и другой являли пример, как при любых обстоятельствах оставаться поэтом и порядочным человеком.

Все они – живые и мёртвые – остаются опорой. А о собственном «месте в рабочем строю», тем более о регалиях думать не хочется. В одном из стихотворений мною написано так:

*...А слава – что? А слава – дым.
Оставь-ка рейтинги другим –
Быть модным некрасиво.*

*Ищи себя в черновиках
И в недописанных стихах –
Да будет поиск сладок!*

*И продолжай пером водить,
А перед тем, как уходить,
Всё приведи в порядок.*

– Благодарю за беседу, Николай Петрович! В завершение хочется выразить надежду, что «Аргамак» продолжит свой победный бег на издательском ипподроме не два, а четыре раза в год, а разнообразные писательские сообщества когда-нибудь снова объединятся в единый творческий Союз, ибо такая необходимость назрела.

**Редакция журнала «Волга–XXI век»
поздравляет журнал «Аргамак» с юбилеем!**



**Александр
ДЕМЧЕНКО**

ВОЛЖСКИЕ ИСТОКИ

К 85-летию со дня рождения Альфреда Шнитке

Для подавляющего большинства иностранцев Россия – это чуть ли не единственно Москва и Петербург, а также в лучшем случае ещё и Волга, Сибирь. Однако с некоторых пор, по крайней мере, для просвещённых ценителей искусства на далёких горизонтах мирового лексикона обозначилось географическое название *Энгельс*, которое не совсем понятным образом связывается в сознании с фигурой одного из самых значительных представителей марксизма.

Своей недавно возникшей и неуклонно растущей известностью этот населённый пункт во многом обязан композитору *Альфреду Шнитке*. Кто бы мог подумать, что он, который родился и провёл первые двенадцать лет жизни в совсем небольшом заволжском городке, станет не просто всесветно известным музыкантом, а признанным лидером мировой музыки второй половины XX века.

Но кто знает, как бы сложилась его творческая судьба и так ли вообще сложилась бы комбинация заложенных в нём генов, если бы он родился в других местах и начинал свой путь не на волжских берегах.

Жан-Поль Сартр как-то заметил: *«У каждого человека свои природные координаты: уровень высоты не определяется ни притязаниями, ни достоинствами – всё решает детство»*. Вряд ли можно полностью согласиться со столь категоричным суждением, тем не менее зачастую приходится признать справедливость ходовой аксиомы: *«Все мы родом из детства»*.

Следовательно, по логике вещей мы должны признать некое обоюдное равенство. Да, город Энгельс Саратовской области

-
- Александр Иванович Демченко – профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, профессор Саратовского государственного университета, Саратовского государственного социально-экономического университета, Оренбургского государственного университета искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Член Союза композиторов РФ, Союза журналистов РФ. Заслуженный деятель искусств РФ. Заслуженный деятель науки и образования. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшее учебно-методическое пособие. Обладатель Золотой медали В. И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки и Почётного звания «Основатель научной школы». Лауреат Международной премии им. Н. Рериха. Почётный гражданин города Саратова.

может гордиться тем, что имеет столь прямое отношение к личности подобного масштаба. Но и мир не имеет права забывать, что такую личность подарил ему именно этот неприметный город Заволжья.

Большой видеосюжет об Альфреде Шнитке, подготовленный в 1997 году отечественными кинематографистами, получил название «Немецкий композитор из России». Заявленная этим лексическим оборотом парадоксальная данность имеет для себя достаточные основания как в плане личностном, касающемся персональной судьбы композитора, так и в плане общеисторическом, связанном с феноменом, вошедшим в анналы мировой цивилизации под «шифром» *немцы России* или *российские немцы*.

Если вести речь о художественной культуре, то следует начать с такого события. При царе Алексее Михайловиче приехавший в Россию в 1658 году пастор лютеранской церкви московской Немецкой слободы Иоганн Готфрид Грегори (ок.1625–1675) создал первый придворный театр. 17 октября 1672 года состоялся спектакль по пьесе «Артаксерксово действо», написанной Грегори и переведённой на русский язык. Затем были поставлены «Олоферново действо», «Орфей» и другие вещи. В качестве актёров выступали иноземцы и молодые подьячие Посольского приказа.

Позднее именно немецкие актёры познакомили Россию с Шекспиром: при Петре I труппа Кунста сыграла «Юлия Цезаря», а в 1740-е годы Аккерман ставил «Гамлета» и «Ричарда III» (к сожалению, история не сохранила инициалов этих людей). И, как бы продолжив данную линию, первым крупнейшим русским драматургом стал Денис Фонвизин (1744 или 1745–1792, его фамилия ещё в конце XIX века писалась как *фон Визин*).

Среди поэтических имён пушкинской когорты находим Вильгельма Кюхельбекера (1797–1846) и Антона Дельвига (1798–1831); к слову, матерью Александра Пушкина была внучка Христины Регины Ганнибал (в девичестве фон Шеберг). А далее среди литераторов встречаем немало разномасштабных фигур – от революционера-демократа Александра Герцена (1812–1870) до «обэриута» Константина Вагинова (1899–1943, настоящая фамилия – Вагенгейм).

Необходимо упомянуть поэтесс XX века Зинаиду Гиппиус (1869–1945) и Ольгу Берггольц (1910–1975), и при этом стоит заметить, что с некоторых пор женщина-немка начинает занимать в развитии культуры России достаточно видное место. Среди контрастных примеров:

- Каролина Павлова (1807–1893, в девичестве Яниш) – известная писательница, хозяйка знаменитого московского литературного салона, где бывали Гоголь, Лермонтов, Фет и многие другие;

- Елена Блаватская (1831–1891, урождённая Ган) – основательница теософского учения;

- балерина Екатерина Гельцер (1876–1962) и эстрадная певица Анна Герман (1936–1982, после Великой Отечественной войны выехала с родителями в Польшу).

Много имён можно перечислять и в других сферах искусства. Архитектор Александр Брюллов (1798–1877) и его знаменитый брат, живописец Карл Брюллов (1799–1852), архитекторы Константин Тон (1794–1881) и Виктор Гартман (1834–1873), который был и художником: как известно, его серия рисунков дала импульс созданию фортепианного цикла Мусоргского «Кар-

тинки с выставки»); скульпторы – от Петра Клодта (1805–1867) до Матвея Манизера (1891–1966).

То же и в музыке: от Александра Виллуана (1804–1878), воспитавшего таких корифеев, как Антон и Николай Рубинштейны, пианиста Адольфа Гензельта (1814–1889) и виолончелиста Константина Альбрехта (1836–1893). Это был виднейший представитель целой династии русских музыкантов XIX века – Карл, Евгений, Людвиг, Пётр), до органиста Александра Гедике (1877–1957), композитора Николая Метнера (1880–1951) и дирижёра Александра Гаука (1893–1963).

Заметим, что и материальная база музыкального искусства зачастую формировалась усилиями немецких предпринимателей и мастеров: основанные в первой половине XIX века фабрики роялей «Дидерихс» (1810), «Шрёдер» (1818), «Беккер» (1841), «Мюльбах» (1856) и учреждённые в середине того же столетия музыкальное издательство «Гутхейль» и музыкальное издательство Петра Юргенсона.

Вся музыкально-образовательная система в России складывалась в немалой степени благодаря усилиям немецких музыкантов-педагогов. Что касается консерваторий в Петербурге (основана в 1862 году) и Москве (1866), это подробнейшим образом документировано в книге Д. Ломтева «Немецкие музыканты в России» (М., 1999).

Стоит добавить, что и у истоков Саратовской консерватории (открылась в 1912-м) – третьей в России и первой в провинции – стоял целый ряд музыкантов немецкого происхождения, начиная с пианиста Станислава Экснера (её основатель и первый директор), теоретика Леопольда Рудольфа и трубача Василия (Карла-Вильгельма) Брандта. Позже здесь работали музыковед Ростислав Таубе, скрипач Виктор Витман и композитор Арнольд Бреннинг, написавший симфоническую поэму «Земля отцов», воспроизводящую в звуках историю поволжских немцев, и Девятую симфонию («Из истории собора»), отсылающую к знаменательным событиям жизни далёких предков.

Остаётся упомянуть, что и в научных изысканиях, связанных с художественным творчеством, немецкая среда выдвинула видных знатоков – от исследователя памятников древнерусской словесности Александра Востокова (1781–1864, настоящая фамилия Остенек) и выдающегося лексикографа Владимира Даля (1801–1872) до историка искусства Бориса Виппера (1888–1967) и литературоведа Валентина Асмуса (1894–1975).

Первым историком русского музыкального искусства явился Якоб фон Штелин (1709–1785), а среди его продолжателей в XX столетии находим исследователя русской музыкальной культуры Николая Финдейзена (1868–1928), выдающегося музыкального текстолога Павла Ламма (1882–1951) и музыкального этнографа Евгения Гиппиуса (1903–1985).

Ещё один феномен, интересующий нас, вошёл в историю под названием *немцы Поволжья*. К этому феномену Альфред Шнитке имеет самое прямое отношение.

В 1762 году Екатерина II подписала манифест «О позволении иностранцам выходить и селиться в России», призывавший обживаться в *«наивыгоднейших к обитанию рода человеческого полезнейших местах империи, до сего праздно остающихся»*. Иными словами, это были совершенно неос-

военные земли на окраинах государства Российского, что несло с собой массу трудностей и тягот.

Привлекая немцев в Россию, Екатерина II одной из своих целей имела дать пример русскому населению – пример хозяйственной рачительности, деловитости и предприимчивости, что и было с успехом претворено в жизнь. К 1914 году в Поволжье насчитывалось более 200 колоний с населением свыше 400 тысяч человек.

Город Энгельс, о котором речь пойдёт чуть позже и в котором родился Альфред Шнитке, находится на левом берегу Волги, как раз напротив Саратова. Влияние этого губернского центра на небольшой заволжский город всегда было значительным и самым непосредственным, поэтому необходимо хотя бы вкратце осветить интересующий нас вопрос и с этой стороны.

Самая большая диаспора немцев была именно в Саратове – к началу XX века их проживало здесь свыше 5 тысяч. Основными занятиями были ремесло и торговля. Поскольку главным направлением сельскохозяйственной деятельности в регионе было производство пшеницы, соответствующим образом развивалось и мукомольное дело.

Теперь сосредоточим своё внимание на городе детства Альфреда Шнитке. Этот город, а с ним и все российские немцы пережили после 1917 года свой «звёздный» час.

Внешне – именно так. Слыхано ли: благодаря *«Великому Октябрю»* люди родом из далёкой, чужой земли получают здесь свою государственность! В 1918 году по их настойчивому ходатайству ленинским декретом была образована Трудовая коммуна немцев Поволжья (Автономная область немцев Поволжья) с центром в Марксштадте.

Подчеркнём: это была первая из автономий в послереволюционной России. А Марксштадт (с 1941 года – Маркс) – немецкая колония, основанная в 1767 году под названием Баронск и позже переименованная в Екатериненштадт (в честь императрицы).

В 1924 году в новых, более широких границах была провозглашена Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья со столицей в городе Покровске (с 1931-го – Энгельс), который находился в полуcentне километров от Марксштадта на том же левом берегу Волги. Сама же Покровская слобода была основана в 1747 году, с 1914-го числилась безуездным городом, немцы-колонисты селились здесь с середины 1760-х.

К 1937 году в Республике работало 286 изб-читален и 76 библиотек. Среди них – Центральная государственная библиотека для немецкого населения, располагавшая уникальным фондом и ценнейшими редкими изданиями, начиная с середины XVI века (формировать её фонд начали ещё в 1918 году).

В Энгельсе и в центрах кантонов издавались газеты и журналы на немецком языке. С середины 1920-х годов работало «Немецкое государственное издательство», выпускавшее книги и учебники, имевшее представительства в Москве и Ленинграде.

В 1933 году создана республиканская писательская организация, которая имела свой литературно-художественный и публицистический журнал и была достаточно многочисленной (Ф. Бах, В. Гофман, Г. Завацкий, А. Закс,

П. Куфельд, А. Лонзингер, А. Роор, С. Шиман, К. Шульмейстер, Х. Эльберг, И. Эндерс и др.).

Среди живописцев безусловно лидировал Яков Вебер (1870–1958). Уроженец колонии Бальцер (ныне город Красноармейск), он учился рисованию в Саратове, где сблизился с В. Борисовым-Мусатовым. Затем обучался живописи в мастерской К. Коровина и в художественном училище при Петербургской академии художеств. В 1909 году получил звание свободного художника за картину «Сумерки на Волге».

Помимо художественной самодеятельности (базой её развития к 1937 году были 21 дом культуры и 236 клубов) в Республике работали четыре театра. Флагманом являлся Немецкий государственный драматический театр, открытый в Энгельсе в 1931-м. Его труппа пополнялась актёрами, покидавшими Германию после того, как к власти пришли нацисты (К. Вейнер, Г. Триган, Р. Фишер, У. Вимлер, М. Рохгаузен и др.).

В 1935 году в работу театра включаются пользующиеся общеевропейской известностью писатели И. Бехер и Э. Вайнерт, певец Э. Буш, режиссёр Э. Пискатор. Главным режиссёром становится М. Валентин, работавший в театрах Вены, Берлина и Мюнхена. Коллектив переживает этап высоко-го подъёма, его театральная афиша была представлена в основном лучшими образцами мировой классики.

С 1934 года в Энгельсе существовала Немецкая государственная филармония с симфоническим оркестром, Государственным хором Республики немцев Поволжья и национальным ансамблем песни и пляски.

Казалось бы, внешне картина существования советских немцев выглядела весьма и весьма радужной. В том числе и по части «расцвета культуры – национальной по форме, социалистической по содержанию».

Всё так, если бы не обрушившийся дважды на эту землю-житницу страшный голод – в начале 1920-х и в начале 1930-х годов (в начале 1920-х вымерло свыше 100 тысяч человек, что составляло тогда 27 процентов населения автономии);

если бы не репрессии, волна за волной уносившие из жизни лучших представителей этого народа (из упоминавшихся деятелей культуры достаточно назвать писателя Г. Завацкого, художника Я. Вебера, режиссёра Э. Пискатора, этнографа Г. Дингеса);

если бы не насильственная коллективизация, обнищание когда-то домовитых и состоятельных людей, если бы не жёсткий идеологический диктат, завуалированная русификация, и ещё много всяких «если бы»...

Так начинался финал истории немцев Поволжья, зловещее многоточие в котором поставили события августа 1941 года. Через два месяца после начала Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР Республика немцев Поволжья была ликвидирована, в считанные дни проведена депортация её немецкого населения в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию.

Заведомо сфальсифицированные обвинения в сотрудничестве с гитлеровским режимом или в готовности к этому, выселение на Восток с земель, в которые было столько вложено и которые давно уже стали родными, мгновенное свёртывание учреждений культуры и творческих коллективов, тотальный геноцид против целого народа – это была ни с чем не сравнимая трагедия.

Всё названное должно было произойти и с семьёй Шнитке, но отцу удалось доказать, что он еврей. Семью оставили в Энгельсе, в том числе мать и бабушку, хотя они были немками.

Тем не менее нетрудно представить, как происходящее вокруг с другими могло подействовать на семилетнего Альфреда, и невозможно поверить в то, что это так или иначе не отразилось в его будущих музыкальных концепциях, нередко насыщенных самым мрачным трагизмом.

Попутно, ради исторической справедливости, имеет смысл напомнить, что попытка переселения российских немцев уже однажды предпринималась. На кризисном этапе Первой мировой войны в 1916 году Николай II подписал указ об их депортации в Сибирь.

Тогда колонистов спасла победа Февральской революции, хотя А. Керенский и отказался отменить царский указ. Осуществить это удалось в 1941-м, легко и просто, одним росчерком пера, чем может гордиться тоталитаризм сталинского образца.

Обвинения в адрес немцев были признаны необоснованными только в 1964 году, а в 1971-м были сняты препятствия к возвращению немцев Поволжья на свою историческую родину. Однако на деле эта реабилитация во многом оказалась пустым звуком.

До сих пор по всевозможным причинам и несмотря на многочисленные усилия, российские немцы не могут оправиться после происшедшей катастрофы и вновь, хотя бы в самой условной форме, обрести себя как национальную общность. Показательный факт: из их числа в середине 1990-х годов в Казахстане проживало 958 тысяч человек, а в России только 843 тысячи – совершенно ясно, что подобный дисбаланс является прямым следствием депортации 1941 года.

Большая немецкая традиция напоминает о себе в Поволжье только спорадически. В Саратове это – консульство ФРГ (закрыто в 2004 году по причине нерадивого отношения местных властей), Немецкий дом (учреждение клубного типа), филиал Гёте-центра, Немецкий читальный зал в Саратовской областной универсальной библиотеке, Клуб немецкой культуры «Freundschaft», Клуб любителей немецкого языка при Саратовском государственном университете, *Volga Deutsche Bank* (ликвидирован по причине экономического кризиса 2009 года), почти неприметная деятельность VDA (Союз в поддержку немцев за рубежом) и Землячества немцев Поволжья. В Энгельсе – Центр немецкой культуры, отдельные залы краеведческого музея и завод фирмы «BOSCH».



Энгельс, ул. Советская, где стоял дом семьи Шнитке

К сказанному можно добавить тот факт, что в 1985 году новый орган в Большом зале Саратовской консерватории устанавливали мастера из Германии. Вот, пожалуй, и всё...

Внешний облик родного города Альфреда Шнитке во времена его детства отнюдь не был

хоть сколько-нибудь презентабельным. Покровск 1910–1920-х годов колоритно описывает земляк композитора Лев Кассиль в своей автобиографической дилогии «Кондуит и Швамбрания» (1930–1933). Вчитаемся в некоторые её фрагменты.

«В открытые окна рвалась визгливая булга торговков. Пряная ветошь базара громоздилась на площади. Хрумякая жвачка сотрясала торбы распрямлённых лошадей... Возы молитвенно простирала к небу оглобли. Снедь, фулядь, бакалея, зелень, галантерея, рукоделие, обжорка... Тонкокорые арбузы лежали в пирамидках, как ядра в кинокартине «Севастопольская оборона».

Картина эта шла за углом в синематографическом электротееатре «Эльдорадо». Кинематограф всегда окружали козы. У афиш, расклеенных на мучном клейстере, паслись целые стада.

Город Покровск раньше был слободой. Слобода была богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили на баржи.

Болота и грязь затопляли слободские улицы. Так жили в слободе Покровской, в семи верстах от Саратова.

Не одна галоша захлебнулась в лужах, не один резиновый бот затонул на главной улице Покровска.

В скобках заметим, что отцу Л. Кассиля, который был лучшим врачом города Энгельса, довелось принимать новорождённого Альфреда Шнитке.

Трудно предположить, что город капитально изменил свой облик и в те 12 лет, которые составили детство Альфреда, то есть с 1934-го по 1946-й. Как свидетельствовал писатель Илья Эренбург, избравшийся здесь депутатом Верховного Совета РСФСР, ещё и в 1951 году *«тротуаров местами не было, улицы плохо освещались».*

Следовательно «столица» оставалась, выражаясь нынешним лексиконом, глубинкой, или просто-напросто российским захолустьем. Были и каменные здания, в том числе двухэтажные, но практически абсолютно господствовала деревянная застройка, которая ещё и теперь в немалой степени определяет облик Энгельса.

В памяти композитора он всегда предстал как одноэтажный городишко. *«Город Энгельс, около Саратова, где я жил, был маленький».* Переезд с родителями в Вену, которая даже в полуразрушенном состоянии первых послевоенных лет оставалась настоящей столицей, заострил сниженное восприятие города детства: *«После Энгельса, состоявшего в основном из заборов и сараев... После пустынного, лежащего вне времени города-сарая Энгельса...»*



Альфред с младшими братом и сестрой (1948)

Добавим к этому любопытное наблюдение саратовского музыковеда Е. Вартановой, которая отмечает возможность воздействия на сознание Шнитке-ребёнка со стороны «пространства, именуемого городом *Энгельсом*», где всё было основано на «хаотичности застройки, отсутствии архитектурного лица, запутанности улиц этого города-слободы, которые неизвестно где начинаются и неизвестно где заканчиваются».

Тем не менее, тот локус, в котором зарождался гений композитора, несомненно воздействовал на его будущее видение мира. Крупнейший саратовский пианист Анатолий Скрипай, уроженец Энгельса, учившийся в той же школе, что и Альфред Шнитке, не без оснований провёл такую параллель: «Город *Энгельс* для *Альфреда Шнитке* – то же, что *Витебск* для *Марка Шагала*».

И будем иметь в виду, что после депортации 1941 года здесь многое поменялось: из немецкой «столицы» Энгельс быстро преобразался в типично российское, причём заволжское захолустье. И Альфред из ребёнка превращался в подростка, как губка впитывавшего впечатления окружающего мира.



Альфред Шнитке
(1949)

Именно тогда он приобрёл определённое, если не знание, то ощущение самой обыкновенной жизни самых обыкновенных, «рядовых советских» людей, а по сути – совершенно типичных русских «слобожан», то есть горожан-полуагариив.

Нетрудно предположить, что в будущем именно это ощущение так или иначе могло побуждать композитора обращаться в своём творчестве к ресурсам бытовых пластов музыкального обихода с соответствующей спецификой «просторечия» и тривиально-расхожего.

Вполне вероятно, что в его музыкальной интуиции уже тогда внутренне вызвало зерно стихии банального, обыденно-сентиментального, особенно живучего и всегда актуализированного в контексте русского провинциализма, в том

числе в звуковой атмосфере, окружавшей будущего композитора в Энгельсе.

Говорить же о том, насколько существенной оказалась эта низовая стихия для общей художественной концепции Шнитке и насколько многозначно она трактуется в его сочинениях, не приходится – это может составить предмет специального исследования. Заметим лишь, что в ряде произведений композитора явственно угадываются отголоски впечатлений детства, проведённого на волжских берегах. Вот некоторые примеры.

Тема приготовленного рояля, столь важная для драматургии *Concerto grosso № 1* – это безусловно «слободская» мелодия (сам композитор называл её «банальной песенкой»), специфически поданный знак обывательства как обыденной и всепоглощающей формы человеческого существования.

От откровенно сентиментального и старомодного «вальса» второй части Фортепианного квинтета веет дымкой хрупких воспоминаний о временах патефонов с заигранными пластинками на 78 оборотов и о трогательно-сердечных излияниях, одухотворяемых интонационным контуром монограммы *ВАСН* (четыре звука, составляющие фамилию Иоганна Себастьяна Баха в её немецком написании).

В основной теме финала Третьего скрипичного концерта (дуэт флейт), имеющей отчётливые очертания жанра волжских «страданий», прослуши-

вается ностальгия по обыкновенной человеческой жизни с её тихими радостями и меланхоличным умиротворением, и всё это подаётся как манящее видение безвозвратно ушедших детских лет.

В Первой виолончельной сонате тот же жанр, предстающий в столь же просветлённо-облагороженном звучании, трактуется как одна из жизненных опор (тематическая арка от первой части к финалу).

И совсем в ином, иронично-насмешливом ключе целая серия штампов русского провинциального быта воспроизводится в «Гоголь-сюите»...

Даже приведённые примеры говорят о необъятной шкале оттенков интерпретации подобного материала: от воинствующе-вульгарного до возвышенно-катарсического.

При всей «русифицированности» жизненного уклада в Энгельсе ни в коем случае не приходится недооценивать и могучую роль немецкого фактора, по разным линиям воздействовавшего на Альфреда в его детские годы. Не говоря уже о «голосе крови»:

- отец – не просто еврей, а немецкий еврей, родившийся и живший во Франкфурте-на-Майне (родина Гёте!);

- мать – чистокровная немка из потомственных колонистов Поволжья (об отношении к ней говорит тот факт, что она была единственным человеком из родных, кому композитор посвятил своё наиболее значительное мемориальное произведение – Фортепианный квинтет);

- бабушка – глубоко набожная католичка, почти совсем не говорившая по-русски и часто уединявшаяся с любимым внуком для долгих бесед.

Общение в семье шло преимущественно на немецком, и хотя Альфред называл впоследствии своим родным языком русский, он начал прежде говорить по-немецки и признавался, что порой даже думает на немецком. Известный немецкий дирижёр Курт Мазур свидетельствовал о произошедшем Шнитке: *«Его немецкий язык был чрезвычайно изысканным, что само по себе является редкостью среди представителей его поколения».*

До момента депортации в городе всюду звучала немецкая речь, шли радиопередачи на немецком, читались немецкие газеты, журналы и книги (упоминавшийся выше И. Эренбург с удивлением отметил, что ещё и в послевоенные годы в городской библиотеке *«оказалось много редких немецких изданий, а русских книг было мало».*)

Кроме того, в те времена по всей округе звучала немецкая музыка (главным образом фольклорная и бытовая) – горожане с удовольствием распевали старинные песни и охотно музицировали в многочисленных любительских инструментальных ансамблях.

То, чего явно недоставало подраставшему мальчику, так это музыкальной классики, голод на которую он частично утолял услышанными по радио популярными оперными ариями.

Едва ли не единственное исключение составила Девятая симфония Шостаковича, целиком прозвучавшая по трансляции в 1946 году – и не симптоматично ли, что это была *симфония* и это было произведение *Шостаковича*, правопреемником которого в данном жанре оказался впоследствии Шнитке.

Вот почему произошедшее в отрочестве перемещение из Энгельса прямо в Вену (туда отец был командирован в качестве переводчика и сотрудника газеты, издававшейся советскими оккупационными властями) явилось прорывом в качественно новое измерение не только с точки зрения музыкальных впечатлений, но и в отношении чего-то общечеловеческого и недостигае-

мо высокого, что сопровождалось интуитивным постижением духа большой исторической традиции, которой дышали сами камни австрийской столицы.

«Попасть в Вену – значило для меня понять, что существует история, что она – рядом. В каждом здании что-то было сто, двести, триста лет назад. В Энгельсе я не мог ничего такого ощущать. Произошла полная перестройка. И я не знаю, что было бы со мной, если бы я не попал тогда в Вену, а попал бы в Саратов, а потом в Москву».

Это был прорыв к грандиозной немецкоязычной культуре, предощущение чего впитывалось Альфредом с молоком матери. О том, насколько значимыми для всего последующего оказались два года, проведённые тогда в Вене, говорят воспоминания композитора начала 1980-х годов.

«...Почти тридцать лет повторяется один и тот же сон: я приезжаю в Вену – наконец-то, наконец-то, это – несказанное счастье, возвращение в детство, исполнение мечты, словно впервые я еду с Восточного вокзала по Принц-Ойгенштрассе, по Шварценбергерплац, по Зайлерштрассе к перекрёстку с Зингерштрассе, захожу в подъезд, направляюсь к лифту, выхожу на четвёртом этаже, налево дверь в квартиру, захожу, всё – как когда-то, в то лучшее время моей жизни...»

Потом я просыпаюсь в Москве или ещё где-нибудь с учащённо бьющимся сердцем и горьким виноватым чувством беспомощности, ибо мне не хватило силы для последнего маленького напряжения, которое могло бы навсегда оставить меня в желанном прошлом...»

И ещё вновь о том, как после Энгельса ему открылась «прекрасная, вся заряжённая историей Вена, каждый день – счастливое событие, везде что-то новое... Я уже и тогда понял, что со мной произошло нечто важное, что я не случайно вырван из душевных теней детства и введён в этот светлый мир».

То, что это было совершенно особое, незабываемое время, подтверждают воспоминания младшей сестры Ирины: *«В Вене я была действительно счастлива, как никогда больше».* И когда пришлось покидать её: *«Мне очень не хотелось уезжать из этого прекрасного города, где оставались Касперле и Пратер, собор святого Стефана и Карлскирхе, Штатпарк и Бельведер, Хофбург и Шёнбрун, наша чудесная квартира. Тогда я ещё не могла знать, что кончается самый счастливый период моей жизни. Я была весела и не понимала, отчего так печальна мама и почему она плачет».*

Немецкий компонент творчества Шнитке самоочевиден, и это опять-таки может стать предметом отдельного исследования. Стоит напомнить только несколько характерных штрихов:

- многие его произведения наполнены всевозможными цитатами, псевдоцитатами и реминисценциями из австро-немецкой музыки (апогеем в этом отношении стала Третья симфония);
- немало сочинений создано на немецкие тексты;
- первые знаки официального признания исходили из Германии (член-корреспондент Академии искусств Западного Берлина в 1982-м, избрание в члены аналогичных академий ГДР и Баварии в 1986-м);
- последние годы жизни провёл и умер в Гамбурге.

Однако сразу же возникает несколько «но».

Шнитке принял католическое крещение, но исповедовался у православно-го священника и пребывал преимущественно в лоне православия.

Умер в Германии, но отпевали его в одной из московских церквей и предали земле на Новодевичьем кладбище.

Знаменательны многократные признания композитора такого рода: *«По языку молитвы, языку восприятия я принадлежу русскому миру. Для меня вся духовная сторона жизни схвачена русским языком».*

Столь же характерна реплика, брошенная им по поводу себя и своего творчества: *«...Конечно, превалифовало русское».*

Но и здесь неизбежно возникают внутренние возражения. Вот почему Шнитке всю жизнь преследовала мучительная дилемма «национального самоопределения». Не дилемма, а, пожалуй, даже «трилемма», если учесть, что взаимодействие полюсов менталитета российского немца дополнительно осложнялось присутствием еврейского «фермента».

Касательно музыки этот симбиоз примечательно обозначил С. Волков: *«Русский максимализм соседствует в произведениях Шнитке с еврейским скепсисом, окрашенным в густые тона немецкой культурной традиции».* Сам композитор попытался разрешить столь запутанный клубок противоречий следующим образом: *«Я не русский, а полунемец, полужеврей, родина которого – Россия».*

Представляется, что развязать этот гордиев узел можно только по примеру Александра Македонского. Судьбе было угодно соткать натуру Шнитке из всевозможных нитей, спутывая в ней всё и вся. *«Я, родившийся в Энгельсе, в центре Республики немцев Поволжья, но не высланный, как все немцы. Мать – немка, а отец – еврей, хотя и Шнитке».* Подразумевается, что Шнитке (*Schnittke*) – чисто немецкая фамилия, приобретённая дедом композитора почти случайно.

«Мои еврейские предки жили в Прибалтике, под Ригой, где вообще-то евреям нельзя было жить. Но кто-то из предков был рекрутом при Николае I. Рекруты служили двадцать пять лет, и те, кто отслужил эту службу, получали право жить вне черты оседлости...»

«Евреям там давали, и они большей частью брали себе красивые фамилии – Гольденберги, Розенберги. Мой предок взял фамилию пастора-немца, у которого не было семьи. Как пастор, он имел право жениться, но у него не было жены. И он убедил моего предка, еврея, взять эту фамилию. Поэтому он стал Шнитке, будучи евреем».

Следовательно, предки Альфреда Шнитке по отцовской линии с давних времён находились на территории Российской империи в статусе прибалтийских евреев, которые по традиции тех мест говорили на немецком. В 1905 году родители его отца (Виктор Миронович и Теа Абрамовна) выехали из Латвии в Германию, жили в Берлине, а затем во Франкфурте-на-Майне, где у них и родился Гарри Викторович Шнитке (1914–1975).

Виктор Миронович с 1920 года сотрудничал с Советским торговым представительством в Германии. В 1926-м, когда семья вернулась в Россию и поселилась в Москве, он был принят на должность технорука в Главптицепром Наркомата пищевой промышленности СССР, а Теа Абрамовна стала работать литературным редактором Учпедгиза (Государственное издательство



Альфред Шнитке (1975)

учебно-педагогической литературы). Причиной возвращения на родину являлись их политические убеждения: оба они были коммунистами.

Гарри тоже очень рано вступил в члены Коммунистической партии Германии. И опять-таки по причине убеждений, уже в СССР, после окончания 8-летней школы он в 1930 году переезжает из Москвы в Энгельс (тогда ещё Покровск), горя желанием *«всеми силами способствовать строительству новой жизни»* поволжских немцев.

Начинает работать в качестве журналиста в редакции немецкой газеты «Нахрихтен», затем редактором литературно-драматического сектора радиокомитета, параллельно этому учится в Немецком коммунистическом университете и в 1932 году вступает в ряды ВЛКСМ.

Бабушка Альфреда по материнской линии Полина Фогель (в девичестве Шехтель) была родом из поволжских немцев-крестьян, которые жили в деревне Каменка (на границе нынешних Саратовской и Волгоградской областей) ещё с екатерининских времён.

Её дочь Мария Иосифовна (1910–1972) училась в Педагогическом техникуме в Маркштадте (ныне город Маркс) и затем поступила в только что открывшийся в Энгельсе Немецкий государственный педагогический институт, а после его окончания работала инструктором комитета комсомола.

В 1932 году Гарри и Мария познакомились, вскоре поженились и через два года у них на улице Красной, дом 80, 24 ноября 1934 года родились Альфред, вслед за ним Виктор (в 1937-м) и Ирина (в 1940-м).

Виктор, с которым Альфред был очень дружен, впоследствии стал литератором (его книги стихов и рассказов начали выходить с 1972 года), публицистом и переводчиком (причём переводчиком с немецкого и на немецкий), умер он четырьмя годами раньше старшего брата.

Ирина в своё время закончила Московский институт иностранных языков, многие годы преподавала немецкий в школе, затем работала в той же газете, что и мать («*Neues Leben*», выходившая в Москве).

К сказанному примешивается ещё одно важное обстоятельство: *«Мои предки-немцы, двести лет прожившие здесь, оставались в каком-то смысле не теми немцами, которые росли и развивались на Западе, а как бы сохранившими особенности психологии, свойственные немцам прежде. Это ведь факт, что люди, уехавшие из какой-то реальности, консервируют ту реальность, которую увезли с собой. Например, живущие в Канаде украинцы и русские сохранили больше традиций, чем украинцы и русские, живущие здесь».*

Добавим к сказанному «вавилонское смешение языков» в имени Альфред Гарриевич Шнитке: Альфред – нечто французское, Гарри – скорее английское, Шнитке – сугубо немецкое, а сочетание Альфред Гарриевич мыслимо только на русской почве. В отмеченном напластовании по-своему запечатлелся лик «гражданина мира».

Что ж, будем благодарны судьбе и стечению обстоятельств, что они создали эту фигуру именно такой – невероятно противоречивой и «синтетической». Ведь в какой-то степени благодаря этому Шнитке сумел сказать самое весомое слово в мировой музыке конца XX столетия.

И не будем забывать, что в своей изначальности глобальное художественное пространство, созданное композитором, восходит к локусу под названием *российские немцы*, и даже уже – *немцы Поволжья*. И если бы этот своеобразный национальный анклав дал миру только одного Альфреда Шнитке, то и того было бы более чем достаточно, чтобы оправдать существование данного исторического феномена.



**Александр
Бойников**

ГОЛГОФА ИЛИ ВОСКРЕСЕНИЕ?

Размышления над прозой Василия Киякова

«Есть какая-то особенная торжественная грусть в этой срединной Руси, тоска обречённого, влекомого промыслом русского по своему голгофскому пути, влачащегося весь долгий свой век, или короткий, – русского, всего лишённого веками. Даже и простой почтовой связи с миром. Общая и одновременно частная дорога для каждого и для всех вместе – это именно голгофа России», – пишет Василий Кияков в новой книге «Посылка из Америки»¹. В этих пронзительно безотрадных словах бьётся, словно живой оголённый нерв, боль русского писателя. Боль за Россию, за её скрытое пеленой неизвестности будущее и абсурдное настоящее...

В центре прозы В. Киякова – русская деревня, точнее, её беспросветный быт в постперестроечной России – с великим приватизационным облапошиванием, лавиной криминальных убийств, обесцениванием жизни человека, тотальным разграблением государственной собственности, разгулом безнравственности под

¹ Кияков В. В. Посылка из Америки: рассказы, повести. – М.: ИПО «У Никитских ворот», 2018. – 552 с.

-
- Александр Михайлович Бойников родился в 1960 году в посёлке Тетьково Кашинского района Калининской (ныне Тверской) области. Окончил факультет романо-германской филологии Калининского (ныне Тверского) государственного университета. Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского государственного университета. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, лауреат литературной премии имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Член правления Липецкой областной организации общероссийской общественной организации «Союз писателей России». Живёт и работает в Твери. Автор книг «Поэзия Спиридона Дрожжина: Монография» (Тверь, 2005), «Аполлон Коринфский: Неизвестные страницы биографии, письма, стихотворения» (Тверь, 2005), «О поэзии, критике и дегенерации: полемические статьи, рецензии, фельетоны» (Тверь, 2006), «Каблуковские гримасы: Цикл полемических статей о Каблуковских литературных встречах» (Тверь, 2007), «Заложники иллюзий: полемические статьи, памфлеты, фельетоны» (Тверь, 2011), «Липачи: памфлеты, фельетоны, полемика» (Тверь, 2014) и более 600 научных, литературно-критических, краеведческих, публицистических статей и иных журналистских материалов, опубликованных в столичной, областной и районной прессе.

лозунгом всеобщей свободы и захлестнувшим всё ещё огромную страну катастрофизмом разума и души. И с переходом в годы нынешние – «апогей этой самой «демократии». Достоверность его повестей и рассказов – фактическая и психологическая – подкреплена большим личным опытом, кровной, «самой смертной» связью с деревенским миром (именно так!). Однако это вовсе не означает, что писатель механически перенёс на бумагу увиденное и услышанное; под его пером отдельный случай или ситуация обобщаются, позволяя разглядеть в текущей повседневности её глубинную бытийную сущность, а судьбы отдельных людей проецируются на исторические судьбы государства. Само бытописание, часто развёрнутое в сочных этнографических подробностях, отражает и даже возводит в символ острейшие проблемы российской современности.

«О хлебе же невольню думалось мне, и всё чаще. Хлеб для России – нечто большее, чем просто хлеб. Какая-то мистическая тайна связывает нас с хлебом, этим «телом Христа, за нас ломимым». <...> Этот хлеб, кроме всего, что сулил он: сытость под кружку молока или мёда, – был всё-таки не просто хлебом, а неким смыслом жизни, символом заботы о людях, о деревне, мостом отсюда – в центральную, в район. Хлеб везут – значит, помнят, думают...»

Обаятельный либеральный диалектик тут же возразит: так то раньше, а сейчас... А что сейчас? Всё по-другому, лучше? Деревня воспрянула духом, оставшиеся в ней крестьяне встали на ноги, молодёжь из городов возвращается к труду на земле или самоотверженный фермер досыта накормил страну? Никоим образом. Разрушение русской крестьянской цивилизации, начавшееся благодаря пресловутой концепции «неперспективных деревень» ещё до так называемой «перестройки», пошло затем семимильными шагами и сегодня продолжается под иезуитски манипулятивным прикрытием «оптимизации», означающей закрытие сельских школ, библиотек, клубов и медпунктов, со всеми вытекающими последствиями. Самый яркий для меня пример – моя родина, Тверская область, где когда-то добротные, а ныне заброшенные, ветшающие или разгромленные сельские дома укоризненно смотрят пустыми глазницами окон на денно и ночью ревушую автотрассу между двумя столицами. А по обеим сторонам магистрали федерального значения, всего пару-тройку километров вглубь и далее, – поруганные и до сих пор не восстановленные храмы, десятки окончательно вымерших сёл и деревень, не нужных даже заевшимся московским дачникам...

«Деревенская проза», чей расцвет в русской литературе выпал на 1960–1970-е годы, видела в русской глубинке истоки народной нравственности, оплот истинной духовности, «материнское лоно, где зарождался и складывался наш национальный характер» (Ф. Абрамов). Василий Киляков развивает её традиции. Только деревня-то в XXI веке другая – умирающая и деградирующая, прежде всего, материально: жители её в прямом смысле отрезаны от остального мира. Бездорожье почти круглый год, автолавка, приезжающая раз в неделю на центральную усадьбу колхоза (до неё надо топать пешком несколько километров: зимой – по непролазным сугробам, весной и осенью – по грязи и лужам, летом – под палящим солнцем и грозовыми ливнями), постоянный дефицит хлеба (на всех его часто не хватает), отсутствие почты, медицинской помощи, длительные перебои с электричеством – словом, «*фазруха, как от бомбёжки*». Даже тех, кто «отмучился», хоронят тут

по-крестьянски просто, без всяких формальностей в казённых учреждениях. Книга изобилует подобными безрадостными картинками, и они – коллективный приговор, более того – обличение существующего отношения власти к деревне:

«...Дядя Андрей, с его многочисленным семейством, всю жизнь проработал за «палочки», за трудодни. В кузнице он работал вместе с супругой, тучной и всегда весёлой. С ней, как шутил он сам, навострил, наклепал семерых детей, после его смерти разбежавшихся по городам. Тогда сельчанам было трудно, мучительно-голодно. Но деревня жила и боролась. Теперь в этих снежных олётах, кажется, невозможно существование даже и самого духа русского. Все поля, засеваемые тогда гречей, подсолнечником, луком, картошкой, рожью, – всё заросло не то что бурьяном, а уже и беззнякам небообразимой густоты, так что отсюда, из деревни, поле похоже на занесённое снегом каменистое предгорье...»

От обыденной реальности – ёмко раскрытой истории одной работающей семьи – повествователь органично переходит к типизации, подкреплённой собственными оценочными размышлениями; деревня для него уже не конкретный населённый пункт, а воплощение родной сельщины, откуда исчез бессмертный русский труд сеятеля и вместе с ним до предела истончилась и вот-вот уйдёт и духовность. Такая манера изложения – внешне спокойная, но наполненная внутренним приглушённым отчаянием, сдержанной, но не срывающейся в эмоциональный перехлест надрывностью – даёт писателю возможность избежать прямолинейности, навязывания своего взгляда и одновременно убедить читателя в правде изображённого и правоте сказанного, чтобы заставить его задуматься: «Почему это происходит?»

Идейной и эмоциональной доминантой книги стала повесть «Последние», в тональности которой звучит явная обречённость: *«...Две старухи и старик – всё, что осталось от жителей Выселок. Святочные метели замели подворья, задичавшие сады, пепелища, заброшенные избы»; «Корни твои, твоих предков высохли здесь. Они не возродятся уже никогда, как не возродятся те поля, те гектары необозримых рязанских полей, сплошь заросших плотным беззьяком, заполосовавших так, что, как говорится, «и даже уж не проползёт», – их не поднимешь теперь, эти земли, ни в три, ни в четыре плуга». Да и сам автор признаётся, что пишет «историю доживания и гибели деревни». Однако пока живы Елизавета, Акулина и дед Кузьма, Выселки не умерли. А живы они потому, что больше ничего не остаётся. Только жить – до последнего рубежа. Как у Василия Белова в «Привычном деле»: «Жись. Везде жись».*

Писатель, рискуя вызвать и нападки, и насмешки со стороны духовно опустошённых критиков, описывает явление ему Божьей Матери, которой он поведал мучительные сомнения и раздумья. С литературоведческой точки зрения перед нами – приём психологического анализа; с православной – индивидуальное откровение, утоление печалей и получение нравственного наставления: *«Люби и помогай»;* в конечном итоге – укрепление в вере. Диалог этот многогранен, обращён к современным и грядущим поколениям, может быть, неоднозначен, поскольку *«вся Россия и прежде, и теперь – выживает».* Выживет ли? *«И вам сберечь суждено и меч, и хлеб. И возвращать всё домой в поте лица своего суждено вам же».* Мощный духовно-нравственный заряд, полученный русской литературой от православия ещё в XIX веке, отзывался здесь чистой нотой...

«Последние» – удивительно философичная повесть: онтология России переплетается с антропософическими мотивами – с *«великим Замыслом*

о человеке», «Замыслом о себе», с памятью и ностальгией по малой родине; и строки повести наполняются щемящей искренностью:

«Деревня, в которой никого теперь уже не осталось: бабка с дедом давным-давно покинули этот мир, – деревня эта казалась теперь самым реальным, подлинным местом, именно и только тем местом, где стоило жить. И даже более того: имело смысл и было ради чего жить. Жизнь важна не ради самой только жизни – жизни растительной или животной, жизни-подарка. Жизни, «данной нам в ощущении», в осязании, запахах и в замкнутой системе «раздражение – реакция». А важна и необходима именно ради того процесса жизни, кипения её и переживаний, в которых созреваешь к Небу. Именно так мне и думалось».

Важная функция рассказчика – быть вольным или невольным свидетелем жарких до резкости и ругани разговоров сельчан друг с другом. Их речь отличается естественной «непричёсанностью», экспрессивным синтаксисом, оборванными интонациями, обилием сочных, метких и выразительных оборотов и словечек, пословиц и поговорок, которые не только приобщают к тайнам и сокровищам русского языка, но и выражают душу народа.

Следуя полученному завету «пиши о важном», В. Кияков прозревает его и в национальной самокритике: нынешних стариков *«бесстыдно и нагло обворовали, украли молодость, здоровье, любовь, самую жизнь... Но странно: как бы и не было виноватых. «Время было такое». Работа да борьба. За кусок хлеба, за выживание. Слушая эти споры, невольно приходил я к мрачным выводам, что все эти старфики, ровесники века, не видели ни цели своего существования, ни смысла его».*

Тщетное долготерпение и смирение или стоицизм высшей пробы?

Писатель вывел в книге галерею колоритных, полнокровных характеров, пожалуй, уже не крестьян, а доживателей, чей век окончится вне городских ультрасовременных технологий, удобств и преимуществ. Переломное время пробуждает в человеке всякое – не только высокое, но и низменное. Таков объездчик Фома Кукин из рассказа «Капитал», холуй, возвысившийся за счёт служения новоявленным «хозяевам», матерщинник и богохульник, люто ненавидимый односельчанами и наказанный по закону высшей справедливости.

Противоположность ему – старик-кузнец Данила (рассказ «Неугомонный»), к тому же любитель музыки. Пока остальные мужики (*«ровно через молотилку пропущены: излом да вывих»*) соображают на троих, он, вспомнив прежнее ремесло, открывает в родном селе кормилицу-кузницу. И если кредо Фомы: *«Жив не буду, а капитал сколочу, все мне в ноги упадётся... Поклонитесь...»*, то Данила, несмотря на лому в пояснице и боль в сердце, идёт вечером в кузницу выполнять срочную работу. На ворчание жены отвечает: *«Да ведь не для них [заказчиков] ости-то, для России!»*

Сразу вспоминается Достоевский: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».

Чем люди живы – люди российской провинции нового тысячелетия? Сохранились ли в их сердцах тепло и человечность, любовь и совесть, светлое или тёмное начало движет их думами и поступками? Да, такие люди остались – вопреки всему. Курящие и пьющие, но работающие; не скупятся на крепкое словцо, но в критических ситуациях руководствуются народной мудростью, а также пытаются скрасить горькую жизнь, найти в ней пусть не высшую, но приземлённую, практичную цель. Запоминаются выразитель-

ные образы Тимофея Круглова, тешащего окрестную публику всевозможными байками («Балагур»), Стегней, мастера золотые руки («Стегней и Варька»), деда Терентия, вдоволь познавшего ужасную изнанку войны («Последние»)… Одна из военных трагедий – отношение к бывшим военнопленным как к предателям Родины – передана писателем с беспощадной подлинностью («Пленные»). И все они – свидетели бурных, грозных времён, в которых и просвета не припомнят. Вот другой дед – Кузьма, заставший ещё коллективизацию, так итожит предшествующие десятилетия: *«Ничегошеньки... весёлого не было... А только начальство да дерьмо».*

Многообразна и россыпь женских образов, большей частью представляющих старшее поколение: они – жёны, матери и бабушки – умеют сострадать, житейски неприхотливы, порой ворчливы и даже неопрятны, но внутренне обаятельны; гнутся да не ломаются. Хотя и озлобленные, мрачные, непривлекательные типажи среди них тоже встречаются. А тяжёлая доля русской крестьянки, ведущая свою литературную родословную ещё от Некрасова, названа в книге очень ёмко: *«худая жизнь»:*

«Не с того ли русские женщины в деревнях вечно в чёрном. Сколько потерь, сколько поморили в войнах и лагерях или просто с голоду, добиваясь власти, народу, и в первую голову деревенского; сколько мужиков самых лучших, отчаянных и молодых сбили с круга отравленной водкой, и носить не износить матерям, сёстрам эти чёрные шушуны и кацавейки, жакеты из чёрного старинного плюша...»

Жестокая правда... Однако есть в авторском восприятии истории деревни подводный камень. Как же колхозы-миллионеры, «урожай наш, урожай, урожай высокий», механизация и прочие достижения советского сельского хозяйства, «свадьбы с приданым», развитие на селе образовательной и культурной инфраструктуры, устойчивое транспортное сообщение даже отдалённых деревень с районными и областными центрами? Разве всего этого не было?

Но рассудим справедливо: приметы золотого века советской деревни в книге встречаются, например, в повести «Родное пепелище»: *«Клуб совхозный каменный, как литой, как крепость, широкий, в два этажа. Их в «застойные» вместо церквей строили на века».* Писатель в целом не даёт детальных ответов на вопросы, куда это ушло и почему, но стремится вывести на передний план контраст между прошлым и настоящим: *«А вот и больничка при школе – всё цело, только кинуту. Штукатурка отвалилась, зияла содранной кожей, а под ней – плоть «мясная», красного кирпича...»*

Отношение к миру – и личное, и персонажей – писатель раскрывает через восприятие природы, которая входит в его прозу на правах активно действующего лица. Пейзажи у него всегда психологически насыщенные, вызывают гамму настроений, иногда почти одушевлены. Так, основной герой вышеназванной повести, отслуживший в десантных войсках Антон Волчихин, любясь цветущими фруктовыми садами, в листве которых играют лучи предзакатного солнца, с наслаждением вдыхая аромат цветущих деревьев, одновременно ощущает тревогу и волнение:

«И было другое, противоположное, горестное чувство: сквозь цветущие яблони, вишни, груши там и сям серыми зашлеплыми тенями печально полулежали дворовые постройки, ни души там, ни голоса. И никто уже не зажжёт света в этих домах, а в банях не заблестят светом одинокие оконца. Никогда не соберутся девки на лужок возле бывшей конторы, не запоют хором русскую песню...»

Девки, лужок, песни хором – прямо-таки цветной осколок былой пасторали! Которой уже нет и, очевидно, не будет. В когда-то живом, одухотворён-

ном пространстве теперь «ни души... ни голоса». Значит, ещё одна частица России при её наружной красоте духовно омертвела и онемела, и на радостные переливы красок ложится печать грядущего апокалипсиса... Доколе?

Писатель не называет причины охватившего Россию духовного кризиса, в который вверг подавляющее большинство её граждан восторжествовавший из небытия дикий капитализм, но зримо и страшно изобразил его последствия. У миллионов людей, выросших и воспитанных в СССР, не было должного иммунитета против заманчивых, но ложных и противных нашему менталитету западных и американских ценностей. Мировоззренческая фальшь, внедряемая в массовое сознание новейшими информационными технологиями, не распознавалась, но быстро деформировала, высмеивала и в конечном счёте перечеркнула, разметала и втоптала в грязь прежние величественные идеалы и ориентиры. И потому орнаментами деревенского бытия у В. Киякова сделались водочный (а чаще самогонный) перегар, табачный дым, пренебрежение былым честным трудом, запоздалые сетования на власть... А то и бесшабашность, переходящая в гниль: *«Мы не немцы, мы не турки, можем хряпнуть политурки»*.

По канве подобного существования вырисовывается другая жуткая примета эпохи – бесправие маленького человека. Можно утверждать, что с вместе с реставрацией буржуазного общества в нашей стране в русскую почвенническую литературу вернулся и метод критического реализма с его обличительным пафосом, разоблачением общественных язв и хищнической сути «рыночного» переустройства. «Посылка из Америки» – прямое тому доказательство: нищая деревня, обездоленный крестьянин – частые объекты изображения в дореволюционной русской классике.

И всё же В. Киякова нельзя считать приверженцем исключительно одной темы. Он уверенно осваивает иные жанровые модификации рассказа. В «Божьей Шишечке» дан портрет чиновника, получившего всевозможные блага, но разьедаемого губительным скептицизмом, переходящим в цинизм; «Будьте любезны» – абрис экзистенциального одиночества, а в «Дочери Севера» торжествует романтическая любовь. Чутко, со знанием детской психологии показана драма ребёнка, впервые увидевшего обратную сторону охоты («Именины»). С болью пишет он о жутких реалиях так называемой «чеченской кампании» («Несгибаемый Каюмов», «Худая жизнь»). Писатель пошёл на рискованный шаг, широко распахнув двери в свою творческую лабораторию. В обращении «Благочестивому читателю», где соединились и очерк, и публицистика, и авторская исповедь, в размышлениях над рассказами В. Шукшина «И охладает в людях любовь...», и в интервью «Ищу следы невидимые...» раскрывается его мировоззренческое и творческое кредо. Немало суждений об истории, религии, политике, литературе подчёркнуто полемичны, вызывают желание поспорить, и это сама по себе привлекательная черта. Наша литература в её лучших образцах всегда нацеливала на поиски вселенских истин, заостряя вечные вопросы...

И не следует упрекать Василия Киякова в том, что он «вроде бы запоздал с эпитафией погибающей деревне» (М. Лобанов). Его проза не потеряла, а, напротив, усилила свою актуальность, поскольку каждая из поднятых в ней проблем животрепещет, требует срочных и действенных решений – управленческих и финансовых – не на бумаге, а на деле, причём в общегосударственном масштабе. Повсеместная мерзость запустения на искони хлебодарственных российских просторах, изощрённое социальное издевательство над её тружениками, деформация их нравственности от доселе неизвестной безысходности – неумолимая действительность нашего времени.

Твёрдый и гневный голос русского писателя должен быть услышан.



Альвина
РАБОНИ

ТВОРЧЕСТВО Я. УДИНА ГЛАЗАМИ СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ

Я. Удин (Яша Геранович Манджиян) – русский писатель-прозаик, по национальности удин, член Союза писателей СССР и Союза писателей России, мой земляк, с которым я хорошо знакома по прочитанным произведениям.

Проза Я. Удина – «очень удинская» по бытовым и этно-психологическим особенностям. Рассказы посвящены проблеме этнокультурных ценностей удин – описывают быт, образ жизни народа, его духовную культуру, взаимоотношения между людьми. Более того, их можно читать как одно единое произведение, повесть или роман, так и каждый рассказ в отдельности. Эти рассказы легко воспринимаются читателем ещё и потому, что во всех одни и те же действующие лица.

Читателю-соотечественнику хорошо знакома картина из жизни села в рассказе Я. Удина «За первой зеленью». Когда деревья только встряхнуть успевают с себя последний снег, и местами он ещё не растаял в тенёчке, когда ещё за ночь замёрзшая грязь хрустит под ногами, а женщины с детьми уже отправляются в далёкий путь в долину гор за пряно-ароматической черемшой. О том, как сложно побороть сон до рассвета подростку и как *«не хочется вылезать из тёплой постели»*, о том, как много сложностей в пути, пока доберёшься до горы, сколько придётся топтать вдоль буйной речки до мостика, а *«мостик не настоящий, просто лесина, бревно, перекинутое с одного берега на другой. А под лесиной так беснуется вода, что страшно взглянуть – тебя тут же охватывает ужас и начинает кружиться голова»*.

-
- Альвина Рабони (Альвина Рабоновна Кочарян) родилась в 1960 году в селе Нидж Азербайджанской ССР. Окончила Пятигорский государственный педагогический институт иностранных языков (факультет английского языка), факультет журналистики при институте и получила специальность «Общественный корреспондент». Преподавала английский язык в школах родного села. Работала в Москве в качестве переводчика, преподавала английский язык в школах Москвы. В 2005-м поступила в аспирантуру МГПУ, в 2009-м получила диплом со специальностью «Теория и методика преподавания иностранных языков». В 2017–2018 гг. преподавала английский язык, стилистику английской речи; вела семинарские занятия и читала курс лекций по языкознанию, по латинскому языку и античной культуре на факультетах филологических дисциплин МГПУ. Старший преподаватель ИИЯ МГПУ. Имеет свыше 30 научных публикаций. Живёт в Москве.

Я. Удин со знанием дела описывает нелёгкую жизнь своих сельчан.

Читателю-соотечественнику хорошо знакома картина уборки урожая орехов, нарисованная в рассказе «Мушмула». Жизнь удинов в сентябре точно отображена в этом эпизоде: *«В сентябре жизнь в нашем селе теряла свой привычный лад. В сентябре добрые люди становились нервными, злыми, а злые, наоборот, напускали на себя личину спокойствия и благопристойности...»*.

Автор вспоминает, какие были времена, условия жизни в ту пору, и с присущим ему своеобразием описывает психологию и национальный характер народа.

«Из района на месяц командировались в село уполномоченные по сбору урожая, наряды милиции и всякая прочая власть. Днём эти люди на служебных машинах носились по садам, из бригады в бригаду, а вечером съезжались к совхозным или колхозным амбарам, где принимали собранный за день урожай. И что тут начиналось: шум, гам, крики, угрозы, обиды, проклятья, просьбы, мольба, лай собак, хриплые возгласы весовщиков, солидные голоса уполномоченных – всё перемешивалось и становилось похожим на какое-то дикое сборище».

Радостное, смешное и грустное, тревожное, добро и зло переплетаются в этот удинский сентябрь в памяти читателя-соотечественника.

В рассказах «Мушмула», «Чувство вины, стыда ли...», «К новоселью», «Предвестие», «Вой одинокой собаки», «Хоть один человек» очень ярко выражены морально-нравственные, этические и эстетические ценности писателя. Стыд и страдания, терзающие израненное сердце беспомощного ребёнка в рассказе «Мушмула», не знающего, что ответить на вопрос односельчанина, «чей он сын», в то время, когда все жители села знают, что его отец находится в психиатрической больнице, разрывают сердце читателя.

Во всех рассказах Я. Удина из цикла «Под старой грушей» даже в самые радостные мгновения, в ожидании счастья герои не могут от души радоваться: *«чувство вины, стыда ли...»*, совесть их мучает оттого, что они должны веселиться в то время, как самого близкого им, дорогого человека с ними нет. И это чувство безнадежности из-за неизлечимой болезни отца ощущается во всех рассказах этого цикла, особенно тяжела картина встречи дочери Луизы с отцом в больнице в рассказе «Подарок».

Вопрос, что происходит с психикой человека, некогда бывшего таким добрым, открытым, работающим, щедрым, уносит мысли читателя далеко за пределы этой прозы.

В рассказе «Чувство вины, стыда ли...» есть эпизод, когда Иван у могилы старшего дяди вспоминает минувшее. Когда-то в детстве Иван *«пошёл на дядю с тесаком»*, но *«подросла мама, выхватила тесак и его отшлёпала, а дядя, стоявший печально, с ещё не понятной тогда Ивану болью в глазах, смотрел на него»*. Как много говорили эти глаза! Если бы Иван, его племянник, сын *«безнадёжно больного брата»*, тогда понимал это. Причина, из-за которой Иван выхватил тесак и двинулся на дядю, который был таким простым, с красивой улыбкой, ему не запомнилась. А вот чувство – *«чувство вины, стыда ли...»* – осталось навсегда.

Писатель заостряет внимание на том, что любить и ценить родных, близких и всех надо при жизни, а не тогда, когда непоправимо поздно, как поздно было герою его рассказа, которому от боли в душе *«чудилось»* на кладбище, как *«...воздух постепенно насыщался теплом. Иван видел, как тает роса, золотистой дымкой улетучивается, и ему чудилось, что это сердца, глаза, улыбки его товарищей, родственников, знакомых, односельчан, унес-*

ших память об этой жизни, о людях, о нём тоже, смешались с соком земли и теперь испаряются. Из каждой травинки, росинки, чудилось, на него смотрели до срока ушедшие люди – и лица, живые лица проступали из глубины памяти и времени...».

Проза Я. Удина из цикла «Под старой грушей» – это зеркало, в котором отражается удинская действительность. Изображая жизнь одной семьи, автор сумел нарисовать картину жизни всего удинского народа, детали из его мрачной истории (1915–1921-й – годы погромов и резни): *«сколько бед приносили турки мирным жителям села»*, бед, о которых теперь принято умалчивать. Но ужасающая память о тех событиях хранится в сердцах ещё живых очевидцев. И это отражено в рассказе «Предвестие».

Его тональность – это состояние напряжённой тишины: самообладание и сдержанность незащитного народа в разгар Карабахского конфликта в конце 80-х годов прошлого века.

Несмотря на страх детей и женщин, волнение и тревогу взрослых за судьбу своих близких, мы видим сплочённость людей на блокпостах, их стремление отстоять своё село. Особенно на самом опасном посту, расположенном на въезде в село. Всего два с половиной десятка человек с немудрёным вооружением – пятью ружьями, топорами, вилами и прочими снастями – в холодное время года разжигают костёр, до утра охраняют село. И, увидев свет фар или услышав невнятный гул машины, все тут же разбирают оружие, выбегают на шоссе и тесно, плечом к плечу выстраиваются поперёк дороги, чтобы остановить и проверить заезжающую в село машину.

Я. Удин психологически точно изображает безвыходное положение мирных безоружных людей, что высыпали на улицы для обсуждения новых слухов, которые долетают из города с фантастической быстротой, и для принятия единого решения.

А вот сцена, подтверждающая, как нелегко в смутное время принимать решения даже в отдельно взятой семье, если мнения её членов расходятся. Поневоле разговор заходит о переезде, и сноха твердит, что с места не двинется: *«Всю свою молодость я вложила в этот дом и продавать не собираюсь»*; Абрик, муж её, главный персонаж рассказа «Предвестие», переживает, что и продать-то дом некому: *«Кому продашь, если многие оставляют свои дома и уезжают»*; мать громко рассуждает: *«Что это за жизнь такая настала: сидим у себя в селе как в тюрьме, ни выехать никуда не можем, ни связаться как-то со своими. Что же это такое? А если долго так будет? Как мы к больному станем ездить? Сестра с семьёй, в общем, может и сюда, в село, податься, со всеми переждать эти смутные времена. А отец в психлечебнице!.. За тридцать лет, что он там, часто, редко ли, всегда навещали его. А если начнётся свара какая, неужели и больного не пощадят?..»*

Автор подчёркивает, как тяжело оставить родной очаг, расстаться с родиной, родной землёй, на которой жили ещё предки твои, лежащие в этой земле, по которой и ты когда-то делал свои первые шаги. Родной уголок, с которым связывает тебя всё, что с большим трудом своими руками воздвигнуто. *«И то правда, – пишет автор, – так долго они строили этот дом, так мучились, такие унижения перенесли, доставая стройматериалы, так задолжали всем вокруг, столько сил и нервов потратили, считай, полжизни, если не больше, отдали этой стройке, и едва начали в себя приходить, едва почували вкус истинной жизни – и вот на тебе!..»*

Мы видим также образы сельских тузов и самого главного туза Ивана Бошари, который *«обзавёлся дипломом и сел на загрибок сельчан, так*

и сидел, то в председателях колхоза, то в директорах завода, совхоза ли, а то и при сравнительно сухой, как теперь, сельсоветской печати», не в силах гарантировать спокойствие мирному населению. «Нынче ни возраст, ни положение не в почёте» – говорит он. «Но ведь так все разбегутся, – слегка возмущился Абрик. – Надо что-то предпринять. Всё же надо что-то делать. С теми же районными властями переговорить. Они могут распорядиться, чтоб наших ребят, удинов, не снимали с учёта». «Но я не справляюсь. Кто хочет, пусть садится на моё место и делает как лучше. Я не бог и не царь, – непривычно скромно заметил главный туз. – Не могу свободных людей неволить. Не имею права. Вдруг потом что случится. Тут уж каждый для себя решает: оставаться или уехать».

«Как же людям выезжать, если со страху из села носа не высунешь?» – «На дорогах войска хозяйничают, – со скукой оглядываясь, пояснил главный туз. – Там беспорядков не бывает, солдаты повсюду». И смолк. Зато те, кто всегда при нём, как по команде заговорили: «Кто же тебя тронет, если видно, что уезжаешь? Только этого и добиваются, выживают всех». Стоит признаться, что это и есть самый достоверный ответ, в котором кроется главный смысл рассказа, что и пытается автор донести до сознания своего читателя.

Следом в книжке затравок «Был странный сон» мы видим удиных беженцев, покинувших своё единственное родное село и приехавших в Россию найти себе спокойный уголок.

В основе бессюжетных зарисовок-миниатюр – затравок, как их называет автор – заключено нечто очень важное, если хорошенько вдуматься. *«Говорят, что каждый человек ценен, каждый человек уникален, каждый человек – огромный мир. А тут целая народность, пройдя тысячелетия, исчезает на наших глазах – и ничего вроде. Все молчат», – пишет Я. Удин в своей книжке затравок «Был странный сон».*

Я. Удин так трепетно описывает образ жизни народа, который знаком всем соотечественникам, и особенно осознают истинную цену ему те, кто находится вдали от родины.

Так достоверно и разносторонне описать родину, как пишет Я. Удин, может только тот, кто знает цену словам «родная земля», «край отцов», где живёт дух его народа.

С точки зрения читателя, понимающего эту ценность, рассказы «Предвестие» и «Вой одинокой собаки» занимают одно из центральных мест в прозе писателя.

В рассказе «Вой одинокой собаки» Я. Удин настолько зримо изображает картину запустения, что мы видим не только мрачную жизнь одинокой, уже старой собаки, но и буквально всё, что происходит в селе.

Тубуш, «матёрый пес грязно-рыжего окраса, ростом с хорошую овчарку, остался один во всей усадьбе, вокруг которой «из девяти ближайших домов – лишь в одном жили люди, остальные пустовали. Впрочем, ещё в один поселились чужаки, хозяева всем скопом куда-то отбыли, а он всё ждал их возвращения, терпеливо перенося бесконечные житейские тяготы и лишения...»

«Он каждое утро выбегал на это шоссе, памятуя, что по нему уехали хозяева: выйдет, пробежится, как бы норовя догнать прошлое, стоит, уставится вдаль и смотрит, смотрит...»

Я. Удин оказывается способен проникнуть во внутренний мир страдающего верного друга человека – преданной собаки, и описать её переживания, предчувствия, даже её предполагаемый сон. И читатель видит, как Тубуш,

старый пес, много повидавший на своём собачьем веку, много переживший, претерпевший нелепые мытарства за последние годы, продолжает сторожить брошенный хозяевами дом.

Слишком поздно вернувшись домой, увидев чужую корову, которая паслась себе в заброшенном огороде, *«Тубуш кинулся на неё и, озверев от ярости, стал гонять вдоль оградки. А на другое утро оказалось, что как следует искусал её»*. Хозяин коровы *«подстерёг его и, загнав в угол, так жестоко, люто отделал лопатой, что от боли и ужаса он обмочился. Тогда целую неделю провалялся в своей ямке под крыльцом. Лежал и стонал, заливая раны. Соседи приносили кормёжку. Он при них к пище не притрагивался, словно обиделся на весь род людской. Соседи оставляли миску и уходили. Он в одиночестве ел и поправлялся...»*

В образе чужаков мы видим людей иной культуры, со своими нравами и поведением. В рассказе «Вой одинокой собаки» Я. Удин изображает последние «вздохи» удинского села – процесс вытеснения и ассимиляции.

«А родной двор, заглохший в заброшенности, казался средоточием запустения. Тубуш обходил дом, с тоской взглядывая на мутные бельма окон. Он как бы нехотя, лениво брёл, а рядышком неслышно плыла его куцающая тень. Пёс и его тень – вот всё, что осталось от былой жизни. Обойдя дом, он стал посреди двора и, задрав голову, завыл: «у-у-у-у!..» Протяжно завыл, с печалью. В ответ – молчание. Только в высоком небе роились звёзды и, казалось, зябко потрескивали. Он ещё раз завыл: «у-у-у-у!..» Потом заполз под крыльцо, лёг в свою ямку и скоро заснул. Спал он беспокойно, тревожно вскидывая голову на всякий шальной звук, на случайный шорох. Изредка он слегка поскуливал во сне – кто знает, может, ему снились хозяева...»

Вой одинокой, тоскующей собаки вызывает боль в сердце от жалости к ней. Грустная картина: *«пёс и его тень – всё, что осталось от былой жизни»*, – рассказ о судьбе исчезающего с лица земли малого этноса.

Рассказы «Предвестие» и «Вой одинокой собаки», повествующие об исчезновении удинского народа, потрясли меня как читателя-соотечественника до глубины души.

Писать настолько трогательно и утончённо, чтоб дух захватывала проза, будоражила воображение читателя, вызывала восторг, – это большое искусство художника-автора. Оригинальный стиль прозы Я. Удина *«требует мыслей и мыслей»*.

Я. Удин не только обладатель художественного таланта и аналитического дара обобщения, но писатель в своей самобытности – отчаянно храбрый, смело следующий внутренней своей правде, личность выдающаяся. Он пишет то, что диктует ему его внутренний голос.



Валерий
КРЕМЕР

На изломе эпох

Николай Беседин.
Избранное. — Москва: Редакционно-издательский дом
«Российский писатель», 2017. — 368 с.

Николай Беседин принадлежит к поколению родившихся незадолго до Великой Отечественной войны, чье детство пришлось на тяжкие годы испытаний. И это определило его судьбу и творчество. Он остался верен памяти отдавших жизнь ради Победы, и неслучайно одно из лучших его стихотворений — «Марш павших», поражающее силой трагизма:

*...Десантники шли и пехота,
Штрафных батальонов ряды
И чёрные дьяволы флота,
Поднявшись из тёмной воды.*

*Бросая свои пьедесталы,
И пушки, и танки ползли —
Все те, кто в войне той кровавой
От гибели спас полземли.*

*Безногий солдат неумело
Всё полз на культяпках впотьмах,
И знамя Победы горело
В его беспощадных руках.*

Николай Беседин пишет от лица поколения, прошедшего вместе с родной страной долгий и трудный путь тягот, надежд и утрат, поколения, родившегося «на изломе эпох» и пытавшегося строить «Божие царство без Бога», но хранящего правду и веру в «не проданных дьяволу душах».

По словам критика Вячеслава Лютого, поэзия Николая Беседина «представляет собой русский голос, сохранённый в стеснённом состоянии в советские годы и свободно льющийся в наше время, уже почти лишённое идеалов, однако не способное заглушить ни благородную ярость сердца, ни память о Большой эпохе».

Верность, мужество, вера — вот ключевые слова для понимания нравственных опор поэтического мировосприятия автора. Поэтому его волнует вопрос:

*...Но есть ли тайники, что сберегли
Бесстрашие и жертвенную силу,
И дом живых — не ворошить могилы,
И боль при виде матери-земли
Ограбленной, униженной, но милой?
...Где мужество, чтоб не искать причин,
А бить врага лишь потому, что враг,
Чтоб не стыдиться матери за сына?*

Николай Беседин в наше время искушения новомодными изысками и дискурсами с их обманной видимостью творческой свободы, за которой в итоге не оказывается ничего, кроме эгоистического самолюбования, усталости от саморазрушения и душевной пустоты, остаётся верен русскому классическому стиху, вобравшему боль и прозрения великих поэтов России, жизнями заплативших за право петь своим голосом.

Необходимо также отметить композиционное мастерство, с которым построена эта книга. Она составлена не по хронологическому принципу, а по симфоническому, когда каждый раздел, развивая определённую тему, в то же время является гармонической частью единого целого.

Завершается «Избранное» разделом «Вестник» — романом в стихах, пронизанным ощущением «последних времён» существования мира, привыкшего ежечасно растлевать дух, которому неизбежно предстоит расплата за это.

Среди произведений Николая Беседина немало свидетельствующих о том, что он — тончайший лирик, достойно продолжающий традиции Тютчева и Есенина:

*Синее, синее, синее
Небо вечерних полей.
Только на западе линия
Чистых закатных кровей.
Белое, птицей летящее,
Перечеркнуло предел.*

*Это мой ангел уставший
В тихий зенит улетел.*

И всё же главный нерв его поэзии – боль за судьбу России и надежда на её возрождение «в трудах и молитвах», в движении к вере, очищающей и дающей прозрение:

*Я люблю ту великую, грешную,
Ту ушедшую в вечность страну
И за веру её сумасшедшую,
И за праведную вину.*

*Не просила у мира, не кланялась,
Берегла свою честь испокон.
И прости её, Боже, что каялась
Не у тех, к сожаленью, икон.*

*Было всё — упоенье победами,
Были всякие годы и дни.
Но над всеми смертями и бедами
Было что-то, что небу сродни.*

*И когда-нибудь праздные гости
Спросят новых вселенских святых:
— Что за звёзды горят на погосте?
И услышат:
— Молитесь за них.*



**Кристина
КАРМАЛИТА**

ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОЙ

(Не) Новогодний этюд

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

НЕЧАЕВА Ольга Константиновна, 38 лет

СТРИЖ Владимир, 20 лет

ВОРОН Борис Андреевич, 48 лет

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Лестничная клетка. По центру – двери лифта, слева лестница, справа двери двух квартир и проход к квартирам, дверей которых не видно. Стриж и Нечаева. Стриж в трико, футболке, тапочках на босу ногу. Нечаева сидит на лестнице, в костюме Снегурочки поверх шубы. Рядом стоит открытая бутылка шампанского, сумка, лежат бутерброды в пакетике. В руках у Нечаевой горит бенгальский огонь.

СТРИЖ. Понимаете, бах – и не работает! По телефону никуда не дозвониться – перегрузки сплошные. Мне только на минуточку!

НЕЧАЕВА. Извини, друг. За неуплату отключили.

СТРИЖ. Обещанный платёж сделаем!

НЕЧАЕВА. Истёк. Неделю как.

СТРИЖ. И вы неделю без Интернета?

НЕЧАЕВА. Да, я волевая женщина. Может, шампанского?

СТРИЖ. Спасибо.

Стриж звонит в одну из дверей, никто не открывает.

НЕЧАЕВА. Знаете, в будущем, я думаю, не будет одежды. Люди будут носить голограммные пояса. Такие электронные штуки, которые рисуют одежду, но при этом она обладает термическими свойствами. То есть: вот вы, голый, надеваете пояс – он нарисовал шубу, шапку, сапоги; вы вышли на улицу – босиком по снегу – и не замерзаете. Так все будут ходить, а пояса будут продаваться, и специально их будут делать такими, чтобы они представляли только один комплект одежды. И чтобы «изнашивались». Экономика должна на чём-то держаться. ...У меня ещё салат есть.

-
- Кристина Евгеньевна Кармалита родилась в 1984 году в Новосибирске. Окончила сценарный факультет ВГИКа. Стихи и пьесы публиковались в журналах «Сибирские огни», «Наш современник», «После 12», «Ликбез» и др. Член Союза писателей России. Живёт в Новосибирске.

СТРИЖ. А почему вы здесь?

НЕЧАЕВА. Деда жду. Мороза. Когда он с чердака лезет, у него подарки стянуть можно. Он сначала мешок выбрасывает, а потом сам ползёт. Вот я мешочек и подхватываю. А детям всё равно сладкое нельзя.

СТРИЖ. Вам поговорить не с кем? Что вы из меня идиота делаете?

НЕЧАЕВА. Да ради Бога, идите к своему Интернету, он зажался! Как год встретишь, так его и проведёшь – не хочу я весь год смотреть на ваши тренировки! Как, кстати, вас зовут?

СТРИЖ. Стриж. Ну, меня все так зовут. А вообще я Вова.

НЕЧАЕВА. А я Ольга. (*Подумав.*) Константиновна. Знаете, Стриж, о чём я думаю? Когда изобретут эти пояса мнимой одежды, надо будет всё-таки майку и трусы носить на всякий случай. А то техника ненадёжна. Даст сбой – и стоишь ты в вагоне метро голая, тесно прижавшись к рядом стоящему мужчине. Он-то на самом деле тоже голый, но у него – голограмма, а у меня – технический сбой. Вот вы, Стриж, почему в Новый год в трениках и один?

СТРИЖ. С чего вы взяли, что я один?

НЕЧАЕВА. По глазам вижу. А чего вы стесняетесь? Я тоже одна, и ничего. Ни-че-го... Салют! (*Делает глоток.*) Ну, что вы тут встали? Идите, говорю, к Интернету, к кому-нибудь...

СТРИЖ. Да вы на самом деле не хотите, чтобы я уходил. Вот скажите честно, что вы здесь делаете? Это же странно: встречать Новый год у дверей собственной квартиры!

НЕЧАЕВА. А с Интернетом его встречать не странно? Поколение электроников! Вот, иногда смотрю на вас – и просто обида берёт: рожу дочь, и кому она достанется? Интернету?

СТРИЖ. Да откуда вы знаете, почему я так Новый год встречаю? Я, может быть, по Интернету общаюсь... С сыном. Да, что вы смотрите? У меня четырёхлетний сын.

НЕЧАЕВА. Это что, это ты девочку обесчестил, подлец?

СТРИЖ. Это она меня обесчестила. Ей 18 было, а мне 15. Так что отцовство пришлось скрывать, чтобы её не привлекли. А вообще, знаете, я думаю, хорошо бы всем пацанам в пятнадцать детей заводить! Я бы так что делал? Гитара-гульба-кино-девочки... А мне раз, и – давай, братец, работай, ребёнка одевай, корми, воспитывай! Вот я учусь и работаю таксистом. Что зарабатывать – им посылаю. Потом выучусь, проще будет. А пока не могу даже съездить на праздники. Вот вырвался на несколько часов, хоть в Новый год связаться. Сынок очень хотел. А в час ночи опять на работу – время прибыльное. Тяжело? Тяжело! А как-то правильно.

НЕЧАЕВА. Какая грустная история...

СТРИЖ. Да вы не расстраивайтесь, я её сочинил.

НЕЧАЕВА. А ты нахал... малолетний.

СТРИЖ. Ну, а что вы сразу: поколение электроников! Всякое ведь бывает.

НЕЧАЕВА. Бывает. Я, например, хочу посидеть спокойно, пожалеть себя, а тут ты. Знаешь, как трудно жалеть себя, когда рядом стоит юноша в трениках и сочиняет истории? Иди проверь свой Интернет, может, включили уже. Иди, иди!

Стриж уходит. Нечаева зажигает ещё один бенгальский огонь, делает глоток из бутылки. Стриж возвращается.

СТРИЖ. Кажется, нам с вами придётся познакомиться поближе.

НЕЧАЕВА. Это что ещё такое?

СТРИЖ. Это – почему. Дверь, когда выходил, закрыл машинально. Она у меня закрывается без ключа, надо просто ручку поднять. Только не забыть ключ...

НЕЧАЕВА. Какие удивительные странности! Настоящий новогодний вечер! Раз такое дело, я даже готова тебя потерпеть.

СТРИЖ. Слушайте, мне, конечно, очень неудобно... Но действительно в подъезде же не жарко...

НЕЧАЕВА. Ох, не жарко... Могу предложить костюм Снегурочки.

СТРИЖ. Новый год же скоро.

НЕЧАЕВА. Шампанского?

СТРИЖ. А знаете, что такое ароматическая ванна?

НЕЧАЕВА. Ароматическая?

СТРИЖ. Ароматическая! У вас же дома наверняка есть куча полупустых флаконов из-под туалетной воды, духов? А если ещё масла найдутся, так вообще вам релакс устрою! Благовония намешаем, свечи поставим, музыку включим... Вы, пока будете прогреваться – ведь замёрзли, поди, на ступеньках сидеть, – я картошки могу пожарить. Представьте: Новый год, а вам делать ничего не надо, только максимально расслабиться и не думать. По лбу вижу, что вы много думаете. Вот, выходите из ванны: стол накрыт, сервирован...

НЕЧАЕВА. ...и мальчик в трениках на диване спит.

СТРИЖ. Сосед только утром вернётся.

НЕЧАЕВА. Ладно, студент, договорились! Только одно условие. Сначала ты мне расскажешь правду про свой Интернет. Уж больно интересно стало.

СТРИЖ. От правды вы заскучаете. Ну, с мамой по скайпу хотел связаться. Ей скайп обещали устроить на Новый год. Она в Алейске живёт, не виделись давно, всё выбраться не могу: учёба, работа. Довольны?

НЕЧАЕВА. Стриж...

СТРИЖ. Старенькая мама, даже мобильником пользоваться не умеет. Компьютер – это всё равно что в космос полететь. Но дядя обещал устроить. Повидались бы хоть по монитору. Говорю: встречать Новый год с Интернетом – это не всегда плохо, главное – знать причины. И верить в людей... Что-то пальцы на ногах совсем замёрзли. Вы простите, что я так нахально напрашиваюсь... А вас когда-нибудь вносили в дом на руках? Только в этом году, только для вас!

НЕЧАЕВА. Стриж!

СТРИЖ. Давайте, давайте! *(Берёт Нечаеву на руки, кружит.)* Вот так молодые люди вскруживают дамам головы! Доставайте ключи, мадам, в закрытую дверь сложно войти!

НЕЧАЕВА. Достала, если бы они у меня были!

СТРИЖ. *(Ставит Нечаеву на ноги.)* То есть как?

НЕЧАЕВА. А вот так! Юмор жизни: едешь в какую-нибудь Австралию на Новый год, воображаешь какие-нибудь приключения, а в итоге – со скуки там пухнешь: скорей бы домой! А решишь дома спокойно телевизор посмотреть, так на тебе – история! Ключи потеряла!

СТРИЖ. Хорошенькие дела...

НЕЧАЕВА. Ну, я же не думала, что у тебя окажется такая... сентиментальная история.

СТРИЖ. Хоть погреться немного... *(Пьёт шампанское, заедает бутербродами.)*

НЕЧАЕВА. У меня там ещё салатик есть.

СТРИЖ. Хватит.

НЕЧАЕВА. Костюм хоть возьми. (*Снимает с себя, набрасывает на Стрижа.*) Возьми, возьми. Бедный мальчик. На крайний случай, можно попробовать поймать машину. По телефону никуда не дозвониться – перегрузки. Просто я не рискнула уходить из подъезда в самый канун – чёрт его знает, поймаешь чего или нет, а как потом вернуться? Никто ж не впустит. Сидят по квартирам, замуровались. Я вот всегда всех впускаю, кто бы ни звонил. Что это за мир такой стал – сплошные железные двери! А я помню время, когда они были деревянными и без замков. По морозу идёшь, в каждый подъезд заходишь – отогреваешься.

СТРИЖ. Придумал! Чтобы как-то искупить свою вину, вы мне тоже расскажите свою историю. Баш на баш!

НЕЧАЕВА. А что рассказывать-то? Всё у меня в жизни нормально, ничего не происходит.

СТРИЖ. А почему вы одна?

НЕЧАЕВА. Устала, выспаться хотела. Отдохнуть.

СТРИЖ. Нет, почему вы вообще одна?

НЕЧАЕВА. Чего это я вообще одна? У меня сослуживцы есть, сестра, дети её... Для кого этот костюм, думаешь? Вот, поздравляла их сегодня. У меня даже муж есть.

СТРИЖ. И где же этот муж?

НЕЧАЕВА. В Новокузнецке. Почти два года как. Руки не доходят официально развестись.

СТРИЖ. А почему расстались?

НЕЧАЕВА. Случается, люди надоедают друг другу.

СТРИЖ. А дети?

НЕЧАЕВА. А их не случилось.

СТРИЖ. Не понимаю. Вы так всё рассказываете, как будто...

НЕЧАЕВА. Как будто что?

СТРИЖ. Как будто это не ваша жизнь. Безразлично. А где страсти? Где трагедия?

НЕЧАЕВА. У меня объект за объектом – сплошная нервотрёпка, какие страсти?

СТРИЖ. Вы любили мужа?

НЕЧАЕВА. Он мне подходил.

СТРИЖ. Ну хоть когда-то у вас было сильное переживание?

НЕЧАЕВА. Было! Было! 20 лет назад. Один гражданин был. Пылкий. А я учиться спокойно хотела. Куда спешить-то? Жениться скорее, детей давай – просто всё брось и рожай ему детей! А надо как? Чтобы всё последовательно, благоразумно: институт закончить, на работу устроиться, второе высшее получить. А он потерпеть не мог! Лет десять... Нет, ну хотя бы четыре года. Хоть доучиться спокойно можно? Это вам проблем никаких, только все желания исполняй, а нам – сначала перекачывайся со стороны на сторону, а потом всё – одни подгузники в голове. В общем, через полтора года я узнала, что какая-то там от него беременна. Он ещё скрыть хотел, мерзавец! По недоразумению, мол, пьяный был. Вот и живи с ней – по недоразумению! Это я ему так сказала. Так он, представляешь, и живёт до сих пор, хотя уверял, что не любит. Врал, хотел одним местом на два дивана сесть! Не выгорело! Я попереживала, попереживала да и взяла себя в руки.

СТРИЖ. И так в своих руках и ходите?

НЕЧАЕВА. Так и ходила. Пока муж не ушёл. Вот, ещё одна гадина. Страсти вам подавай! Какие страсти, когда у меня начальник бригады

в запой ушёл? Рабочие воруют, сроки поджимают. Я устаю, я спать хочу! Расквасилась совсем в последнее время. Рыбу даже завела. С глупой мордой. Плавает там сейчас. Как бы не сдохла с голоду.

СТРИЖ. Рыба... Да сама вы – рыба! Холодная, скользкая. Что вы на меня смотрите? Да, да! «Всё должно быть благоразумно, по расписанию». Если в жизни нет места безумию, она делается похожей на армейскую службу!

НЕЧАЕВА. И что мне за радость досталась: юноша в трениках учит меня жить!

СТРИЖ. Да я от всего сердца! Мне просто жалко вас. Искренне. Посмотрите на себя, посмотрите. (*Подводит к окну, в котором можно увидеть лёгкое отражение.*) Где искры в глазах?

НЕЧАЕВА. Да, тут и глаз-то не видно.

СТРИЖ. Потому и не видно, что искры нет. У меня – смотрите – так и рассыпаются. А вы? Что вы с собой сделали? Вы в общем-то не уродина.

НЕЧАЕВА. Это что – комплимент?

СТРИЖ. Чувство юмора у вас даже есть. Умная, как видно. Даже, наверно, умнее меня. А элементарных вещей не понимаете. Сделайте что-нибудь из чувств. От порыва. Что вы себя загнали в свои объекты?

НЕЧАЕВА. Да что мне сделать-то? У меня в театр сходить времени нет!

СТРИЖ. Конечно, потому что вы ему не позволяете быть! Не знаю, поезжайте к мужу, например!

НЕЧАЕВА. Зачем?

СТРИЖ. Помиритесь.

НЕЧАЕВА. Нет, это неправильно. Женщина не должна бегать за мужчиной, тем более если он её бросил.

СТРИЖ. Вот опять!.. Солдат, а не женщина!

НЕЧАЕВА. Давно уже пора дать тебе пощёчину.

СТРИЖ. Так дайте её, дайте! Сделайте что-нибудь уже просто от порыва, сойдите с ума!

Нечаева неожиданно целует Стрижа.

СТРИЖ. Это зачем?

НЕЧАЕВА. Это от отчаянья.

СТРИЖ. Это не надо.

НЕЧАЕВА. Ботало! «Сделайте что-нибудь от порыва, сойдите с ума!»

СТРИЖ. Одно дело – сойти с ума, другое – отчаяться.

НЕЧАЕВА. Хоть бы подыграл из жалости.

СТРИЖ. Простите. Я бы, на самом деле, сошёл с ума... Но не с вами... Простите, пожалуйста, ерунду какую-то говорю! Вы мне очень нравитесь. Вы такая... такая... Забавная.

НЕЧАЕВА. Коньяка надо было брать. Что шампанское? Одну тоску нагоняет.

СТРИЖ. Вы не сердитесь. Вы на самом деле такая...

НЕЧАЕВА. Забавная!

СТРИЖ. Знаете... Я вам всё-таки скажу. Только не рассказывайте никому. Это тайна двоих. На самом деле... на самом деле... почему я встречал Новый год с Интернетом...

НЕЧАЕВА. Что? Это как так можно?!

СТРИЖ. Не сердитесь, пожалуйста, не надо, я вам сейчас скажу всю правду.

НЕЧАЕВА. Я, значит, вину искупить...

СТРИЖ. Просто мне было неудобно рассказывать.

НЕЧАЕВА. После такого, знаешь, что бывает? Знаешь, что?!

СТРИЖ. Ну что?

НЕЧАЕВА. А вот что! *(Даёт пощёчину.)* Ой, не больно?

СТРИЖ. Всё в порядке.

НЕЧАЕВА. Сама от себя не ожидала.

СТРИЖ. Я заслужил.

НЕЧАЕВА. Что-то ты меня разволновал...

СТРИЖ. Ничего, мне даже понравилось.

НЕЧАЕВА. Это всё шампанское...

СТРИЖ. Да, кстати... *(Берёт бутылку.)* За ваше безумие! *(Выпивает.)*

На самом деле те две истории отчасти правдивы. Я действительно таксую, снимаю комнату, учусь. У меня старенькая мама, и я два года её не видел и очень скучаю. Всё это правда. Но Интернет мне нужен был... В общем, я играл в игру.

НЕЧАЕВА. Стрижик, ты, вроде, нормальный парнишка, с умом даже. С завихрениями некоторыми, но терпимо. Не рассказывай мне этой гадости, все эти геймеры, я слышать о них не могу. Если есть в мире кто-то хуже самоубийц, то это геймеры.

СТРИЖ. Вот вы опять ничего не знаете, а выводы делаете. Главное не то, что я играл, а почему я играл!

НЕЧАЕВА. Ну...

СТРИЖ. Я играл потому, что... влюблён.

НЕЧАЕВА. За Галатею! *(Делает глоток из бутылки.)* Чтобы виртуальный мир нашёл своё воплощение в реальном!

СТРИЖ. Вам, конечно, уже сложно мне верить, но на этот раз я не обманываю. Есть одна девушка. Очень хорошая девушка.

НЕЧАЕВА. Совершеннолетняя?

СТРИЖ. Ей восемнадцать.

НЕЧАЕВА. Не посадят.

СТРИЖ. Не говорите так резко, пожалуйста, для меня это очень важно. Я никому не говорил. Я и друзьям наврал, что работать буду, потому что мне сказать... как-то боязно. Смеяться будут, пошлить... Ужасно! Все они думают, что любовь – это то, что стыдно, потому что делает тебя слабым.

НЕЧАЕВА. Правы твои друзья: любить – здоровью вредить. А учёбе тем более.

СТРИЖ. Вы как Сонин отец. Только он хуже. Ему просто не нравится какой-то там студент-шофёр из «не пойми откуда». Встречаться нам запрещает, представляете!

НЕЧАЕВА. Стрижик, пережитки феодального строя давно пережиты, не морочь мне голову!

СТРИЖ. Следит за ней, контролирует, чтобы ни-ни! Мы, конечно, встречаемся тайком. А в Новый год – никак. Никуда её из дому не пускает. Так вот, я и придумал играть в одну игру.

НЕЧАЕВА. Я, наверно, выгляжу полной дурой!

СТРИЖ. Есть такие игры он-лайн. Можно поодиночке, можно командами. Вот мы с ней в одной команде. Бродилка, стрелялка. Но это какое-то особое ощущение, что вот сейчас рядом с тобой идёт она – как будто идёт, но не как будто она, потому что реальная она сидит в своей комнате и руководит как будто ею.

НЕЧАЕВА. Расплачусь сейчас.

СТРИЖ. Я же серьёзно, поверьте! Вы не представляете, как мне теперь тяжело. Она же ничего не знает, куда я пропал. Сидит, ждёт меня, ещё не дай Бог расстроилась. Я думал, так как раз веселее будет...

НЕЧАЕВА (*перебивает.*) ...а вышел технический сбой. Вот я и говорю, Стрижик: трусы и майку надо будет носить обязательно!

Раздаётся звук салюта за окном, крики: «Ура! С Новым годом!» Грохот салюта слышен на протяжении всей последующей сцены, из-за него герои не слышат звука поднимающегося лифта.

НЕЧАЕВА. Наступил, кажется.

СТРИЖ. Давайте смеяться и танцевать, чтобы весь год был радостным и танцующим! Ну! (*Увлекает её в танец.*) Вот, украду её, увезу к маме и женюсь! А? Вот представьте: вы – Соня, и я вас краду!

НЕЧАЕВА. Но это же страшно!

СТРИЖ. Страшно интересно! Сажая в такси – и летим на вокзал! За окном фонари горят, вывески мерцают, а мы держимся за руки, боимся, и – счастливы!

НЕЧАЕВА. Но ведь что будет?

СТРИЖ. Будет всё, что мы захотим! Долой родительское мародёрство!

НЕЧАЕВА. Но ведь можно как-то подождать, потом всё наладится!

СТРИЖ. «Потомы» – это призраки несбывшейся жизни, они приходят по ночам и гремят цепями! Не верю никаким «потомам»!

НЕЧАЕВА (*смеётся.*) Какой ты смешной, Стрижик! У меня никогда не было такого весёлого Нового года!

СТРИЖ. Деда Мороза не хватает – с конфетами, которых детям нельзя!

Открываются двери лифта, на площадку входит Ворон, видит смеющихся, танцующих Стрижа и Нечаеву. Они не сразу замечают его.

СТРИЖ. Кажется, пришёл.

НЕЧАЕВА. Вот так неожиданное счастье! (*Берёт бутылку, делает глоток, протягивает Ворону.*) С Новым годом, Борис Андреевич!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОРОН (*берёт бутылку, ошеломлённо.*) Я за рулём!

НЕЧАЕВА. Ничего, за такую встречу можно и правами пожертвовать. (*Ворон делает глоток.*) Похоже, странности только начинаются, Стриж! (*Ворон закашливается.*) Двадцать лет прошло...

ВОРОН. Восемнадцать.

НЕЧАЕВА. А ты считаешь?

ВОРОН. Просто люблю точность.

СТРИЖ. Простите, у вас тут личное... Я на другой этаж пойду. С Новым годом!

ВОРОН. Да нет, молодой человек, вы-то как раз оставайтесь. (*Подходит к Стрижу, протягивает руку.*) Будем знакомы: Ворон! Тот самый Ворон.

СТРИЖ. Тот самый Стриж.

НЕЧАЕВА. Какие странные приветствия. Ничего не понимаю...

ВОРОН. Я тоже не совсем понимаю... Ваше поведение окончательно приводит меня к мысли о верности моего намерения.

СТРИЖ. Для вас любое поведение будет верностью намерению! И не собираюсь я вам ничего объяснять! Ольге... Константиновне объясню. Это отец Сони.

НЕЧАЕВА. (*Берёт у Ворона бутылку.*) С Новым годом, ребята! (*Выпивает.*)

ВОРОН. А, ты в курсе... (*Стрижу.*) Прошу прощения, но я бы хотел поговорить с вами тет-а-тет в каком-нибудь более удобном месте.

СТРИЖ. Прошу прощения, но, во-первых, от Ольги Константиновны у меня секретов нет, во-вторых, на сегодняшнюю ночь это самое удобное место в этом доме.

ВОРОН. Ну, хоть давайте пройдем в квартиру, здесь как-то... прохладно.

НЕЧАЕВА. У него нет ключа. Он случайно забыл, а я случайно потеряла. Это в достаточной мере объясняет его поведение, Борис Андреевич? По-моему, он вёл себя более чем прилично, веселил одинокую даму, хотя у самого на душе не сладко.

ВОРОН. Ничего, у меня как раз есть ключ. По иронии судьбы, я – совладелец квартиры, в которой вы живёте.

СТРИЖ. Так это за вашу комнату сосед так переплачивает?

ВОРОН. Второй владелец занимается благотворительностью. У меня нормальные цены.

СТРИЖ. Самые высокие из возможных.

ВОРОН. Вы, молодой человек, сейчас что доказываете?

СТРИЖ. Сейчас я просто взял на заметку.

ВОРОН. Пойдёмте.

СТРИЖ. А мне нравится это место. Вполне подходит для выяснения подобных отношений – такое же грязное и холодное.

НЕЧАЕВА. Слушайте, не знаю, как у вас, но у меня сегодня праздник. Всё было слишком хорошо, чтобы теперь смотреть на ваши петушинные бои. Борюсик, дай ключ, я пережду грозу.

ВОРОН. Оля... Константиновна. Я вас прошу не употреблять это имя! (*Даёт ключи.*)

НЕЧАЕВА. Хорошо, Воронок, как скажешь. (*Берёт ключи, уходит.*)

СТРИЖ. Откуда вы узнали адрес?

ВОРОН. От Сони.

СТРИЖ. Она бы ни за что не сказала!

ВОРОН. Конечно, она бы сбежала из дома и добиралась одна, по темноте, на первой попавшейся машине, и чёрт его знает, что могло произойти! Если бы я не застал её в дверях. Случайно, между прочим! Устроить скандал собственным родителям в новогоднюю ночь из-за какого-то... студента! Всю дорогу она уверяла, что это только её инициатива. Весьма сомневаюсь.

СТРИЖ. Она здесь?! Где она? Соня!

ВОРОН. Да, постойте вы!

СТРИЖ. Боже мой, сорвалась, поехала! Я хочу её видеть!

ВОРОН. Мне надо с вами поговорить.

СТРИЖ. Как вы замучили её своим контролем!

ВОРОН. Это вы замучили её своими фантазиями! У меня к вам предложение. Будьте благоразумны!

Стриж берёт бутерброд, съедает, запивает шампанским.

СТРИЖ. С Новым годом! Собрался, готов.

ВОРОН. Вначале я хотел бы извиниться. Я был грубоват, когда пришёл. Это нетрудно объяснить: я был очень расстроен из-за дочери, а потом ещё застал вас в таком виде, в таких обстоятельствах... Я был не прав, простите.

СТРИЖ. Ладно. Я тоже, может...

ВОРОН. Я хорошенько обдумал ситуацию и пришёл к выводу, что мне надо... вас признать.

СТРИЖ. Вы... говорите серьёзно?

ВОРОН. Если моя дочь сделала такой выбор, мне ничего не остаётся, как только помочь вам стать... достойным её выбора.

СТРИЖ. Хорошенький разговор.

ВОРОН. Вы на четвёртом курсе. Почти всё свободное время тратите на работу и КВН. Да, я навёл справки. Можете мне ничего не говорить, но сами себе ответьте на вопрос: закончите вы учёбу – и что? У вас есть план? Кому вы нужны? Рынок юристов не то что переполнен, их уже и отстреливать бесполезно. Вы умеете водить машину, знаете город, общительны, доброжелательны – это хорошие качества... для таксиста. Я полагаю, вы достаточно умны, чтобы понимать, что не на идеях печётся хлеб; достаточно практичны, чтобы неплохо зарабатывать, и недостаточно глупы, чтобы всю жизнь отдать благородной профессии шофёра.

СТРИЖ. Что вы мне предлагаете?

ВОРОН. Я предлагаю вам должность. Для начала будете получать около тридцати. Небольшая сумма, но для такого специалиста, как вы... Сами понимаете. Начнёте с этого, а дальше всё будет зависеть от вас. И, конечно, никакого КВНа и такси. Если вам нужно хобби, найдите себе что-нибудь приличнее. Я не пытаюсь вас оскорбить, просто для вас же лучше будет не иметь двусмысленных занятий.

СТРИЖ. Борис Андреевич, разрешите (*протягивает руку Ворону.*) Я сильно в вас ошибался, простите, мне давно надо было с вами познакомиться. Это я виноват. Вы позволите увидеться с нею? Я только переоденусь...

ВОРОН. Не спешите. К моему для вас предложению у меня есть одно для вас условие. Небольшое. Не материальное. В общем-то, если сравнивать его с тем, что я вам предлагаю, – просто пустяк. Вы устроитесь, будете работать, учиться, погружаться в новую для вас жизнь, и... на полтора года я прошу вас полностью прервать какое-либо общение с моей дочерью. Не отказываться от неё, нет, я не запрещаю ваши отношения, я только прошу их отложить. На полтора года. У Сони трудный период, ей нужно все силы отдать учёбе. Вообще-то, полтора года мало, хорошо бы три. Но я стараюсь войти в ваше положение. А вообще какое значение может иметь разлука для настоящего чувства? Что вы теперь скажете?

СТРИЖ. А как же Соня?

ВОРОН. С ней договориться будет гораздо сложнее. Поэтому я хотел попросить, чтобы это сделали вы. Вас она послушает. Она сейчас вообще может слушать только вас. Я понимаю, всё это выглядит не очень этично, но войдите в моё положение: у меня одна дочь. Это может показаться излишне сентиментальным, но, фактически, она – главный смысл моей жизни. Не подумайте, что я не доверяю вам – я никому не доверяю. Это привычка, я не могу её изменить. Дело в общем-то не в вас, дело во мне, признаю. Прошу вас, как разумного и, как я успел понять, благородного человека, примите моё предложение.

Пауза.

СТРИЖ. Я согласен.

ВОРОН. Вы, конечно, понимаете, я буду следить за исполнением нашего... договора. Я допускаю случайности, мир в общем-то квадратный, столкнуться за каким-нибудь поворотом ничего не стоит. Но если я узнаю, что случайность была в общем-то не случайность... Одним словом, если вы не соблюдаете условия, то и я не в праве их соблюдать. Вы мгновенно поте-

ряете место и, что еще хуже, репутацию. Я вас не пугаю. Вы в общем-то вольны сейчас плюнуть мне в лицо и делать по-своему. Бороться, идти своим путём. Это ваше право.

СТРИЖ. Да, конечно... Но... зачем?

ВОРОН. Я предупрежу Сою, соберитесь с мыслями и... переоденьтесь.

Ворон уезжает на лифте, на площадку выходит Нечаева.

НЕЧАЕВА. У тебя, конечно, есть какой-нибудь план?

СТРИЖ. Какой план?

НЕЧАЕВА. Похищения, например? Это ты хорошо придумал: ничего не возражать. Я всё подслушала! Невозможно, что стало с Борюсином? Я чуть не выпрыгнула из двери, когда услышала, как ты соглашаешься на этот чудовищный контракт, но потом поняла, что это тактика: сумасшедшим можно только поддакивать, любое несогласие выводит их из себя.

СТРИЖ. Мне он показался вполне разумным человеком.

НЕЧАЕВА. Разумным?!

СТРИЖ. На самом деле, взгляните трезво: что может человек без связей? Я не настолько ловок, чтобы в одиночку пробить себе дорогу. Он прав, мне нужна помощь. А откуда мне её ждать? Я никто, из ниоткуда. Знаете, какая у меня семья? Лучше не знать. Соне нужен человек с положением. Один шанс на миллион, что мне удастся что-то самому. Будет несправедливым, неправильным подвергать её такому риску только из-за своих... сиюминутных желаний и гордости. Столько всего за одну ночь, голова кругом! Может, вся жизнь теперь наладится, понимаете!

НЕЧАЕВА. Боже мой, какая скверная сказка: в полночь принц превратился в тыкву! Стриж, это тот самый гражданин, о котором я тебе рассказывала, это у него случилось недоразумение восемнадцать лет назад и, как выясняется, недоразумение назвали Соня!

СТРИЖ. Удивительно, как всё удивительно, представляете! Если бы этого не случилось, вы остались бы счастливы, а Сони никогда не было на свете. Какой ужас... Как всё необычно связано. Так что же вы, это такая для вас встреча – действуйте!

НЕЧАЕВА. Это тебе надо действовать, олух! Тебе не показалось странным условие? Полтора года!

СТРИЖ. Действительно, странное совпадение...

НЕЧАЕВА. Какое, к чёрту, совпадение – наглый расчёт! Полтора года! Даже у Наташи Ростовой условия были милосерднее!

СТРИЖ. Кто это?

НЕЧАЕВА. Спроси у Интернета! Стриж, пойми, ставка в этом его «предложении с условием» делается только на одно: человек – существо слабое и на приятный соблазн влекомое.

СТРИЖ. Мы с Соней не такие!

НЕЧАЕВА. Конечно, конечно, не такие! Но зачем же это проверять, если это и так ясно? Хватай и беги, Стриж, и не думай, умоляю тебя, не просчитывай! Давай я вызову такси, увози её хоть на Северный полюс!

СТРИЖ. Нет, так нельзя. Надо же понимать...

НЕЧАЕВА. Стриж, если ты сейчас её не увезёшь, я.. я.. я сама её увезу!

СТРИЖ. Куда?

НЕЧАЕВА. В Новокузнецк! К мужу! Я этого чёрта не боюсь! Всё, заказываю такси! *(Набирает номер.)* Девушка, солнышко, а как бы нам так машину организовать побыстрее на Орджоникидзе, 33? На вокзал. Железнодоро-

рожный. Третий подъезд. Шестьсот рублей?! Здесь же езды на две минуты! И вас с Новым годом! Ничего, сегодня ничего не жалко. Спасибо огромное! (*Стрижу.*) А может, ты нас отвезёшь? Денег заработаешь?

СТРИЖ. Ну что вы глупостями занимаетесь? Она с вами и не поедет. Незнакомая какая-то женщина...

НЕЧАЕВА. Поедет – она не то что ты. В Новый год устроить семье истерику – это чего-нибудь да стоит. Эта девушка уже способна на всё.

СТРИЖ. Вы правда думаете, что у него расчёт?

НЕЧАЕВА. Он тебе ещё сам девицу подошлёт! За полтора года с какой-нибудь да случится... недоразумение! А ей – жениха. Это всё так просто, Стриж! Люди, когда не видят друг друга, или умирают от тоски, или встречают других людей.

СТРИЖ. Но как же выдержка?

НЕЧАЕВА. Только на крайний случай, а у вас ещё есть возможность, конечно, если только есть порыв.

Пауза.

СТРИЖ (*решительно.*) Я воспользуюсь вашим такси?

НЕЧАЕВА. Лифт! Поднимается уже, одевайся скорей, сумку не бери! Машина вот-вот подъехать должна, «пять минут» сказали!

Стриж уходит. Открываются двери лифта, входит Ворон.

ВОРОН. Откуда ты здесь взялась?

НЕЧАЕВА. Я здесь взялась жить лет десять как.

ВОРОН. Всё такая же...

НЕЧАЕВА. Некоторые люди не меняются, а вот некоторых лучше не встречать через двадцать лет... Стриж мне всё рассказал о твоём «предложении». Какой-нибудь сын министра посватался?

ВОРОН. Не понимаю, о чём ты.

НЕЧАЕВА. Боже мой, а раньше... Неужели только из-за положения моих родителей? Надеялся карьеру сделать?

ВОРОН. Какие глупости ты говоришь.

НЕЧАЕВА. А какие ты делаешь! Жалко тебе, что ли, что твоя дочь будет счастлива?

ВОРОН. Это единственное, чего я хочу.

НЕЧАЕВА. Ты бы мог просто помочь ему.

ВОРОН. Просто? Ничего нельзя делать просто – это расхолаживает. Ты посмотри, как он за мой крючок ухватился – лёгкий путь учуял, прохвост! Учится еле как, на занятиях бывает редко.

НЕЧАЕВА. Он работает.

ВОРОН. Да, знаю, мать – посудомойка в Алейске, высылает ей деньги. Отец скрывается от следствия. Дядя – о том вообще лучше умолчать. Отличная родня, спасибо...

НЕЧАЕВА. Ну он же другой!

ВОРОН. Яблоко от яблони, как известно... Я не отрицаю, толк в парне есть. Из него выйдет отличный солдат, но офицер – никогда. Не та порода.

НЕЧАЕВА. В тебе зато много «породы».

ВОРОН. Рожай своих детей и жени их хоть на придорожных столбах!

НЕЧАЕВА. Каким же ты стал резким!

ВОРОН. Был слишком мягким.

Входит Стриж.

ВОРОН. Слева от подъезда, Lexus. Десять минут.

Нажимает кнопку, двери лифта открываются.

СТРИЖ. Мало.

ВОРОН. Надо привыкать. Поверьте, будет непросто.

Стриж уезжает на лифте.

НЕЧАЕВА. Как будто ты ему сочувствуешь! Хоть бы не лицемерил!

ВОРОН. Что ты из меня тирана делаешь? Кажется, это ты запретила искать с тобой встреч. Думаешь, я плясал от счастья?

НЕЧАЕВА. А твоё «недоразумение»? Или я должна была оставить ребёнка без отца?

ВОРОН. Да я ничего не помнил, понимаешь! Напился так, что не помнил ничего! А она потом: беременна! Я даже имя её забыл. Хотел по-тихому всё уладить, так ведь поползли слухи – она и распустила. Змея, а не женщина.

НЕЧАЕВА. Чего ж ты женился?

ВОРОН. Да назло тебе! За Новый год! *(Берёт шампанское, вытывает.)*

Нечаева целует Ворона.

ВОРОН. Это что?

НЕЧАЕВА. Это безумие.

ВОРОН. Это можно повторить? *(Целуются.)* Где было твоё безумие двадцать лет назад?

НЕЧАЕВА. Оно было здесь. *(Показывает на свой лоб.)*

ВОРОН. Давай хоть на старости лет сойдём с ума?

НЕЧАЕВА. Это у тебя старость лет, а я ещё дама в расцвете сил. Поздно уже, Воронок. Ты безнадежный супруг, а я безнадежный трудоголик. Сплошное недоразумение.

ВОРОН. Зачем? Зачем опять разлучаться, если всё так очевидно?

НЕЧАЕВА. А зачем ты разлучаешь то, что ещё более очевидно?

ВОРОН. Сравнила! У нас с тобой двадцать лет за плечами, а у них года нет! И потом, это просто испытание, если они его пройдут, я больше них буду рад!

НЕЧАЕВА. Будешь! И соблазнитель к ним подсылать будешь!

ВОРОН. Конечно, буду, а что такого? Что это для любви?

НЕЧАЕВА. Возьми машину времени, вернись на восемнадцать лет назад и спроси у самого себя.

ВОРОН. Я же говорю: я был в бессознательном состоянии, меня просто использовали!

НЕЧАЕВА. Хоть кто-то использовал тебя по назначению!

ВОРОН. Не понимаю, ты предлагаешь мне сделку? Если я отпущу их, то ты...

Нечаева даёт Ворону пощёчину.

НЕЧАЕВА. Почему я раньше не знала, что можно так лихо давать пощёчины – столько времени потеряно зря! Надо было сделать это восемнадцать лет назад.

ВОРОН. Надо было. Может, тогда всё было бы иначе. Сбросила бы энергию, а не затаила обиду на все эти годы.

НЕЧАЕВА. С новыми сделками! *(Делает глоток шампанского.)* Знаешь, что я думаю, Ворон? Я думаю, в будущем не будет никакой бумаги. И все подписи, печати, даже просто слова будут вноситься прямо в чип, который будет у каждого за ухом. И как только ты нарушишь условия договора, чип сразу начнёт сигнализировать. Он просто парализует тебя и подаст информацию в соответствующие службы. Они приедут, снимут с тебя блокировку и поместят работать на конвейер. Все в будущем будут за провинности работать на конвейерах, потому что конвейеров будет много, а работников для них будет не хватать. Так что в будущем человек будет делать всё, чтобы избежать бессознательного состояния. Сейчас ещё может пронести, а потом отключился, провёл ночь без сознания – хлоп! Два года конвейера за удовольствие, которого не помнишь! Соня, наверное, очень милая девушка.

ВОРОН. У меня больше никого нет. Я не могу допустить, чтобы с ней рядом был неизвестно кто. Если бы он мне хотя бы возразил!

НЕЧАЕВА. А если ещё возразит?

ВОРОН. Если! Что это за гнилая покорность? Я пока ехал, думал даже скорую вызвать авансом. Думал, драться будем!

НЕЧАЕВА. Вы в разной весовой категории.

ВОРОН. Сдача без боя – это несерьёзно.

НЕЧАЕВА. А может, он тактик?

ВОРОН. И какая у него тактика? Интернет-игры? Некоторые думают, что сеть – это пространство полной свободы. Само слово «сеть» уже должно настораживать. Умных людей.

НЕЧАЕВА. А если какая-нибудь другая? Например, он тебя выслушал, покивал, а сам пошёл и увёз её, прямо на твоём «Лексусе».

ВОРОН. Куда увёз?

НЕЧАЕВА. Да хоть на соседнюю улицу, всё равно не найдёшь.

ВОРОН. Сначала нет, но, когда найду, мало не покажется. Хотя это было бы даже интересно. Поступок!

НЕЧАЕВА. И простил бы?

ВОРОН. А зачем ты мне всё это говоришь?

НЕЧАЕВА. Нет, ты скажи, Воронок, простил?

ВОРОН. А ключи я и вправду в машине оставил... Он тебе что-то говорил, намекал?

НЕЧАЕВА. Я просто так, фантазирую. Жалко парня, да и Соню твою.

ВОРОН. Вижу, ты что-то знаешь.

НЕЧАЕВА. Ничего я не знаю, я так подумала... представила, что если ты спустишься и никого не увидишь, то тебе не стоит слишком... кипятишься.

Ворон нервно нажимает кнопку лифта, слышно, как тот медленно поднимается вверх. Ворон теряет терпение, бежит по лестнице вниз. Нечаева смеётся, садится на ступеньку, берёт бутылку.

НЕЧАЕВА. С Новым зятем, Борис Андреевич! *(Делает глоток. Достает ещё один бенгальский огонь.)* Ёлочка, зажгись! *(Зажигает.)*

Слышится звук вызываемого лифта. Нечаева беспокойно встаёт и начинает ходить по площадке. Репетирует речь. По мере приближения лифта её речь становится всё более эмоциональной.

НЕЧАЕВА. Ворон, ты сам на его месте сделал бы то же самое. Ты разумный человек, посмотри на это трезвым взглядом: он не маньяк, не насильник, он не причинит ей никакого зла, только женится. Ох, мамочки, что будет!.. Ворон, держи себя в руках. Какие руки, Боже мой! Ворон! Нет, он меня точно убьёт. Задушит. Как Дездемону. Глупости какие! Ворон! Ты взрослый человек, они уже совершеннолетние. Ворон, я ничего не знала, я всё сочинила, клянусь тебе!

Слышно, что лифт останавливается на её этаже, Нечаева хватает бутылку и прячет её за спину, как возможное оружие. Двери лифта открываются, входит Стриж.

Пауза.

СТРИЖ. Бросьте, зачем сходить с ума, когда всё так хорошо устраивается? Конечно, очень тяжело будет не видеть её, и она плакала, когда я ей всё рассказал, но потом успокоилась. Я её успокоил, я ей всё объяснил. Всё будет по-прежнему, мы всё-таки кое-что сможем, отец просчитался. Интернет! Будем играть вместе, как сегодня. Конечно, чтобы не возникало подозрений, надо будет делать это не так часто. Раз-два в месяц. Знаете, я даже когда просто вижу, что она в сети, у меня какое-то тёплое чувство внутри разливается, как будто мы в одной квартире, но в разных комнатах. Нас только стена разделяет. А что такое стена? Условности! Нас разделяет условность: не видеться полтора года!

Срабатывает мобильный Нечаевой, она отвечает, слышно, как электронный голос говорит: «Вас ожидает белый Nissan 786. Пожалуйста, выходите». Нечаева начинает рассеянно собираться: убирает сожжённые бенгальские палочки, оставшиеся бутерброды складывает в сумку.

СТРИЖ. Пять минут, пять минут! По дороге, поди, ещё скалымил! Всё – баста! Два года на них батрачил, вы подумайте! А опасность какая: однажды нож к горлу приставили, говорят: рули. Вы представляете, с ножом у горла? Я как на небеса ехал – со всеми попрощался. Пронесло. И никаких перспектив. А тут помощь есть, кому слово замолвить. Конечно, всё будет зависеть от меня, но не всё же зависит от нас! Года через два заработок будет, можно и квартиру взять в кредит. Есть куда вселяться, а не на этом съёме.

НЕЧАЕВА. Подарок. *(Допивает шампанское, отдаёт пустую бутылку Стрижу.)* На новоселье. Можно использовать как кувшин. *(Вызывает лифт.)*

СТРИЖ. Так ведь ключ уже есть, у меня можно остаться. У соседа пока поспите. Он ничего, мы с ним приятели.

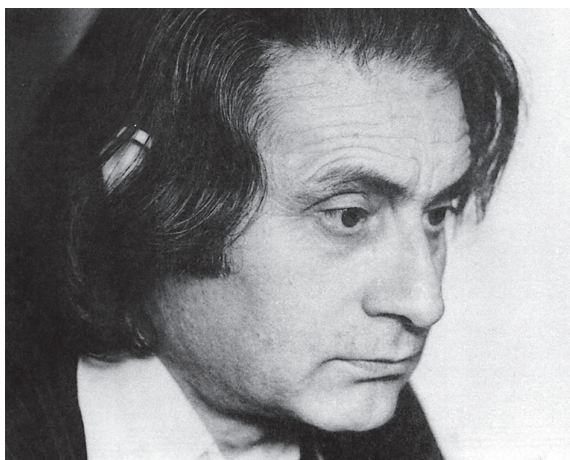
НЕЧАЕВА. А от игр этих он-лайн лучше откажись – потеряешь место, жаль будет. *(Входит в кабину.)*

СТРИЖ. Куда вы?

НЕЧАЕВА. В Новокузнецк.

Двери лифта закрываются.

Занавес.



*Альфред Шнитке. (1981)
(см. Александр Демченко. «Волжские истоки», стр. 153)*

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».
Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Подписано в печать 23 октября 2019 года.

Дата выхода в свет 30 октября 2019 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 41/2310/9

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел. (факс): (845-2) 69-54-41.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2019.

© «Волга–XXI век», 2019.



Альфред Шнитке



Открытие памятника Альфреду Шнитке.
Энгельс, 23 августа 2018 года



Памятник Альфреду Шнитке в Энгельсе.
Скульпторы А. и С. Щербаковы



ISSN 1993-9477

31019